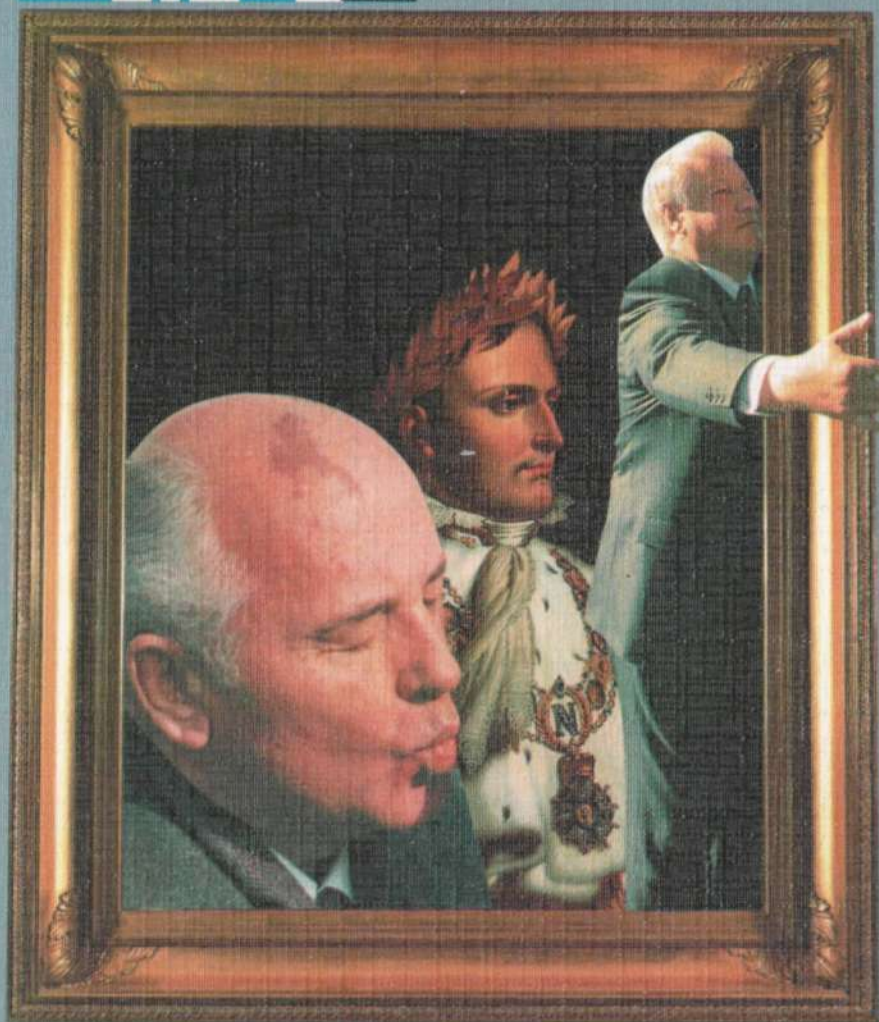


**ВРЕМЯ
ИМЫ** 150
2001



ТРИ ПРЕЗИДЕНТА

ВРЕМЯ

и МЫ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Выходит один раз
в три месяца

ИЗДАЕТСЯ с 1975 ГОДА

150
2001

МОСКВА-НЬЮ-ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯ И МЫ

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ДМИТРИЙ БЫКОВ
(зам. гл. редактора)
ДЖОН ГЛЭД
ВЛАДИМИР ДОБИН
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ЛЕВ НАВЗОРОВ
ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»
409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA
Tel 201 592-61-55

Московское отделение журнала «Время и мы»
Москва-Санкт-Петербург
115598 Москва, Лебедевская ул., корп. 1, кв. 271
Тел.: (095) 329-27-64
Заведующий отделением Галина Синюк

Французское отделение журнала «Время и мы»
Париж-Гренобль-Ницца
Адрес: Rue Nationale 127, Paris 75013
Тел.: 458-505-51
Заведующий отделением Борис Носик

По вопросам приобретения журналов обращаться:
ООО издательство «Хроно пресс»
121099, Москва, а/я 880
Тел.: (095) 978-89-39, 978-49-16, 112-10-89

OCR и вычитка - Давид Титиевский, ноябрь 20010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Инна ЛЕСОВАЯ
Пасьянс "Четыре дамы".....5

ПОЭЗИЯ

Михаил АЙЗЕНБЕРГ
Ближние планы.....71
Евгений БАЧУРИН
Я — счастливый случай.....81
Евгений ЛЕСИН
Записки из похмелья.....92

ВЛАСТЬ И НАРОД

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ
Триптих о Путине.....98
Леонид ГОМБЕРГ
Прагматизм и иллюзии.....108

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

Горбачев и Ельцин: итоги противостояния.....125
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
Гордость нации или знак беды?.....144

СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Ефим МАНЕВИЧ
Блеск и нищета сионизма.....159
Анна БЕРЗИНА
Есенин, каким я его знала.....183

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Борис НОСИК
Русские тайны Парижа.....222

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

Михаил БЕЛОМЛИНСКИЙ
Мне очень повезло — я всю жизнь рисую.....277



Инна ЛЕСОВАЯ

ПАСЬЯНС "ЧЕТЫРЕ ДАМЫ"

"Используется колода из 32 карт. Королей вынимают. Кладут на стол четыре карты, одну возле другой. Если среди них есть туз, его располагают выше первой карты. На эти четыре карты постепенно перекладывают всю колоду, отбирая из нее тузы по мере их выхода. На тузы, выложенные вверху, помещают семерки, восьмерки и прочие карты до дамы, которая завершает пачку..."

Три старухи пили коньяк в купе скорого поезда "Киев — Ленинград". Точнее — они доливали коньяк в растворимый кофе, и ни одной не стало дурно, хотя вид все они имели гипертонический.

Такой же вид имела и четвертая старуха, непьющая, которая, поддавшись общей бесшабашности, прихлебывала по капельке несладкий кофе с видом светской львицы. Но в общую картину она все же не вписывалась. Даже постороннему человеку с первого взгляда было ясно, что в глубине души она весь этот разгул осуждает. И действительно, Дина Львовна не только алкоголя не употребляла, — она даже мяса не

ела. И вообще придерживалась строгой диеты. Но ей не хотелось, чтобы попутчицы решили, будто она брезгует их дорогими закусками, и во избежание такого впечатления Дина Львовна с трудом сжевала кусочек острого вонючего сыра, источенного купоросной зеленью. А вдобавок налила себе почти полстакана напитка, поднимающего давление.

И напрасно. Попутчицам было безразлично, ест она или не ест, пьет или не пьет — и если пьет, то что именно. Они ее привычно не замечали, включая интеллигентную Анну Даниловну, взгляд которой с усталой легкостью обходил добродетельную Дину Львовну или мелькал, перечеркивая ее, как... как те безразличные огни, что проносились мимо, назад, к своим замершим в густо-синей тьме городкам и поселкам.

Анна Даниловна, полагая, что поезд ее жизни приближается к станции назначения, ни в чем себе не отказывала и не принуждала себя изображать чувства, которых не испытывала. Она и в молодости-то была не особенно внимательна, а теперь ей приходилось делать тяжкие усилия даже для того, чтобы сосредоточиться на ком-нибудь, действительно ей приятном. А уж стараться ради нудной Дины Львовны... Сколько раз слышано было про этих цыплят, которых резали для свадебного стола, про добрую девочку Диночку, которая с тех пор не прикасалась к мясу "этих несчастных, ни в чем не повинных животных"! Могла бы, кстати, задуматься о том, что всего вокруг едят. И, значит, они не такие добрые, не такие тонкие, как Дина Львовна. Ну прямо людоеды!

Конечно, ничего подобного младенчески бесхитростная Дина Львовна в виду не имела. Кстати, она и внешне походила на пышно раскормленного младенца гигантских размеров. Бывают такие младенцы: все в ямочках, перетяжечках... С назидательным выражением лица и честной, удовлетворенной улыбкой. Прибавьте к этому стерильно-белую, искристую, как мыльная пена, седину — ну просто реклама шампуня!

Вегетарианством Дины Львовны никто не интересо-

вался, но почему-то многих волновало, не девица ли она. Косвенно такую гипотезу подтверждала назойливость историй о том, как она была неприступна, как в нее влюбился сосед по даче (главврач детдома, студент-практикант, столяр-краснодеревщик, бандит-рецидивист), и он ей писал (кричал, обещал)... "Разбудил весь детдом. А что я могла поделывать? — строго спрашивала Дина Львовна. — Я была молоденькая, хорошенькая..."

Дина Львовна не замечала того, что попутчицы ее не слушают и лишь ждут в молчании, когда же она закончит. Обижалась она лишь в тех случаях, когда неожиданно кто-нибудь выхватывал из россыпи ее рассуждений слово, имя, название болезни и сам начинал рассуждать об этом — так вредные дети отбирают у маленького машинку или куклу, а его самого оттесняют в сторону. "Он подарил мне свою книгу с трогательной подписью: "В память об общей молодости и о лузановской даче..."— говорила Дина Львовна. А Анна Даниловна — хватать! — будто мячик поймала: "Ах, какой он был музыкант! Как он играл Четвертую балладу! Лучше, чем Нейгауз! Я его слушала еще в тридцатые годы. Он часто бывал у одних моих друзей... Я просто счастлива, что попала на его последний концерт! Кто бы мог подумать, что он скончается через неделю! Он играл Листа с поразительной энергией! И что еще всех изумило — он исполнял на бис пьесы совершенно неожиданных для него авторов! Форе! Сати!"

Говорила, говорила... Не давала вставить ни слова, хотя Дина Львовна могла бы рассказать о том, как был поставлен неправильный диагноз, и о том, что показало вскрытие — вещи, для присутствующих куда более любопытные, чем никому не ведомые Форе и Сати. Эти имена могли бы что-то сказать разве что молоденькой скульпторше, которая спала на верхней полке.

Однако все рассуждения Анны Даниловны выслушивались с подчеркнутым, почти подобострастным инте-

ресом. Уж такова была Анна Даниловна: некоторая дистанция (следствие дворянского происхождения), некоторый таинственный флер, оставленный лихорадкой декадентской юности, солоноватая скабрёзность, мелькающая и в улыбке, и в манере курить (по всей вероятности, следствие страшного опыта послереволюционного выживания). И ещё нечто — досада? вина? Человека, уцелевшего в крушении.

О прошлом своем Анна Даниловна никому не рассказывала. Но откуда-то все знали, что муж ее был крупным архитектором, строителем церквей, собирателем старинной церковной утвари и вообще антиквариата. Умер он в начале пятидесятых годов своей смертью, в собственной квартирке. Знали, что она некогда переписывалась с Маяковским и Мейерхольдом, поскольку их письма к Анне Даниловне были опубликованы в журнале "Костер". Говорили также, что она была любовницей Андрея Белого и Хлебникова. Ничего другого об этих поэтах не было известно никому из присутствующих, за исключением все той же спящей скульпторши.

Кстати, скульпторша не спала, а только притворялась спящей. Еще бы! Ни одна из старух не подумала понизить голос. Вдобавок они дымили прямо в купе, не скрываясь от проводницы.

Проводница их не трогала, то ли ошарашенная щедрой платой за кипяток, то ли всем зрелищем в целом. Она даже сходила в соседний вагон за подружкой и как бы случайно провела ее мимо распахнутой двери, и та увидела своими глазами, как четыре старые слонихи в полвторого ночи хлещут коньяк с кофе и курят папиросы.

Ну, четыре-то — не четыре: уже известно, что Дина Львовна не курила и даже кофе свой не допила... Но на ходу такого не заметишь, а вот произвести впечатление Дина Львовна успела — и своей яркой сединой, и размерами, и улыбкой радушной хозяйки.

Для такой улыбки она имела основания. Поскольку

именно в ее билете была указана полка, на которой она сидела и которую уступила Юлии Юрьевне. Та побоялась спать на своем законном месте, в соседнем купе с двумя пьющими мужчинами и с велосипедом над головой. Дина Львовна тоже не решилась туда перейти и предложила это сделать командировочному с очень неблагополучными ботинками, занимавшему верхнюю полку напротив молоденькой скульпторши. Тот был не против, но сомневался в способности Дины Львовны взобраться на верхнюю полку. "Ничего-ничего, — успокоила его проводница, — мы все поможем. Зато бабушек никто не будет беспокоить. Они себе лягут раненько..."

Избавленные от упомянутых ботинок, спутницы Дины Львовны хоть за это должны были испытывать к ней чувство глубокой признательности. Но... Такова уж была ее судьба: всегда и за все — неблагоприятность. Дина Львовна так привыкла к ней, что даже не очень замечала. Кто-то бы, например, на месте Дины Львовны обиделся на Наталью Тарасовну, которая была всего лишь гостьей в этом купе, но расселась так, что оттеснила законную владелицу полки к самой двери и вообще как-то... именно оттеснила. Но Дина Львовна видела в этом не оскорбление, а исключительно здравый смысл. Во-первых, Наталья Тарасовна курила, и ей важно было поэтому держать локоть на углу стола. Во-вторых, она пила наравне с Анной Даниловной. В-третьих, ела, беззастенчиво опуская тяжелую лапу в чужие пакеты, и, несомненно, затолкала бы Дину Львовну, воспользуйся та своим правом сидеть у окошка.

У Дины Львовны было хорошее, даже приподнятое настроение, поскольку она не думала, что при своей астме, гипертонии, а также диабете может так хорошо себя чувствовать, выпив полстакана кофе в туго задымленном помещении и в столь позднее время. Обычно Дина Львовна ложилась в десять часов, но сейчас готова была сидеть хоть до утра. Так было бы даже лучше, поскольку лезть наверх не очень хотелось.

Особенно смущала мысль о том, что ночью ей понадобится спуститься в туалет. С легкой грустью она сознавала, что поспешила и понапрасну создала себе все эти неудобства.

Дело в том, что Юлия Юрьевна, всегда такая деликатная и предупредительная с ней, переняла вдруг манеру поведения Анны Даниловны и Натальи Тарасовны. Как человек со стороны, приезжающий ненадолго в командировку, до сих пор она воспринимала положение Дины Львовны несколько завышенно, основываясь исключительно на ее самоуважении. Здесь же, в неслужебной обстановке, она уяснила себе истинное положение вещей. Тем более что в ночном поезде Дина Львовна не посылала секретаршу за билетами, не звонила в гостиницу, не усаживала московскую гостью на почетное место рядом с председателем Совета и не представляла ей художников, приехавших с периферии и принимавших Дину Львовну за главное начальство...

Итак, Дина Львовна смотрела на Юлию Юрьевну и подумывала о том, что той гораздо легче было бы взобраться вверх. Ростом она была в полтора раза выше Дины Львовны и в целом как-то подвижнее ее. Да она и хотела лезть на верхнюю полку, это Дина Львовна заартачилась: "Нет, нет! Вы у нас дорогая гостя! Я тут моложе всех — я и полезу!"

Тоже, девочка нашлась... Да Юлия Юрьевна казалась моложе ее лет на десять! Иногда ее вообще можно было принять за молодую женщину, которая не следит за собой и поэтому так отвратительно выглядит.

Юлия Юрьевна действительно за собой не следила и даже волос не красила. Этот неприятный грязно-русый оттенок был дан ей от природы. Тем более заблуждался тот, кто думал, что Юлия Юрьевна подводит глаза, слишком яркие, слишком ясные для такого лица. Из косметики она пользовалась только перламутрово-розовой помадой. Причем после того, как помада исчезла, смытая кофе с коньяком, стро-

гие губы Юлии Юрьевны показались даже, свежее, поскольку не так заметны стали тоненькие вертикальные складки.

Впрочем, при чем тут губы, при чем тут глаза! Просто легче ей было задрать свою длинную ногу. Но Юлия Юрьевна спорить не стала. Привыкла к тому, что в Киеве за ней все ухаживают. И не только в Киеве. Ибо она являлась ответственным секретарем Всесоюзного художественного совета по играм и игрушкам, то есть как бы начальством над всеми.

Давно уже следовало сообщить, что именно на неординарной ниве детской игрушки трудились все присутствующие. А то все о папиросах, о редких огнях, опрометью несущихся обратно в Киев, о ложечках, болтающихся в коньяке, о спящей (то есть не спящей) на верхней полке скульпторше...

Впрочем, нет. Скульпторша в этом повествовании лицо как раз не последнее, хотя и ехала она в Ленинград на всесоюзный семинар по игрушкам лишь потому, что две ее сотрудницы по конструкторскому бюро как раз ушли в декрет, а главный инженер отравился тортом.

Если бы не такое счастливое стечение обстоятельств, даже влияния могущественной Юлии Юрьевны не хватило бы для того, чтобы Катю взяли в Ленинград,

Юлия Юрьевна, московское начальство, приехала в Киев на республиканский семинар. На этом-то семинаре она впервые увидела Катиных кукол, бурно их похвалила — и особенного "маленького принца", того самого, злополучного, который переполнил чашу терпения Натальи Тарасовны, Катинной прямой начальницы. Наталья Тарасовна (за глаза — Наталка) решила даже поспорить с почетной гостьей, но грозная Юлия Юрьевна ответила, что в Москве эта кукла прошла бы "на ура". А строптивой скульпторше надо не мешать, а напротив, дать ей зеленую улицу.

В перерыве между заседаниями Анна Даниловна, курившая под той же пальмой, что и Юлия Юрьевна, сказала о скульпторше несколько очень теплых слов и, безнадежно посетовав на ограниченную Наталку, которая совершенно не в состоянии понять ни тонкости, ни своеобразия молодого автора, уверенно предрекла, что та рано или поздно выживет девочку из своей застойной конторы. Юлия Юрьевна прибавила к этому, что таких, как Наталка, в игрушке очень много, что есть и похуже, и что все эти послевоенные выдвиженцы без образования теперь перекрывают кислород талантливой молодежи...

Этим разговором все бы и кончилось, если бы мимо не прошла Дина Львовна со стопкой выписок из протокола. Деятельная Дина Львовна остановилась, прислушалась и немедленно призвала Юлию Юрьевну вмешаться, использовать свой авторитет, дабы переломить сложившуюся ситуацию. Она подтвердила, что Наталка давно уже ищет предлог, дабы избавиться от девочки, и что они могли бы объединиться и воспротивиться этому.

Дина Львовна была похожа на пионерку, предложившую новый, благородный почин. Анна Даниловна не проигнорировала ее, как обычно, а выразилась в том роде, что и так старается помочь Кате, но все впустую. И что похвалы Юлии Юрьевны могут оказаться не только бесполезными, но даже наоборот — вредными.

— Вот что! — сказала Юлия Юрьевна. — Ее нужно вывести на всесоюзную арену. Я не сомневаюсь, что она произведет на ленинградском семинаре фурор.

— А если бы еще мы поехали туда все втроем и поднажали, каждая со своей стороны, — подхватила Дина Львовна, — заручились бы поддержкой крупных специалистов, организовали бы прессу, то эта самодурка не решилась бы так спокойно выставить на улицу талантливого человека!

— А что — может и вправду поехать? — раздумчиво пробубнила Анна Даниловна. — Да и в Питере я

сто лет не была...

— Это должна быть всесторонне продуманная акция! — вдохновлялась все больше Дина Львовна. — Сейчас главное — сделать так, чтобы девочку послали на семинар!

— Это я возьму на себя, — отвечала Юлия Юрьевна.

Здесь следует остановиться и изложить в хронологическом порядке сложные взаимоотношения скульпторши с каждой из старух.

Дина Львовна была давней знакомой Катиных родителей. В самых ранних воспоминаниях девочки она уже присутствовала и занимала в доме свое определенное место, хотя и не такое понятное, как портниха или участковый врач. Известно было, что Дина Львовна — "агитатор". Маленькая Катя полагала, что "агитатор" — это такая тетенька, которая приходит поговорить сладким и мягким, как вата, голосом.

Появлялась она по вечерам. Ее пальто и шляпка с фетровым пропеллером сбоку были того же синего цвета, что и тьма за окнами. Склонная видеть во всем глубокий смысл, Катя решила, что это агитаторская униформа. Поэтому, завидев в городе какую-нибудь старушку в одежде этого распространенного в послевоенные годы цвета, она с удовлетворением включала и ее в славный отряд агитаторов.

В их обязанности, если судить по деятельности Дины Львовны, входило следующее: разносить по домам "вырезные картинки", дарить по праздникам недорогие игрушки, а главное — любить детей.

— Я очень люблю детей! — вдохновенно декламировала она с какой-то профессиональной твердостью.

Да, был твердый стерженек в этом голосе кошачьего тембра, с глубокими паузами, похожими на ямочки в сдобе, с модуляциями вроде розочек и вензельков из сливочного крема. Этот голос был вместо пирожного к чаю, который она пила по очереди у жильцов коммунальной квартиры номер двенадцать. С жильцами этой квартиры она состояла в особо дру-

жеских отношениях. Впрочем, "особые отношения" у нее были и со многими другими жильцами этого дома, так что дети ревновали и постоянно подсчитывали, кого она посещает чаще. Вечером, выходя на улицу, они спешили выяснить, не появлялась ли Дина Львовна и к кому именно она проследовала. "Дина Львовна, Дина Львовна..." — шелестело то сбоку, то сзади, и дети озирались, будто она могла материализоваться в своем пальтишке и в шапочке в любой момент из любого сгустка синей фетровой тьмы.

Таинственность подогревалась тем, что никому не удавалось заметить, когда именно она проникала в дом. Кажется, часов с пяти все тут крутились — и вдруг кто-нибудь начинает махать рукой, подзывая к лимонно-желтым окнам, упирающимся рамами прямо в асфальт.

Чистые окна, без занавесок. Свежепобеленные голые стены. Далеко внизу — выкрашенные в красный цвет доски пола. Празднично пустая комната, пустой белый стол. Во главе стола — Дина Львовна, читающая что-то вслух Вере, Наде, Любе и их матери. Мать сидит большая, белая, очень красивая, а девочки торчат на своих стульях, как бледные поганочки — одна другой хуже. Лица узкие, сляпанные без охоты и наспех, как кульки в бакалейном магазине.

Этих девочек особенно уродовали короткие кривые ноги. Но во дворе их не дразнили. Они так спокойно, так беззлобно сознавали свою некрасивость, что дразнить было неинтересно, бессмысленно. К тому же предпочтение, которое Дина Львовна так явно отдавала этой семье, придавало им некую привлекательность, особый статус, который они тщательно поддерживали.

Дети из самых разных семей сбивались у голых желтых окон, пытаясь проникнуть в тайный смысл происходящего там, за пустым столом. И Люба, младшая из сестер, самая некрасивая и самая добрая,

заметив в окне беспокойные тени, время от времени поднимала строгие, бесстрастные глаза, но в конце концов не выдерживала, съезжала боком со стула и исчезала из своей странной комнаты, как с экрана — для того, чтобы вдруг появиться позади всех, в общей синей тьме. Великодушно жертвуя драгоценными минутами присутствия Дины Львовны, облегчала утомительный накал незнания: "Дина Львовна принесла нам братьев Гримм!" Буква "м" в ее длинной голове странно задерживалась и гудела. "Это самые интересные сказки в мире!" — говорила Люба, не выпуская из рук зачитанную книгу с трухлявой, осыпающейся, как фреска, обложкой. От книги шел сытный и волнующий запах детской библиотеки...

Больше никому в доме Дина Львовна книг не носила, включая маленькую Катю, и Катю такое предпочтение обижало. Она полагала, что своим вниманием Дина Львовна могла бы решить и ее "дворовые" проблемы. Катя не надеялась, что ее перестанут дразнить "рыжей", но хотя бы "зималетой" или "мамочкиной дочкой"... Вообще, она считала, что у нее проблем больше, чем у Любы и Любиных сестер.

Разумеется, маленькая Катя не понимала, что именно об этих девочках толкует с ее родителями Дина Львовна. "Я согласна, их отец сидит, он отбывает свой срок. Да, он получил эту квартиру во время войны — за то, что работал полицаем. Но скажите, — вопрошала напористым шепотом Дина Львовна, — в чем виноваты дети?! Почему троих детей хотят выбросить на улицу? Где-то же они должны жить? Да, комната большая, красивая, но, в конце концов, это глубокий подвал! Я такой несправедливости не допущу! Я дойду не только до горисполкома, я дойду до самого Мельникова" — И после нескольких внушительных вздохов она продолжала еще тише. — Меня очень беспокоит, знают ли они о моей национальности... Не дай Бог, они что-нибудь такое... оскорбительное скажут при мне — и я больше не смогу им

помогать. К сожалению, я по натуре чересчур обидчивая". Далее следовал рассказ о деликатном воспитании, полученном в родительском доме, об отце и его фонарях.

С самого раннего возраста Катя знала о том, что стоящие в центре города огромные фонари с гранитными диванчиками построил лично отец Дины Львовны. Оказываясь там, Катя считала своим долгом посидеть на каждом из холодных скользких сидений. Сидела смирно, поджимая свои и без того крошечные губы. Она всегда испытывала удовлетворение, когда удавалось обнаружить очередную связь в утомительном беспорядке окружающего мира. Будто два кубика легли на место или сложились два кусочка разрезной картинки. В такие минуты Катя чувствовала, что взрослеет.

Картинка вырисовывалась следующая. У людей, которые строят фонари, рождаются дети-агитаторы. В обязанности агитаторов, как уже упоминалось, входит: пить чай, любить и защищать детей, делать им подарки, а в особых случаях приносить книжки. Свои сокровища агитаторы черпают из заповедных зданий, над дверьми которых белым по алому написано: "Агитпункт".

Оказываясь возле такой вывески, Катя неизменно начинала просить взрослых туда зайти. Заходить туда никому, естественно, не хотелось. Никто не пытался понять, о каких таких куклах толкует девочка. И частенько дело кончалось ссорами и шлепками под осуждающими взглядами прохожих. А попробуйте не выйдите из себя, когда вас с воплями тащат за макинтош в агитпункт смотреть кукол! Однажды Катина мама предположила шепотом, уж не гипсовые ли бюсты вождей девочка имеет в виду...

На самом деле до истины докопаться было не так уж трудно. Взрослые могли бы вспомнить, что основная работа их агитатора действительно связана с игрушками. Что однажды Дина Львовна пригласила их

к себе на работу, где была устроена большая выставка. И что над входом в здание висел матерчатый транспарант со словом "Агитпункт" в обрамлении пыльных лампочек. Но вот ведь все это забыли.

А Катя помнила, как ее вели сначала по крутой мрачной улице, потом по огромной зале со стеклянными шкафами, где в несколько рядов стояли целые хоры разных кукол, от громадных до совсем крошечных. Помнила, как непохожая на себя Дина Львовна завела для нее зеленую сказочную карусель, и свинку в клоунском костюме со скрипачкой, и железного цыпленка, который ездил туда-сюда и клевал полированную полку... Но что прямо-таки врезалось ей в память — так это огромное деревянное яйцо, покрытое синим лаком. Этот размер, и форма, и глубокий, затягивающий цвет так поразили ребенка, что кто-то (уж не Анна ли Даниловна!) раздвинул стеклянную стену и дал Кате подержать яйцо в руках...

Господи, что это было за ощущение! Только руки скульптора могут так наслаждаться формой! К тому же обнаружилось, что яйцо раскрывается! Внезапно синяя гладь как бы лопнула, пошла по кругу поперечная светлая щель — и показалось еще одно яйцо — ядовито-розовое, из розового — изумрудно-зеленое, и самое маленькое — желтое. И так это было замечательно, что, даже став взрослой, Катя пыталась отыскать похожее яйцо среди праздничного деревянного хлама на базарах...

Да... Так вот, могли бы взрослые завести Катю в агитпункт и показать, что нет там ни кукол, ни синих яиц. Нет даже вырезных картинок.

Эти самые картинки Катя ценила меньше всех подарков Дины Львовны. В доме, где не увлекались рукоделием и не держали клея, никто не объяснил девочке, что с ними надо делать, для чего разбросаны по листу руки, ноги, головы... Бедная Катя полгала, что это плакаты, изображающие ужасы войны.

Война окончилась лет за пять-шесть перед тем. Она была совсем еще свежей болью, свежим стра-

хом. Еще жив был Сталин и нечего было за него агитировать, так что Дина Львовна могла спокойно пить чай, рассказывать о бедных цыплятах, о своей ранней глаукоме, о размолвке с сестрой, о необычайных математических способностях сына. И лишь уходя, с порога она обращалась ко всем соседям сразу: "Очень прошу вас проголосовать до семи утра! В прошлый раз мы заняли первое место! Надеюсь, вы и завтра меня не подведете!"

Дина Львовна считалась лучшим агитатором района, но это было все же не главное приложение ее сил.

Интересно, что уже в тот день, когда будущая скульпторша сидела на руках у отца — или матери, или самой Дины Львовны — и млела, осекая гигантское синее яйцо, все четыре участницы ночной попойки уже трудились на своем оригинальном поприще и были не только знакомы друг с другом, но даже отношения их уже вполне определились. И лишь Юлия Юрьевна приезжала в Киев не как московское начальство, а как рядовой методист, и не с проверками, а, напротив, перенимать опыт у Дины Львовны.

На тот момент Наталка уже организовала "КБ игрушки" и царила там со всем своим жизнерадостным самодурством. Дина Львовна уважала Наталкины фронтовые заслуги и была с ней так же педагогически галантна, как и со всеми, но втайне считала ее безграмотной грубиянкой. Наталка же всячески демонстрировала свое презрение к придурочной интеллигентности Дины Львовны, морщилась от звука ее мяукающего голоса, от благородной седины, от Шопена, которого та играла по праздникам.

Надо сказать, что Наталка не выносила Шопена в любом исполнении, как и серьезную музыку вообще, в чем сознавалась охотно, даже с наглым вызовом — правда, если поблизости не было Анны Даниловны, перед аристократизмом которой она все-таки робела. В присутствии Анны Даниловны Наталка делала вид,

что смех и зевоту вызывает у нее не Шопен, а чинное исполнение Дины Львовны. Она даже искала взгляд Анны Даниловны, дабы показать ей всем своим видом: "Знаю, знаю, и тебе смешно, но ты терпишь ради приличия, а я вот не хочу притворяться, я — натура широкая, без выкрутасов!"

Шопен Дины Львовны был одним из обязательных атрибутов любого праздника, который устраивался в Методическом кабинете. Но куда большим успехом пользовались ее пирожные. Никто не умел так же пышно и крепко взбить белки. Она приносила свои безе в коробке из-под елочных украшений, на которые, кстати, они и были похожи — и причудливой формой своей, и нарядным блеском. Что же касается Шопена, то она ухитрялась придать любому вальсу, любой мазурке не свойственную им назидательность. Дина Львовна как бы приседала, увязала в каждой паузе, и при этом казалось, что она вот-вот поднимет пухлую ручку и мягко погрозит пальчиком.

В такие мгновения Анна Даниловна, столкнувшись взглядом с Наталкой, опускала голову и улыбалась. Улыбка эта была сложная, двусмысленная... Стоило лишь раз услышать Наталкин голос — победный и прямой, как гудок паровоза — чтобы понять, насколько она немзыкальна.

Разумеется, Анне Даниловне Наталкино хамство было так же безразлично, как и благородное воспитание Дины Львовны. И ценила она в Наталке лишь одно: та и пила, и курила с ней на равных.

Наталка этим даже несколько злоупотребляла. Посторонний человек, слыша, как она требует для себя и Анны Даниловны каких-нибудь дополнительных удобств (вроде — "Откройте форточку!", "Что это у вас за наперстки вместо рюмок!", "Не наливайте нам это пойло, мы — водочку!") — мог бы подумать, что они в достаточно близких отношениях. Как же! Подруга Андрея Белого — и партийная выдвиженка, потребляющая исключительно дешевые детективы! Им и столкнуться было бы негде, если бы обе, как и Дина

Львовна, не являлись членами художественного Совета. Причем — старейшими членами, так что каждая имела за столом свое постоянное место, и эта геометрия отчасти выражала действительное положение вещей.

Во главе стола в единственном числе сидел, разумеется, Председатель. Их за эти годы сменилось несколько. Левую половину стола — "молодежную" — как бы возглавляла Анна Даниловна. Наталка сидела напротив нее и держалась так, будто является лидером половины правой. На самом деле правая половина, состоявшая из людей пожилых, не имела лидера и в нем не нуждалась: здесь каждый мог одинаково успешно выступить с позиций реализма, оптимизма и идеологической выдержанности.

Человеку невнимательному могло показаться, что Наталка играет в Совете роль достаточно важную. Во всяком случае, места она занимала очень много. Впечатлял ее бюст, в пылу спора обрушенный на стол. Оглушал голос, который был слышен не только в коридоре, где ожидали своей очереди обмирающие от волнения авторы, но и на лестницах, и в соседних организациях.

Анну же Даниловну можно было принять за человека случайного. Отнюдь не миниатюрная, она сидела, как бы свесив свое тело вниз, так что над столом виднелись только плечи, голова и кисти рук, очень живые, с перстнем старинной работы и с незажженной папиросой наготове. Перед Анной Даниловной стояла пепельничка — на крайний случай. Привилегия неслыханная, глубоко задевавшая Наталку, такую же завзятую курильщицу. Ей, когда становилось невмоготу, приходилось встать и выйти из зала. При этом все вокруг обиженно грохотало и скрипело: стул, паркет, двери... Курила она жадно и поспешно, будто боялась, что в ее отсутствие могут наломать дров.

Необъяснимое заблуждение! Что могла сказать Наталка? "Фу! Какая гадость!" Или: "Я категорически против!" Ни вытянуть, ни — что гораздо легче —

завалить игрушку она не могла. Единственным человеком, который способен был отстоять и даже навязать другим свое мнение, была Анна Даниловна. Ее тихий, чуть скрипучий голос мгновенно привлекал всеобщее внимание. "Мне кажется... что уважаемые члены Совета... явно не вникли в замысел автора... Автор и не ставил себе цели создать куклу-красавицу... Это именно — дурнушка! Смешное и милое существо... И посмотрите-ка — совершенно живое!"

Уголки длинных губ Анны Даниловны подтягивались кверху, образуя умиленную скобочку с забавными мешочками и складочками по бокам. Глаза за толстыми стеклами очков, как слезами, наливались нежностью. И сразу начинали меняться, оттаивать лица присутствующих. При этом Наталка хваталась искать папиросу, а Дина Львовна спешила внести свою лепту: "Я опробовала эту игрушку в детском саду. Она очень нравится детям!"

Ее мнение никого не интересовало. К тому же известно было, что она всегда на стороне автора и готова защищать его даже в ущерб делу. Ценили Дину Львовну исключительно за способность мгновенно найти любой образец, любой документ, поэтому и сидела она на самом конце стола, поближе к двери.

Таков был расклад. И Кате, оказавшейся в этом мире, скорее вредило то, что Дина Львовна всем представляла ее, как свою протезу — то ли родственницу, то ли ученицу. Должно быть, Дине Львовне приятно было думать, что именно ее вырезные картинки и синее яйцо разбудили фантазию ребенка.

Но это было не так. Таким уж этот ребенок уродился. Очертания человеческих лиц и фигур мерещились ему везде. Мир кишел образами — и фрагментами, жаждущими объединиться. Любая ветка бросалась ей навстречу с протянутыми руками: подбери, подбери мне подходящую голову! Расщепи меня так, чтобы я смогла ходить и танцевать! Дрожала от нетерпения перевернутая рюмка: скорее, скорее! Ведь тебе изве-

стно, чего мне не хватает, чтобы стать испанской принцессой! Безмолвно молило яйцо: дай мне глаза, чтобы смотреть, дай мне рот, чтобы улыбаться!

Первых своих кукол — конечно, очень примитивных и уродливых — Катя смастерила года в три. Но Дина Львовна их не видела. Не видела она и более поздних цариц и барышень в пышных платьях, которых Катя делала из фантиков, пуговиц и лоскутов. Не так уж часто она заходила к Катиным родителям, а игрушки, склеенные слюной и разрисованные химическим карандашом, были недолговечны.

К тому времени, когда Катя сделала первых "настоящих" кукол, ее семья жила уже в новом доме, в отдельной квартире, и связь с Диной Львовной никак не поддерживалась.

Эти две куклы... День их сотворения был едва ли не самым счастливым в жизни Кати! Ей тогда исполнилось лет одиннадцать, и была она вполне уже разочарована в куклах магазинных. Собственно, и совсем маленькой, когда она устроила свой знаменитый скандал в универмаге, выпрашивая у родителей богатого немецкого пупса, когда ревела и бросалась на мокрый пол, посыпанный опилками... она видела своими опухшими от слез глазами, что и этот нарядный младенец с локонами и соской во рту — не то, что ей нужно. Что как-то он не по руке и не к телу... холодный, не требующий ни ласки, ни жалости. Ненадолго переставая всхлипывать, она с недоумением спрашивала себя: "А что? Чего бы я хотела?" И в ответ мерещилось что-то странное, совсем некрасивое, серьезное и простодушное, в широком байковом платье.

Было это задолго до того, как будущая скульпторша попала в автомобильную аварию, достаточно безобидную, но имевшую по недосмотру врачей трагические последствия. Не вдаваясь в подробности, сообщим, что она хромала, и довольно заметно. Катина хромота давала повод Наталке высказывать разным лю-

дям свои глубокие соображения о том, что именно болезнь является причиной ее пессимистического, нездорового взгляда на мир. "Кукла должна веселить, развлекать ребенка, а она лепит каких-то..."

Надо сказать, что все было наоборот. Как ни странно, но этот несчастный случай сделал характер Кати гораздо спокойнее и счастливее. Прекратились скандалы и истерики, которые кое-кто объяснял особой зловредностью, свойственной всем рыжим. Жизнь ее в целом стала как-то легче, хотя никаких видимых причин для этого не было. Ну разве что заядлые дворовые враги перестали ее дразнить "морковкой". А слова вроде "хромуля" или "костяная нога" Катю задевали куда меньше.

А еще Кате разрешили пропускать занятия в школе. И она могла играть хоть с утра до вечера.

Дома к этому относились снисходительно. Все смирились с тем, что большой письменный стол в их однокомнатной квартире постоянно занят кукольными домами, целыми городами кукол. Это и была реальность, в которой существовала Катя. А собственно жизнь воспринималась ею как обуза, досадная помеха. Чего-то она требовала, куда-то толкала, не спрашивая, хочешь ты этого или нет. А игра давала свободу, спокойное сознание, что все происходящее — в твоей власти.

Стоило бы описать тот солнечный день, когда Катя стояла у светлого подоконника и потрясенно созерцала творение рук своих. Две тоненькие головастые куклочки сидели на учебнике родной литературы, греясь на солнышке в ожидании, когда высохнет масляная краска на лицах и их можно будет наряжать, закутать, уложить спать, вынести на улицу, поводить по травке среди цветов. Вид у них был, несомненно, довольный. Мальчика очень украшал чубчик из желтых шелковых ниток, а у девочки от самых височков свисали длинные тоненькие косы. Кате не вери-

лось, что эти два существа созданы ее руками. Она даже заплакала от изумления. Наверное, так плакал Господь, созерцая Адама и Еву.

И хотя куклы ее с тех пор становились все лучше, подобной силы ощущения она не испытала больше ни разу. А уж в конструкторском бюро под началом Натальи Тарасовны...

Катя очень любила свою работу, но к моменту описываемой поездки смирилась с тем, что ее единоборство с начальницей подходит к концу. Наталка явно искала повод избавиться от Кати, а главная Катина защитница, Анна Даниловна, стала все чаще повторять, что ей "надоела эта канитель". Катя знала, что, как только Анна Даниловна уйдет из Совета, никакая передовая молодежь не сумеет ее отстоять.

Возможно, поездка в Ленинград, которую Дина Львовна гордо называла "АКЦИЯ", действительно могла что-то изменить. Катя надеялась на это, но очень робко. А вот чего она действительно ждала от путешествия — так это сближения с Анной Даниловной. Причем обыкновенного, человеческого, никак не связанного с работой. Ибо хотя Анна Даниловна за двадцать шагов открывала ей объятия и целовала в щеки, домой к себе она Катю так и не пригласила.

Попасть к Анне Даниловне... Привилегия для немногих. Признание таланта, необычной судьбы, незаурядного характера.

Ее пятидесятиметровую комнату, разделенную антикварной мебелью на закутки, Катя знала так, будто много раз там бывала — по рассказам Кирилла, своего друга, начинающего писателя, который жил в одном из этих самых закутков, между инкрустированным буфетом восемнадцатого века и резным немецким шкафом девятнадцатого. В прочих закутках стояли раскладушки других непризнанных гениев, порвавших со своими мещанскими семьями, с провинциальной рутинной. Они искали способ заявить о себе. Перебраться в столицу. Избежать шизофрении. Их

сваленные на пол книги, или эскизы, или ноты, их ненакрытые постели, свидетельствующие о ночных творческих муках, их пустые бутылки, иконы, костыли — никого не смущали. Кирилл хвастал, что мирятся с этим даже соседи по огромной коммуналке старинного дома. Мирятся с невыключенным светом в туалете, с брызгами вокруг раковины и даже с оставленной на всю ночь гореть газовой конфоркой. Терпят и в меру сил предупредительны — ибо все знают, что тот патлатый юноша, концерты которого Анна Даниловна устраивала в своей комнате и который до полуночи колотил по клавишам старого рояля, отчего у соседней сыпались с потолка куски лепнины

— занял второе место на конкурсе музыкантов-исполнителей в Англии и первое в Бельгии. А тот, мрачный, с вечной мигренью, совершенно невыносимый в общезитии, опубликовал в "Новом мире" роман, где во всех подробностях изобразил квартиру Анны Даниловны, ее соседней и свои собственные промахи — вроде ключей, оставленных на ночь в замочной скважине входной двери или взятого по ошибке чужого шарфика, вдобавок утерянного в тот же день.

Ко всему тому соседи полагали, что в случае какой-нибудь надобности Анна Даниловна поможет и им.

У Анны Даниловны действительно были большие связи, но пользовалась она ими очень неохотно и выборочно. Кирилл, например, много раз говорил Анне Даниловне о том, что у него есть знакомая молодая художница. По его мнению, очень талантливая, но непрактичная. Что она делает забавные игрушки, и хорошо было бы Анне Даниловне на них взглянуть. Что девочка недавно провалила экзамен на скульптурный факультет и теперь растеряна, подавлена, не знает, куда ей пристроиться...

Анна Даниловна эти намеки игнорировала. Возможно, потому, что была на стороне некой романтической Жеки, влюбленной в ее подопечного, и враждебно относилась к каждой из его очередных "любовей".

Бранилась своим сорванным баском: "Смотри, не пожалел бы! Может быть, Жека — это твой "гранатовый браслет!"

А про какую-то девочку... рыжую, да еще и хро- мую, вообще не хотела слышать — и не слышала.

Тем не менее однажды она вспомнила о неудачливой подружке Кирилла и сказала, что та может под- дать свои работы на конкурс, который объявил Каби- нет игр и игрушек...

Таким образом, можно считать, что "в игрушку" Катя попала с подачи Анны Даниловны.

Интересно, что с тремя из четырех старух Катя встретила в первый же день — в тот день, когда решила собрать в сумку своих кукол и отправиться по записанному на бумажке адресу.

С Анной Даниловной она поравнялась еще на сере- дине крутого подъема, устланного огромными золоты- ми сердцами тополиных листьев. День был ясный, пахнувший осенней неизлечимой сыростью и грибами. Улица была пуста, и необычная старуха сразу броса- лась в глаза. Она шла в гору, тяжело переваливаясь и наклонившись вперед, как ходят конькобежцы. Руки у нее были скрещены за спиной. В одной, угрожая поджечь серый плащ, дымилась папироса, на мизинце другой беспечно болталась сумка, будто забытая на гвоздике. По-мужски остриженные волосы были вык- рашены в черный цвет и оттянуты со лба круглой гребенкой, так что сзади они забавно топорщились.

Катя прибавила шаг и как бы случайно бегло оглянулась. Она успела увидеть темные щелки глаз за толстыми стеклами, длинный хрящеватый нос, при- давленный на конце. Тонкий рот провисал скакалоч- кой почти до смешливо поджатого подбородка. И хотя никто не описывал Кате, как выглядит Анна Данилов- на, она сразу догадалась, кто это такая.

Катя немного постояла у дома, убедилась, что ста- руха вошла в нужную ей дверь, и направилась за ней следом. Одна мелкая подробность рассмешила ее:

над входом в это огромное неуклюжее здание висел красный транспарант с линиям словом "АГИТПУНКТ". Она вспомнила свое детское заблуждение...

Поднимаясь по лестнице, отыскивая в путанице коридоров нужную ей вывеску, Катя продолжала улы- баться. Вывеска оказалась рядом с большой прозрач- ной дверью, за которой виднелся просторный кори- дор, уставленный стеклянными шкафами. Катя подумала, что, может быть, именно здесь и увидела она когда- то синее яйцо. Оставалось только обнаружить ста- рушку с белопенной сединой, в пальто и фетровой шляпке цвета зимнего вечера.

Такая и появилась на ее звонок — правда, в сером сарафане и белой блузе с кружевом. Она двигалась по коридору величественной и неускоримой походкой, и по мере ее приближения отпадали сомнения в том, что это действительно незабвенная Дина Львовна, которая, вместо того, чтобы с годами уменьшиться и постареть, таинственным образом помолодела и уве- личилась не только вширь, но и ввысь, пропорцио- нально. Она как бы несла перед собой свое тело. С большим радушием. Сдобное лицо ее, с добродетель- ным зобом, не имело никакой тенденции к обвиса- нию. Склонив голову и вопросительно шурясь, она изучала Катю, как из светлой дали, поверх равнины своего бюста. Движение при этом не ускорялось. Она спокойно стрельнула замком, впустила Катю в теп- лый ковровый коридор, с профессиональным радуши- ем указала на вешалку, где уже висел серый плащ Анны Даниловны — и лишь после этого задала воп- рос.

— Девушка! Я сгораю от нетерпения. Откуда мне знакомо ваше лицо? Скажите, вы, случайно, не Катя?

Даже восхищение Дины Львовны было медлительно и монументально.

Минут двадцать, стоя на неудобном месте, на са- мом проходе, Катя обменивалась с Диной Львовной ностальгическими репликами, известиями о свадьбах, кончинах и карьерах. Народ прибывал, засновали от

двери к двери сотрудники. По их поведению и мелким репликам Катя поняла, что на основной своей работе Дина Львовна отнюдь не так популярна, как была когда-то, в коммунальных дебрях, где выросла Катя. Впрочем, Дина Львовна ничего этого не замечала. Она лишь объяснила, глядя вслед женщине, которая не извинилась, задев ее большой картонной коробкой:

— Ты немножко неудачно попала. У нас сегодня большой "совет", и я не смогу уделить тебе достаточно внимания. Хотя, с другой стороны... Может, это даже и лучше. Будет много полезных людей.

И она тут же потащила Катю по кабинетам и стала со всеми знакомить...

В отличие от Анны Даниловны, которую не преследовал зуд делать добро всем подряд, Дина Львовна считала это своим святым долгом. Сама она ничего особенного совершить не могла, но, оказавшись в обществе любых двух людей, она тут же призывала их помочь друг другу.

Катя совершенно растерялась, когда в одном из кабинетов Дина Львовна пристала к какому-то молодому человеку, предлагая ему немедленно внедрить на своей фабрике одну из Катиных игрушек. А когда тот, покрутив игрушки в руках, смущенно забормотал, что на их фабрике нет подходящей технологии, Дина Львовна вовсе не огорчилась и тут же стала узнавать у Кати, не может ли ее мама достать лекарство для его больной дочки.

И Кате, и молодому человеку стало неловко, хотя никакой корыстью от предложения Дины Львовны не веяло. Катина мама не имела никакого отношения к лекарствам. Что же касается игрушек, то в течение получаса Катя поняла, что они действительно совсем не подходят для массового выпуска и что подавать их на конкурс не имеет никакого смысла.

А между тем опытная Дина Львовна будто и не догадывалась об этом. Жестом не то соавтора, не то вдохновителя она доставала из коробки Катиных ку-

кол, вопрошая с игривыми модуляциями: "Ну, как вам эта прелесть?".

И чувствовалось, что каждый с трудом подавляет в себе острое желание ее разочаровать.

Тут не требовалось даже кривить душой. Катинины куклы не только не годились для промышленности — они даже не были игрушками в обычном смысле этого слова. Но, демонстративно минуя Дину Львовну, Кате говорили, что работы ее очень талантливы, что они годятся для выставки, а старуха с зонтиком и купчиха — может быть, даже и для музея. И что Кате обязательно надо попробовать себя в реальной детской игрушке.

Для начала ей предложили задержаться и поприсутствовать на художественном совете. Катя с благодарностью согласилась.

В коридоре становилось все теснее. Катя с любопытством изучала окружающую экзотику. В закутке, где она обосновалась, трое взмысленных провинциалок распаковывали коробки с пластмассовыми куклами, суетливо расправляли на них прически и платица. Пожилая дама расчесывала металлической щеткой шерстку розового медведя. Какой-то мужичок жаловался другому: "Они нам поставляют "маму" неплохую, "уа" — тоже ничего, а "гав" — совсем на "гав" не похоже!"

Прошла мимо Анна Даниловна, угрюмо согнутая — как бы для того, чтобы предупредить попытки окружающих нарушить ее уединение. Кате хотелось разглядеть ее получше, но обзор ей заслонила огромная дамская спина с круглой, жирной холкой и тяжеленными розовыми локтями по бокам.

Зрелище впечатляло... Негустые, крашенные в розовато-рыжий цвет волосы были заколоты тремя мудренными кренделями по моде времен войны. Казалось, что большая голова лежит на туловище, как на тумбе, неприкрепленная. Причем, когда гигантская старуха развернулась к Кате своим ошеломляющим фасадом, выяснилось, что голова лежит не просто на тумбе, а

еще и на овальном блюде. Такое впечатление создавал окаймленный круглым белым воротником неумеренный вырез на ее синем платье.

— Наталья Тарасовна! — игривым альтиком позвала Дина Львовна. — Подойдите сюда! Знакомьтесь! Это моя воспитанница! Я хочу, чтобы она работала в вашем конструкторском бюро!

Наталья Тарасовна секунду поколебалась и двинулась к ним, наставив на Катю, как лорнет, две круглые частодышащие ноздри. Катя даже задрожала: так ей захотелось немедленно начать куклу "Наталья Тарасовна"...

Ах, как это можно было бы замечательно сделать! Нагло вздернутый зрячий нос! Глаза, существующие как бы исключительно для интриг! Они шарили, переглядывались, перемигивались, причем каждый гнул свою линию: левый, прозрачно-серый норовил ускользнуть к потолку, а правый, желтоватый, лукаво косил на нос, как на начальство. Вздорное выражение глаз усиливали, со своей стороны, две дуги, проведенные много выше невидимых бровей. Скулы, щеки и все прочие формы были расточительно мясисты и этим размахом по-своему привлекательны, несмотря на дряблую кожу, утыканную дырками.

Катя тут же прикинула, что такие дырки она сможет прокрутить остро отточенным карандашом. Она чуть ли не потирала руки, предвкушая, как наведет морковной краской губы в виде печатной буквы "М", вставит в угол рта длинную папиросу, а нескромный вырез промажет клеем и посыплет настоящим пеплом...

Итак, в тот, первый день они стояли, вытянувшись по одной линии, как парад планет: Катя за спиной Дины Львовны, Наталья Тарасовна — к Дине Львовне лицом, и чуть дальше, боком к ним, Анна Даниловна.

— Это моя личная просьба! — говорила Дина Львовна с таким внушительным достоинством, будто ее лич-

ная просьба имела в глазах Натальи Тарасовны какой-нибудь вес.

— Ладно. Пусть приходит! — небрежно прогудела со своего блюда голова Натальи Тарасовны.

И снова стала видна вдумчиво курящая Анна Даниловна.

Молодые быстрые шаги послышались в коридоре, и Катя увидела, как Анна Даниловна внезапно подавалась назад, радостно распрямилась. Два ласковых глаза будто ожили внезапно на ее расцветшем лице, а губы сложились в улыбку того счастливого удивления, с каким встречают появление милого ребенка. Но то оказался не ребенок, а женщина лет тридцати с ровными, как стрелы, черными бровями и очаровательной челкой, длинные прядки которой не скрывали светлого лба. Гул оживления прошел по коридору — тот гул, который всегда сопутствует баловню судьбы, сверх меры одаренному обаянием и талантом.

То была... Катя в каких-то нескольких секунд полюбила эту челку, и странную пластику фигуры, и взгляд — то веселый, быстрый, то серьезно и вопросительно прямой. И даже клетчатый мохнатый шарф.

С этой встречи началась еще одна история — но совсем другая, не имеющая отношения к "акции", к прокуренному купе, к непроглядно-синей ночи, спешащей навстречу поезду, к огням шоссе, которые возникают внезапно и так же внезапно уходят рывками назад.

До этого путешествия оставалось еще три года, и в тот момент никак нельзя было предвидеть ни того, что скоро клетчатый этот шарф окажется на Катиных плечах, ни того, что Анна Даниловна станет встречать и ее такой же улыбкой, а Наталья Тарасовна нависнет над нею, как жизнерадостный тяжелый кошмар.

То, что Дина Львовна сильно преувеличивала свою роль в трудоустройстве Кати, объяснять уже, кажется, не нужно. Наталке вообще не требовались реко-

мендации. На Катини работы она едва взглянула. Как выяснилось впоследствии, решающую роль в приеме на работу сыграли внешние данные претендента.

У игрушечников существовал такой предрассудок: кукла всегда похожа на автора. У красивых людей получаются, соответственно, красивые куклы. И — наоборот. Исходя из этого Наталка очень заинтересовалась Катей, хотя вида, разумеется, не подала. Собственно, она ничем не рисковала. Желающему устроиться к ней в КБ выделяли стол, стул, кусок пластилина и позволяли месяца два ходить на работу, присматриваться, пробовать себя, осваивать технологию. Понятно, без всякой зарплаты. В скульптурном отделе постоянно вертелись одна-две такие девочки. От случая к случаю появлялся и какой-нибудь маститый скульптор, но с этими дело ладилось редко. Кукол лучше чувствовала именно зеленая бездипломная молодежь. Наталка любила ее за энтузиазм и рвение в работе.

Те, у которых "не пошло", исчезали сами — или Наталка выставляла их без излишней деликатности. Если же кукла удавалась и проходила через художественный совет, автора зачисляли в штат. При этом он был счастлив, благодарен Наталье Тарасовне за чахлые полставочки и никогда не вспоминал о том, что первую свою куклу, можно сказать, подарил конструкторскому бюро.

Со стороны все это выглядело так, будто Наталка активно выдвигает молодежь и вообще создала прекрасный коллектив.

— Сама она — человек необразованный и большая грубиянка, — предупредила Катю Дина Львовна. — Но работать ты будешь среди очень приятных людей!

Люди были самые разные. Основу коллектива составляла небольшая группка, оставшаяся от артели, которую сразу после войны организовала старушка-умелица — Софья Петровна. Наталка — партийная фронтовичка с тремя рядами орденских колодок и

неизымаемой папиросой в углу рта — умелицу быстро вытеснила. Но как-то... не обидно. Пышно проводила ее на пенсию. Шумно поощряла походы сотрудников к бывшей начальнице. Любила, особенно при посторонних, сказать что-нибудь вроде: "Надо бы захватить, завезти нашей Софье Петровне мешок картошки на зиму..."

Такая широта души поначалу очень умиляла Катю. Но вместе с тем что-то ей мерещилось все время... Чем-то напоминала ей Наталья Тарасовна моллюска, захватившего чужую раковину, которая не подходит ему по форме, не подходит по размеру...

КБ игрушки размещалось в помещении не то бывшего магазинчика, не то швейного ателье. Огромные окна его пятью древними акациями были отгорожены от светлой площади с двумя трамвайными развязками. Грохот трамваев, шарканье и гомон толпы, конечно же, проникали в мастерские, но почему-то казались очень далекими и не только не нарушали сонного покоя, царящего в сумрачных комнатах, но как бы и подчеркивали его. То ли ветви акаций, нависающие над верхней частью окон, создавали эту особую атмосферу, то ли висящая в солнечном воздухе гипсовая пыль. Кате казалось, что это застоявшийся с давних времен дух неторопливого кустарного труда — возможно, даже дух самой Софьи Петровны, незримо опекающей свое детище.

Катя слышала ностальгические рассказы о том, как приятно работалось когда-то в артели. Кукол тогда лепили мало, все больше шили из тряпок, набивали ватой, утюжили. Меньше было грязи, но больше беспорядка и уюта.

Эта светлая, сосредоточенная скука приятно совпала с ритмом Катиной работы. Ей было хорошо, почти как в детстве, когда она болела длинными детскими болезнями и лежала на своем широком диване, что-то мастерила, скручивала из тряпок, уверенная в том, что никто ее не потревожит, не станет ругать за мусор и обрезки.

Ведущим скульпторам позволялось работать в собственных мастерских, так что столы их по большей части пустовали. В комнате постоянно сидели только три молоденькие скульпторши и два формовщика. Формовщики, как везде и всегда, полагали, что труд их недостаточно ценится, и потому наводили туман, изображая какие-то неведомые сложности: неделю возились с отливкой, на которую хватало бы и полдня, щурились на нее, к чему-то примеривались, снова клали на стол...

Подозревали, что один из них умеет спать с открытыми глазами. Часов в одиннадцать утра он углублялся в свой стенной шкаф, неизменно создавая видимость, что ищет там нечто необходимое для работы, и возвращался оттуда розовый и освеженный, как после бани. С каким-нибудь шпателем в руке. После чего садился, упершись в спинку стула и скрестив на груди руки. Прозрачные глаза его с философским безразличием упирались в суету площади. На вопросы он не отвечал. А то вдруг, не меняя выражения лица, начинал рассказывать что-то о своих родителях. Замолкал он — начинал кто-нибудь другой. И никто не заботился о том, слушают ли его.

Было что-то в этой комнате, от чего любой человек, даже посторонний, едва переступив ее порог, тут же ударялся в воспоминания. Кто бы это ни был: языкатая разбитная портниха, мрачная, задавленная жизнью кладовщица... они входили в комнату в своем обычном настроении, но, сделав несколько шагов, как бы терялись, слабели. Менялись голоса, смягчались скандальные нотки. Уже с середины комнаты они начинали отуманенно смотреть в окно — и вдруг, неторопливо и спокойно, принимались выкладывать что-нибудь о своем детстве, о любви, о неудачном браке такое, чего не расскажешь и родной сестре.

Кате порой мерещилось, что чужие воспоминания висят в этом неподвижном воздухе, плавают, не задевая друг друга...

Чуя эту особенность комнаты, главный инженер, которого Наталка не так давно завела в организации, никогда не проходил внутрь. Это был отставничок, крепенький и бодрый, как хорошо накачанный мячик, с благородным серебристым руном на красивой бараньей голове и с ямочками на смуглых щечках. По утрам, часов в одиннадцать, он заглядывал сначала в швейную, а потом в скульптурную мастерскую и тоном глубокой ответственности сообщал: "Только что мне звонила из главка Наталья Тарасовна! Она будет через час!" — и смотрел поверх съехавших очков, стремясь передать взглядом всю судьбоносность момента. Наталья Тарасовна, дескать, сейчас страдает за нас. Там, в высших сферах. Но и мы не подведем ее. Будем хорошо трудиться.

По-видимому, только в этом и заключались его обязанности.

Что же касается Наталки, то всем было известно, что звонит она из постели, поскольку по ночам читает детективы и курит, а утром не может подняться.

Известны были и многие другие подробности ее неуклюжего быта. Кате их однажды сквозь слезы выболтала модельерша Нина Ивановна, черная, востроносая старая дева, которая два раза в году приходила к директорисе мыть три огромных окна на пятом этаже, а та, неблагодарная, найдя приличного жениха-вдовца, сосватала его другой модельерше, разводной ядовитой Клавке. Этим поступком Наталки был возмущен весь коллектив, убежденный в том, что именно Клавка разрушила благодать, царившую в КБ при незабвенной Софье Петровне, что именно от нее, от Клавки, исходят все сплетни и что это она посылает анонимки в главк.

Клавка была из тех неприятных людей, которые считают главной своей добродетелью честность. Всегда и всем она с героическим самодовольством говорила в глаза правду.

Такая добродетель, и вообще-то сомнительная, в коллективе, созданном Наталкой, была совсем уж неуместна.

Дело в том, что Наталья Тарасовна для своего дружного коллектива сознательно подбирала людей с брачком. У этой диплом не по специальности, эта вовсе без диплома, у этой муж сидит за хищения в особо крупных размерах, у этой ребенок бог весть от кого... Один из формовщиков был из дворян и алкоголик, второй побывал в плену. Короче, каждый был ей чем-то лично обязан и не считал зазорным вымыть окна, натереть полы или отнести на праздник кастрюлю голубцов пожилой женщине с катарактой, гипертонией и удаленной почкой, в сущности, незлой и совершенно одинокой.

Апофеозом этого безобидного подхалимажа были праздники. В отделе мягкой игрушки накрывали огромный раскромочный стол. Блюда, вполне традиционные, оформляли так замысловато, что порой их жалко было есть. На горках салата "оливье" нежились очень натуральные поросята, сделанные из крутых яиц. Из огурцов выкладывали крокодилов. Особо художественными получались изделия из паштетов, обычно изображающие черепах.

Народ был талантливый, с выдумкой. Забавлялся... Но выглядело это так, будто все стараются для Натальи Тарасовны лично. Во всяком случае, сама она в этом нисколько не сомневалась.

Наталка сидела во главе стола, с ровным удовольствием человека, который все это внимание заслужил. Спешить ей было некуда, и каждый из ее бракованных подчиненных держался так, будто и ему некуда идти, некуда спешить, будто и для него ничего не значит какая-то там бракованная семья... Со вкусом ели, подолгу пели романсы, народные песни, арии. Тон задавали два профессиональных тенора: формовщик, побывавший в плену, и заведующий отделом мягкой игрушки — известный скульптор-монументалист, который из сентимента не бросал места, где его приютили когда-то, нищего бездомного студента. Наличие такого подчиненного Наталке очень льстило, и он один мог позволить себе покинуть торжество в любое время, не дождавшись чая и знаменитой лотереи.

Деньги на лотерею, рублей сто двадцать — сто пятьдесят, выделяла дирекция. Почти на всю эту сумму покупался главный приз: какая-нибудь хрустальная ваза, столовое серебро, приличный сервиз. На оставшуюся мелочь набирали всякую дребедень. Главные подлипалы обходили стол с драной ушанкой, из которой сотрудники по очереди вынимали свернутые билетки, тут же получая свои открытки, спички и шариковые ручки. Разумеется, ажиотаж и даже азарт вызывали не они, а нечто таинственно прикрытое, стоящее на специальном возвышении. Это возбуждение доходило до кульминации, когда шапка оказывалась перед директрисой, которая, не глядя, опускала в нее небрежную тяжелую руку и протягивала свернутую бумажку главной подлизе. Та с деланным нетерпением раскручивала бумажку, широко раскрывала глаза и принималась изумленно визжать: "Наталья Тарасовна выиграла ва-азу-у!"

Покрывало торжественно сдергивали. Всем было интересно, что же там окажется на сей раз и понравится ли оно Наталке. Недоучки, калеки, евреи и сироты Натальи Тарасовны хлопали в ладоши над порушенными крокодилами и перепачканными поросятами, из-под которых выели салат. Наталка ленилась выразить изумление, но радость ее была искренней. Особенное удовольствие она получала, когда на этом спектакле оказывался зритель со стороны: какой-нибудь командировочный, застрявший на праздники, или крупный художник — из тех, кого она безуспешно пыталась привлечь в свою организацию.

Катя хлопала вместе со всеми и, глядя на Наталку, неизменно вспоминала строки: "За столом сидит она царицей, служат ей бояре да дворяне, наливают ей заморские вина..."

В ее отношении к Наталке была какая-то непонятная путаница. Несомненно, она радовалась, услышав в коридоре характерный победный грохот каблуков. Катя ловила себя на том, что ждет, когда этот грохот, приблизившись к двери скульптурного отдела, на

мгновение смолкнет, а затем, став еще решительнее, изменит свое направление. Тугая дверь рванется, и бодрый хрип шуганет дремлющие в пыльном воздухе воспоминания. "Ну-ка, что у вас тут происходит?!"

Она властно топала от стола к столу, роняя, как пепел, свои короткие замечания. Кажется, она была единственным человеком, на которого совершенно не оказывала размягчающего воздействия скульптурная мастерская. Даже напротив: добравшись до окна, у которого сидела Катя, она становилась еще тверже и жестче, чем обычно. Останавливалась у нее за спиной, тяжело и ритмично сопя. Такое сопение могло разрешиться не только нагоняем, но и суровой похвалой: "Красивая получается кукла. Только улыбни ее! Улыбни! Чего она такая кислая? У тебя что, цель — всем испортить настроение?"

Надо сказать, что Наталья Тарасовна, принимая Катю на работу, просчиталась и не раз упрекала ни в чем не повинную Дину Львовну. Катя оказалось неблагодарной.

На первый взгляд она идеально вписывалась в Наталкин приют для ущербных. Катя хромала, а это давало возможность дружному коллективу проявлять свою чуткость. Наталья Тарасовна так и сказала Кате при первой встрече: "С нами не пропадешь! У нас уже есть один мальчик-инвалид. Горбатенький. Мы ему коляску выбрали, инвалидную машину... И любим его. Потому, что он — оптимист".

В пользу Кати было и то, что она завалила экзамены на скульптурный факультет, а, значит, не должна была много о себе мнить. Наталка не стала говорить Кате, что, дескать, все у нее впереди, что валят на экзаменах и самых талантливых... Она утешила Катю в свойственной ей манере: "Ничего, у нас коллектив квалифицированный! Натаскаем не хуже любого института! Я взяла троих без диплома, и они прекрасно теперь работают. В нашем деле быть слитком грамотным тоже вредно. Вот возьми Иванова:

хороший скульптор, ничего не скажешь. Но если за ним не присматривать, он тебе вместо пиццалок резиновых памятников понаделает!"

О третьем Катином дефекте она упомянула в завалированной форме, уверенная, что та ее поймет: "Коллектив у нас интернациональный и все нации — равны!"

Так вот, Катя оказалась неблагодарной и при всех своих трех дефектах не только не бегала мыть директрисе окна — этого никто от нее и не ждал, — но она еще и перечила дерзко при всех. А, главное, куклы у нее были сплошь дурнушки.

— Ты красивая — и куклы у тебя должны быть красивые! — грохотала прокуренным басом Наталка и била толстой рукой по столу. — Вот ты в зеркало на себя посмотри! Разве у тебя такие уши? Пока не уменьшишь эти лопухи — я разрешения на формовку не дам!

Прохожие задерживались у окон, заинтересованные доносящимся оттуда бредом.

— Сказано: ноги должны быть прямо с туфлями! Значит — исполняй!

Голос гремел, будто били по цинковому тазу.

Второй голос, тоненький, звенел, будто стучали ложечкой по блюду — но тоже с напором, неуступчиво.

— Как же ее купать в туфлях?! Как же ее в туфлях спать укладывать?

Или такое:

— Посмотри! Посмотри! Она же у тебя жалкая! Она же у тебя обиженная! А наша цель — воспитывать здоровых, жизнерадостных людей!

— А хоть бы и жалкая! Ребенку полезно жалеть! Между прочим, какая-нибудь жизнерадостная красотка может подавлять детскую психику!

От таких разговоров Наталке становилось почти дурно. Она называла их бранным словом "философия" и всячески пресекала. Главный инженер из своего угла делал Кате увещевающие знаки: дескать, что же

ты нас подводишь, нас, к которым Наталья Тарасовна так хорошо относится!

Со всем тем Наталка не увольняла Катю, хотя давно уже без всяких угрызений совести рассталась с оптимистом-горбуном и двумя бездипломниками. Она сама не могла понять, что же ее останавливает. Во всяком случае, не то, что Катиных уродцев регулярно утверждали в Художественном совете — и даже с успехом. Здесь ей все было ясно: Анна Даниловна, взявшая девочку под свое крылышко, оказывает давление на Совет. Причем нисколько не таясь. Сначала идет, на полкоридора раскрыв Кате объятия — а потом на заседании, как ни в чем не бывало, доказывает, что Катини куклы "очаровательны", что они "живые и вступают с вами в общение!"

Но и это еще не все! Мало было Анне Даниловне персональной пепельницы — она завела вдобавок моду сажать свою любимицу за стол Совета, на пустующее место Фроловой, ушедшей в декрет! И во время заседаний непрерывно шепталась с нею. А сверх того — принуждала иногда высказывать свое мнение во всеуслышанье.

Первая крупная ссора произошла из-за чужой тряпичной куклы. Наталка не только находила ее несурзной — она вообще не понимала, зачем возвращаться к тряпичным куклам, от которых, слава Богу, давно избавились. "Может, еще вернуться к фарфоровым головам?!" — язвила Наталка, ощущая поддержку Совета.

И тут Анна Даниловна дала слово Кате. И стеснительная от природы Катя сначала отнекивалась и заикалась, а затем выдала целую речь. Дескать, современные пластмассовые куклы наносят детям страшный вред: их можно пачкать, ронять, бросать как попало, и поэтому дети не приучаются быть осторожными, не боятся непоправимых последствий. Что это одна из причин ужесточения нравов, о котором говорят педагоги. Что пластмассовые куклы —

холодные, их неуютно держать на руках, отчего в детях не стимулируется родительский инстинкт. И все это — дрожащим голосом...

Тут все начали переглядываться, по очереди прижимать к себе эту самую куклу и приводить примеры из собственного детства... Энергичная молодежь Анны Даниловны поднажала, и кукла прошла.

В перерыве Дина Львовна слышала, как Наталка просила у секретарши валидол и несколько раз повторила: "Я подобрала ее на улице, а она мне в душу наплевала!"

По правде говоря, и Дину Львовну порой смущали высказывания ее "воспитанницы". Однажды она показала Кате замечательно красивую куклу, занявшую первое место на конкурсе. Катя долго мялась, а потом понесла какую-то муть. У хорошей, мол, куклы есть душа, а у этой нет души. А потом вдруг развеселилась и брякнула, не понижая голоса, что такая куколка далеко пойдет по партийной линии и что вот она уже и ручку протянула для рукопожатия... Дина Львовна страшно испугалась, даже в коридор выглянула проверить, нет ли посторонних. Как раз в то время племянник, которого она в свои "агитаторские" годы называла сыном (кстати, он действительно стал известным математиком), подписался под каким-то протестом и остался без работы. Опасливо стреляя глазами, Дина Львовна просипела в ухо Кати, что если та скажет что-нибудь подобное при своей начальнице, то не только потеряет работу, но и дождет-ся неприятностей вроде обыска. А также бросит тень на людей, которые всячески поддерживают ее: Анну Даниловну и прочих. "Ты не представляешь себе, на что способны подобные люди!"

Катя полагала, что Дина Львовна несколько преувеличивает масштабы Наталкиной подлости. То есть мелкие подлости, конечно, были. Взять хотя бы то, что Наталка умышленно пристраивала Катиних кукол

на самые захудалые фабрики, где их уродовали до неузнаваемости.

Когда Катя увидела свою первую куклу, исполненную в мылистом полиэтилене, с толстыми черными бровями и красными ноздрями, она расплакалась при всем Совете. И все же Катя считала, что это делается не назло, а из искреннего неприятия ее работ. Она даже жалела Наталку, понимая, как раздражает ее. Старалась поменьше с ней спорить, даже слушалась, где возможно. Уменьшала уши, укорачивала ноги, прибавляла "оптимизма"...

Иногда она думала, что родители правы. Что глупо столько работать и столько нервничать ради такой крошечной зарплаты. Но дело-то было вовсе не в зарплате! И даже не в людях, с которыми Кате было так хорошо. А в самом ритме этой жизни. Ехать утром на трамвае. Нетерпеливо считать остановки. Переходить площадь, издали поглядывая в окошко: кто там сегодня есть? Входить в комнату, в этот густой запах — старого дома, свежего пластилина, гипса, лака. Кое-как пристроив на вешалке пальто, бежать к своему столу, где ждет тебя, смотрит прямо в лицо маленькое существо, которому не терпится стать красивым, гладким, прочным, а главное — проявить свою душу, свой норв... Господи, а увидеть свою куклу на прилавке в магазине! На улице, в руках у чужого ребенка! Да Катя готова была работать и вовсе бесплатно!

Собственно, к этому она и пришла: начала параллельно двух кукол. Одна, законная, лежала открыто на столе, вторая ютилась в выдвигном ящике. Ее Катя лепила, пока Наталка "задерживалась в главке" или "выезжала в министерство".

Работа шла легко и быстро. Катя сама перевела куколку в гипс. Это немного задело самолюбие формовщиков, но ябедничать на нее, разумеется, никто не пошел, тем более что Катина затея никак не мешала им задумчиво смотреть в окно или дремать с

открытыми глазами. Модельерша Фира, вообще-то большая трусиха, сшила тайком одежду. Уж очень он ей понравился — Катин "Маленький принц".

Катя решила показать его на республиканском семинаре. Она надеялась, что при большом стечении посторонних Наталка не станет устраивать скандал. Не захочет показать, что видит куклу впервые. Тем более, если куклу примут хорошо.

Но Катя ошиблась. Наталка чуть голос не сорвала, когда увидела "Маленького принца".

— А это еще что такое?! — грохнула она. — Откуда этот чахоточный?!

Куколка, стройненькая, хрупкая, стояла среди стола, протянув к Наталке беленькие ручки и глядя на нее снизу вверх с грустным недоумением...

Далее последовала баталия, какой не помнили и самые старые сотрудники. Наталка потребовала отклонить игрушку и обязательно записать в протоколе, что она упадочная и вредная по духу.

— Вы хотели бы иметь такого внука?! — кричала она через стол Анне Даниловне.

Тут все впервые услышали, что и Анна Даниловна может кричать.

— Да! Очень бы хотела! — при этом мешочки у ее рта запрыгали от возмущения.

Вот тогда-то Юлия Юрьевна, как-то очень мило усадив куколку на своей ладони, сказала: "У нас в Москве..." — но об этом уже упоминалось в начале повествования.

По дороге на вокзал Катя размечталась, как ребенок. Ослепительные картины теснили одна другую. Уже слышалось громкое "ура", обещанное Юлией Юрьевной. Представлялись интеллигентные, тонкие лица людей, которых она знала только понаслышке, по работам. Замирало сердце при мысли о том, что люди эти поймут ее и примут, как свою. Она едва подавляла улыбку, воображая себе, как, оттиснутая куда-то на край, одинокая, никому не нужная Наталка отводит от нее свой обиженный, завистливый взгляд.

Катя мысленно бродила по залам Эрмитажа под руку с Анной Даниловной, слушала ее тихий рокочущий голосок, сама говорила ей что-нибудь толковое, оригинальное...

Но еще лучше было представлять себе, как она с Анной Даниловной поселится в одном номере гостиницы, будет сидеть с ней допоздна при лампе, пить чай, готовить для нее замысловатые бутерброды.

Катя знала, что нигде люди не сближаются так легко, как в гостинице и в купе поезда. Она рассчитывала приехать на вокзал пораньше, чтобы помочь Анне Даниловне устроиться, уложить ее вещи, принести постель.

У зоопарка такси попало в пробку, а потом еще раз, на площади Победы. И когда Катя открыла дверь купе, оказалась, что все четыре ее спутницы уже устроились наилучшим образом. Не было никаких следов недавнего конфликта. Командировочный с верхней полки как раз перебирался в соседнее купе. Все — кроме, разумеется, Дины Львовны — вовсю курили. Анна Даниловна обучала Юлию Юрьевну раскладывать какой-то несложный пасьянс. Кате она кивнула очень приветливо, но коротко, продолжая бормотать: "На бубнового туза кладут бубновую семерку, потом бубновую восьмерку и так до дамы..."

Забросив на верхнюю полку свою сумку и пальто, Катя вышла в коридор. За окном сменяли друг друга пустые поля серого снега и унылые стенки голых деревьев, заслоняющих горизонт. Из-за двери купе доносился недовольный голос Анны Даниловны. "Ну ладно... Что-то у меня сегодня не получается... Тут наверху должны лечь четыре дамы... Я вам в гостинице покажу..."

Катя сходила в купе за журналом, втайне надеясь, что ее попытаются задержать. Но Анна Даниловна лишь вежливо поинтересовалась, что она читает, и одобрительно кивнула вслед, услышав название пьесы Ионеско.

"Носорог"... В коридоре, на откидном стульчике... Казалось, и этой пьесе, и этому серому дню не будет конца.

Когда старухи засобирались обедать, Катя отчего-то вдруг смутилась и вместо того, чтобы достать приготовленную матерью еду, отправилась в вагон-ресторан. В ресторане было почти пусто, и некоторое время Катя скрашивала одиночество говорливой официантки.

Вернувшись к своему откидному стульчику, Катя обнаружила, что читать уже темно.

В негустых сумерках начали загораться первые блеклые огоньки, от вида которых стало совсем неприятно. Стекла пахли пылью, дуло в лоб.

В купе то ли снова собирались есть, то ли не прекращали. Дымился в граненых стаканах кофе. Катю пригласили за стол, но она сказала, что уже поела и очень хочет спать. Ее не стали уговаривать. Она взобралась на свою полку — и действительно заснула. А то бы знала, что старухи вовсе не забыли о ней. Например, Юлия Юрьевна спросила, не мешает ли ей папиросный дым. На это Дина Львовна ответила, что Катенька — человек воспитанный и никогда не созналась бы, даже если бы дым ей мешал. Анна Даниловна согласно кивнула, а Наталка крякнула не то одобрительно, не то с иронией.

— Молодость! — позавидовала Юлия Юрьевна, — Не успела лечь — и уже спит. А какая она все-таки прелесть! Эти глаза, эти локоны медные! Ей надо сделать куклу такую же, как она сама!

— Ну вот! А я о чем же? Я же от нее этого требую уже два года! — прохрипела Наталка и вдруг добавила с неожиданной симпатией: — А она мне говорит, что это будет слащавая кукла!

Все умиленно посмеялись.

— Возьмите Гаврилову, — продолжала Наталка. — Я от нее и не требую! Что с нее возьмешь? Какая она сама редька прошлогонья — такие и куклы! Или Разгон. Все от него без ума, а я вот не боюсь сказать: курам его не хватает... приятности!

— Ну... — перебила Юлия Юрьевна. — Вы, значит, Разгона не видели! Он просто красавец! Характер у него паршивый — это точно. И у кукол такой же, тут вы правы. Он на прошлом совете куклу показал... Вот такую, сантиметров пятьдесят. Форма — потрясающая! Но это же настоящая бандитка! Вот сейчас она влезет в песочник и у всех детей игрушки заберет!

— Мне лично больше нравится Баранников, а еще больше — Эльберт, — продолжала Наталка. — У него куклы без вывертов, но такие симпатичные, такие приятные, как он сам.

— Да, — подхватила Дина Львовна. — Эльберт — это море обаяния, и куклы его тоже, хотя Анна Даниловна, наверное, со мной не согласна.

— Как сказать, — сощурилась на кончик своей папиросы Анна Даниловна. — Его вещи не в моем вкусе, но по-своему они вполне теплые, достойные.

— Культурный художник, — поддержала Юлия Юрьевна. — Но форма у него, по сравнению с Разгоном, простовата. И образы немножко однотипны. Слишком быстро он их штампует.

— Как по мне, — сказала Наталка с мечтательным удовольствием, — разогнать бы всю мою лавочку и взять вместо них одного Эльберта.

— А зачем ему это? — беззлобно удивилась Анна Даниловна. — Он и без посторонней помощи прекрасно продает свои игрушки!

— И то правда, — согласилась Наталка. — Он человек практичный. Знает, как с кем поговорить. И не жадный. Не то что Разгон, который два года судится с комбинатом из-за ста рублей. Эльберт знает, что иногда выгоднее потерять, и не боится отблагодарить кого надо. Это у него национальное.

Бедная Дина Львовна не знала, чувствовать себя обиженной или польщенной. Лицо ее пошло нервными пятнами.

— К вашему сведению, — сказала Юлия Юрьевна, — Разгон тоже еврей. А что до их практичности... Есть,

конечно, множество практичных, деловых, хорошо приспособленных к жизни. Но я вам скажу по личному опыту: таких беспомощных и неприспособленных, какие бывают евреи, я тоже не встречала. У меня первый муж был еврей. Прекрасный человек! Но с ним невозможно было жить! В быту бестолковый, людей боится! Любая мелочь для него проблема. Не дай бог послать его за какой-нибудь справкой — он разрыв сердца получит! Или там слесаря вызвать на дом. Ка-а-ак! Он же может что-нибудь потребовать! Он же будет по дому ходить! Он же... Лучше месяцами кран обматывать тряпочкой. — Она вдруг рассмеялась. — Как-то у него нога разболелась. И все хуже и хуже. Воспаление какое-то на ступне. Совсем уже ходить не может, а к врачу идти боится: вдруг ему скажут, что это рак. Не знаю, что мне вдруг пришло в голову... взяла его сапог и перевернула. И что же! Оттуда вылетает здоровенный гвоздь! Вот такой! Ну скажите, как можно было месяц ходить и не замечать этого?! И ведь не дурак, не умственно отсталый! Кандидат наук, образованнейший человек! На работе его боготворили, а я такого могла бы о нем порассказать... Я его очень любила! Но не выдержала. Мне в жизни необходима защита, опора! — вдруг отрезала Юлия Юрьевна своим решительным мужским голосом.

И все взглянули на нее с тайным недоумением.

Опустевшие стаканы дребезжали в подстаканниках, ездили по полочке туда-сюда. Темнота за окном становилась все гуще и равномернее.

— Э-э, — неожиданно вскинулась Анна Даниловна. — Мой был русский — и точно такой же! Ни гвоздь забить, ни вкрутить лампочку. Я в семье и за женщину была, и за мужчину. Ни о чем не думал. Хуже ребенка! Есть позовешь — сядет, поест. Сам никогда не возьмет себе. Иногда, бывало, уеду по делам на целый день, вернусь к ночи усталая, замерзшая, а он сидит голодный, радуется, как ребенок, что я ему сейчас чай вскипачу, на стол поставлю... И ведь не работал! Не по своей вине, конечно. Это его трагедия была... В свое время он был очень известным архи-

тектором. Строил храмы, колокольни. В провинции по большей части. Он очень тонко чувствовал пейзаж! Кажется, вот уж неказистый ландшафт! А он поставит какую-нибудь колокольню на пригорочке, церковку над озерцом... И такое очарование! Будто все это он сам придумал: и горизонт, и небо... А церковка эта — завершение, последний штрих.

Анна Даниловна помолчала, аккуратно стряхнула пепел с папиросы.

— Кое-что до сих пор стоит. Раньше я выбиралась взглянуть, а теперь не могу, дорога тяжелая. Все запущено, разрушается... Я думаю, он был гений. Я его боготворила. Мне и в голову ни разу не пришло сказать ему: пойди, мол, поищи какую-нибудь другую работу. Когда мы поженились, я была молоденькая барышня-декадентка, в дочери ему годилась. Он называл меня "моя нефритовая ваза"... И вот эта "нефритовая ваза" надевает стеганые валенки, повязывается серым платком — и стоит целый день на толкучем рынке с какой-нибудь горжеткой и вязаной скатертью... Курит самую дешевую махорку. Руки красные, потрескавшиеся, потому что стирать приходилось в холодной воде. И ни разу он мне не сказал; "Знаешь, Аня, давай продадим что-нибудь из моей коллекции". Конечно, тогда старинный веер или статуэтку японскую нельзя было хорошо продать, но он бы не стал продавать, даже если б ему миллионы предложили...

Проснувшись к этому времени Катя чуть не охнула от удивления. Все, что рассказывала Анна Даниловна, было известно ей от друга-поэта. Но тот всегда просил Катю никому ничего не рассказывать о прошлом Анны Даниловны — ни о муже, ни о его церквях, ни о его коллекциях. Он говорил, что обо всем этом известно лишь очень немногим.

Катю слегка сместило в нем такое чувство причастности к великим тайнам. Она была уверена, что организацию, страх перед которой омрачил все жизнь Анны Даниловны, давно уже не интересуется — а, может, никогда и не интересовал старичок, возводив-

ший когда-то церкви и мирно умерший в собственной квартирке. Другое дело — коллекция вееров или японских статуэток. Вполне разумно было помалкивать о них, опасаясь воров. Еще понятнее было нежелание Анны Даниловны развлекать *любопытных* подробностями своих отношений с Хлебниковым или Андреем Белым.

И вот Катя лежала на верхней полке и слушала, как Анна Даниловна выкладывает все свои тайны — и не лично ей, доверительным шепотом, а совершенно посторонней Юлии Юрьевне, хамовитой Наталке, Дине Львовне, которую не ставит ни в грош! Да что там! Любой, кто надумал бы остановиться у распахнутой настехь двери купе, мог послушать и про нэцке, и про гравюры, и про многое другое...

— ...Короче, он дома сидел, а я семью кормила. Однажды я на него так обиделась — ну просто готова была уйти? Мама не позволила. Представляете, как раз в самый голод мне удалось выменять на горох свои последние туфли. Нам бы этого гороха на неделю хватило. И что же он сделал! Взят да и сменил его на большой ониксовый крест! Он и сейчас не слишком-то ценный, а в то время вообще ничего не стоил. Я ему сказала: "Бог с ним, с горохом, как-нибудь перебьемся! Но это ж примета плохая, это же к несчастью: чужой крест в дом принести! Сейчас же отнеси туда, где взял!" Он оделся, пошел... Через несколько лет у меня наперсток далеко под буфет закатился. Полезла я туда линейкой — а оттуда... И, главное, время-то какое было! Без всяких примет одни несчастья! Людей каждый день так и выкашивает! Сегодня один исчез, завтра — другой... Поверите, мне даже стыдно было, что меня не трогают! Всех близких забрали, а я, как заговоренная! Иногда думала: хоть бы уже скорее! Я за себя не боялась. Только за него, за маму. Да-а-а... Снова потребовала отнести. Хорошо, он унес вроде... А уже во время войны полезла я как-то на антресоль искать, не завалилось ли там что-нибудь: мыло или спички...

Видю — какая-то коробка незнакомая. Я обрадовалась, открываю, а там снова этот крест, в тряпочку обмотанный. Я уже ничего говорить не стала. "Значит, — думаю, — это моя судьба, мой крест. Надо нести". Мама покойная все повторяла перед смертью: "Видишь, Аня, ты на него обижалась всю жизнь, а он тебе старость безбедную обеспечил".

— Вы сдаете вещи в антикварный? — поинтересовалась Юлия Юрьевна. — Учтите, там часто обманывают.

— А я бы такого ни за какую коллекцию не стала терпеть! — вклинулась Наталка. — Ей-богу, взяла бы качалку и дала по спине! Мой и зарабатывал, и в доме что хочешь мог починить, а я на все плюнула и разошлась с ним! Зачем оно мне надо: его носки, кальсоны! Как прачка бесплатная! Я полотенцем месяц вытираюсь — и оно чистое, а у него делалось черное за три дня! Каждый день борщ ему подавай, а он тебе будет указывать: то тебя кофта слишком обтягивает, то ты подмигнула кому-то... А я была веселая, компанейская, любила пошутить...

Она вдруг прыснула самодовольно, и, бегло зыркнув на полку, где "спала" Катя, но не понизив голоса, продолжала:

— У нас в квартире попик жил. Огромная была коммуналка. Коридор дли-и-нный. Все соседи — наши, заводские. Я даже не знаю, как он к нам попал. Там была комнатка... Самая маленькая, угловая. И на что он жил — тоже неизвестно. Видно, кто-то помогал ему. Он из дому почти не выходил, всегда торчал в этой своей комнатке. Ждал, пока все наши на работу поуходят, и тогда только шмыгнет в уборную или на кухню. А я стою под дверью и жду. Разденусь догола, одни туфли оставлю на высоких каблуках. Понаставлю на поднос грязной посуды... Только услышу, что он потащился с кухни со своим чайничком, выскочу ему навстречу с подносом и как ни в чем не бывало: "Здравствуйте, Александр Тимофеевич!"

Тут она подавилась дымом, расхохоталась, раскашлялась.

— А я девка была фигуристая, мясистая! Он, бедный, бегом, об ряску спотыкается, кипяток разлил...

Анна Даниловна опустила глаза. Утонченная скабрёзность ее улыбки относилась не столько к самой выходке Наталки, сколько к ее сходству с эпизодом из известного романа. По выражению лица Юлии Юрьевны можно было заключить, что и она уже успела прочесть Булгакова. Что же до Дины Львовны, то у нее от возмущения таким бесстыдством на некоторое время пропал голос.

— И ваш муж об этом узнал? — спросила она наконец тоном народного заседателя.

— Еще чего! Он бы меня убил! Такой был хам, земля ему пухом! Вторую жену посадил дома и работать не давал. Я ее как-то встретила после войны. Наделал ей троих детей, а сам погиб в сорок втором!

— А у вас от него детей не было?

— Ни от него, ни от кого другого. Я больше замуж не выходила. На черта оно мне, все это! Если мне мужик нужен был, я всегда могла его найти. Без борщей и без стирок. Вы же фронтовичка, сами знаете, — обратилась она к Юлии Юрьевне. — После фронта на такие вещи смотришь проще.

И слово "фронт" прозвучало у нее так нехорошо, что все поморщились, и Юлия Юрьевна в особенности.

— Мой муж тоже погиб на фронте, но я уверена, что он до конца был чист передо мной! — продекларировала Дина Львовна, часто моргая, и тут же вытянула из сумки фотографию, представила, как вещественное доказательство. — Вот он.

На фотографии четверо девушек сидели в рядок, а молодой человек в вышитой рубашке стоял сзади, неудобно опираясь локтем о спинку стула. Кстати, Дина Львовна, вполне опознаваемая, сидела с противоположной от него стороны — так сказать, вне всякого контакта...

Наталка зыркнула боком на фотографию, не пряча иронической ухмылки.

— Я тоже могла много раз выйти замуж, — продолжала Дина Львовна, игнорируя явное недоверие окружающих. — Но я была верна памяти мужа! К тому же я должна была поставить на ноги сына... Приемного, — уточнила она с неохотой. — Но теперь я вижу, что нужно было создать новую семью и родить собственных детей. Я в этого ребенка вложила очень много сил, много любви. И все это пропало даром! Он чужой мне человек. И сейчас, на старости, мне чрезвычайно горько это сознавать.

— А! — взмахнула рукой Юлия Юрьевна. — Старость — всегда гадость. И свои дети ничуть не лучше приемных. У меня тоже нет детей, но я не жалею об этом. Я смотрю на детей своих знакомых и вижу: что с ними, что без них — одно и то же!

— Оно конечно, — крикнула Наталка, — дети не нужны, пока тебя ноги носят и ты можешь сам себя обслуживать... Я только думаю всегда: хоть бы мне умереть на ходу! Или во сне! Как Софья Петровна.

— Да, она умерла, как святая, — с ласковой завистью покивала Анна Даниловна. — Это заслужить надо. Не дай Бог никому мучиться, как моя мама!

— Или мой отчим! — поддержала Наталка. — Ой, как я с ним навозилась! Уж на что я его любила, а тут дождаться не могла, когда все кончится! Ну да что делать... — приободрилась она. — Слягу — придется чужим платить. Оно, может, и вернее — за деньги. Слава Богу, есть чем. Я очень богатая! У меня хрусталь — полный дом! Серебро! Отрезы дорогие! Особняк в Малютинке! Двухэтажный! С огородом! С садом! От отчима остался. Не пропаду.

— Я тоже обеспечена, — с суровой скромностью отметила Юлия Юрьевна. — Денег я не держу. Все вкладываю в антиквариат. Иконы, складни. Я распорядилась так: друзья в случае чего будут их по мере надобности продавать и оплачивать сиделку. А треть денег я велела им брать себе, за хлопоты. Мне одолжения не нужны!

— Да, — подхватила Анна Даниловна, — я тоже не буду обузой для своих близких. Я уверена, что они мне помогут и без всякой награды, но все равно приятно знать, что и я для них что-то сделала. Я им сказала, что именно из моих коллекций передать в музей. Остальное они разделят между собой поровну. Думаю, мне при жизни ничего не придется распродавать. У меня хорошая пенсия, мне хватит.

— У меня тоже неплохая пенсия, — заморгала Дина Львовна. — Для меня вполне достаточно. Главное — найти порядочных людей, которые не стремятся на тебе нажиться. Вот я думала, что нашла таких — и сильно поспешила! Все свое добро им отдала: постель, посуду, пианино "Беккер"... Им понадобился стул — я им стул отдала из гарнитура! И что же! Оказалось, что они просто хотели свою квартиру и мою поменять на одну трехкомнатную! Я к такому шагу не готова. Пусть я неважная хозяйка, но меня устраивает и моя кухня, и мой нынешний быт.

Юлия Юрьевна сказала, что она лично хозяйка никуда не годная, что готовит она хорошо, но в доме у нее кавардак и повсюду полные пепельницы.

За ней Анна Даниловна стала каяться, что дом у нее безалаберный с тех пор, как умерла мать. Она лично старается, чтобы в буфете всегда был хлеб, чай, кофе и водка, а остальное берут на себя ее подопечные. Тоже не слишком хозяйственные. Что же до пепельниц, то с ними и у нее беда.

Наталка же будто решила всех перецеголять: похвастала, что пепельниц у нее и вовсе нет, а окурки валяются по всему дому в суповых тарелках. Что все белье у нее в мелких дырках, потому что она любит курить в постели. Что за шторкой у нее стоят чемоданы, привезенные после войны из Германии, и она за двадцать с лишним лет не удосужилась их разобрать, забыла даже, что там лежит.

Дине Львовне стало неприятно. Получалось, что она такая же скверная хозяйка, как и ее попутчицы. Она попыталась было уточнить, что именно имела в

виду под словом "неважная", но так и не смогла вклиниться в разговор. Впрочем, другая мысль отвлекла ее: Дина Львовна вспомнила, что забыла вечером закапать глазные капли, и поспешила в туалет мыть руки. Как только спина ее, полная достоинства, отплыла за дверной проем, Наталка известила Юлию Юрьевну, что Дина Львовна — старая дева и никакого мужа у нее и в помине не было.

Юлия Юрьевна, не заинтересовавшись этим сообщением, сказала, что ей тоже надо закапать глаза, и стала рыться в сумочке.

— У вас что? — спросила Анна Даниловна, указывая подбородком на импортную бутылочку.

— Катаракта, — ответила Юлия Юрьевна и очень ловко капнула себе в оба глаза.

— У меня тоже, — вздохнула Анна Даниловна. — Но я пропущу один раз.

— И у меня катаракта! — порадовалась такому совпадению Наталка. — Но я не капаю. Не верю я в это дело. Придет время — вырежут, и все.

Она взяла на плечо полотенце и, тяжело сопя, выбралась из купе. Тут возвратилась Дина Львовна и с порога спросила Юлию Юрьевну, знает ли она о том, что Никоненко в своих иллюстрациях к "Волшебнику изумрудного города" изобразил Наталью Тарасовну в виде ведьмы Гингеми. Юлия Юрьевна, уже было закунявшая, оживилась и сказала, что с нее следовало бы нарисовать гоголевскую Солоху. Анна Даниловна одобрительно расхохоталась.

— Вот именно Солоха! — восхитилась Дина Львовна, окрыленная светским своим успехом. — Мне неудобно об этом говорить... — понизила она голос. — Наталья Тарасовна — фронтовичка, член партии, ответственный работник, но все это не мешает ей состоять в интимной связи с собственным главным инженером! Женатым человеком! — прибавила она, разочарованная вялой реакцией своих собеседниц.

Катя на верхней полке вся затряслась от подавленного смеха. Она подумала, что Анна Даниловна, по-

жалуй, сейчас смеялась бы во весь голос, если бы представляла себе, о ком идет речь. Конечно, главный так благоговел перед Наталкой, что готов был для нее на все, но уж слишком для него она была стара и огромна, да и кабинетик ее для таких дел никак не годился. В Катином воображении возникла картинка: Борис Маркович склоняет над столом директрисы свою цветущую мордочку, а Наталка протягивает толстенную руку и плотоядно щиплет его за тугую смуглую щечку. Он преданно ей улыбается, светя двумя белыми заячьими зубами...

— Пора ложиться. Пойдем, пожалуй, и мы умоемся, — предложила Анна Даниловна Юлии Юрьевне, как будто боялась, что если она выйдет одна, то и о ней будет рассказано что-нибудь непотребное.

Как только они вышли из купе, Катя рассмеялась вслух.

— Что тебя так развеселило? — насторожилась Дина Львовна.

— Кто вам сказал такое... про главного и Наталку? Вы бы на него посмотрели, на пупсика нашего. Он моложе ее лет на двадцать!

Дина Львовна подышала снисходительно, выглянула в коридор и ответила:

— Сказали, Катенька-детка, люди, которых не проведешь, которые знают всю подноготную этой неблагородной женщины. Которые знают жизнь лучше, чем ты, наивный, чистый ребенок. Вот ты говоришь, на двадцать лет моложе... — Она снова выглянула в коридор. — Я знаю, как ты относишься к Анне Даниловне... и не хочу тебя разочаровывать ни в коем случае. Но если не я, то все равно кто-нибудь другой тебе откроет глаза! Она не та, за кого ты ее принимаешь! Это испорченная женщина, чтобы не сказать — развратница! Она... спит с мальчишками!

— О Боже! — застонала Катя. — Что за ерунда!

— А что, скажи мне, они делают в ее доме? Ты думаешь, для чего она их там держит за шкафами?! Что им за интерес водиться со старухой?!

— Это надо же придумать такой вздор! Да я сама знакома почти со всеми этими ребятами! И я им страшно завидую! Она столько знает! С такими людьми была знакома! Она любому может помочь, посоветовать!

— Что посоветовать?! — ревниво гнула свое Дина Львовна. — Как переспать с парочкой знаменитых людей?! И за это с ней носятся! Я ничего больше не скажу! Я только стараюсь уберечь тебя от большого разочарования.

После этого Дина Львовна аккуратно оттеснила к окну салфетку с окурками, пустыми стаканами и бутылкой, толстой левой ножкой стала на нижнюю полку, ручками уцепилась за обе верхние и довольно лихо утвердилась правой ногой на столике. Затем, сделав ласточку, завела левую ногу на свою полку... непонятно подергалась... и замерла. Подоспевшие как раз к этому моменту Анна Даниловна и Юлия Юрьевна испуганно остановились в дверях и уставились снизу на ее быстро багровеющее лицо, на задранную ногу, на нежно-желтые панталоны, натянувшиеся, как крыло летучей мыши...

Катя, кое-как съехав со своей полки, бросилась босиком за проводницей. У самого тамбура она поравнялась со своей начальницей и попыталась разминуться с ней, но Наталка и сама едва умещалась в узком проходе.

— Проводник! Пожалуйста! — крикнула испуганная Катя.

Проводница сориентировалась неожиданно быстро: видно, готова была к тому, что добром эта странная попойка не кончится. Она даже обрадовалась, когда поняла, в чем, собственно, дело. Окинув быстрым взглядом арабеск, в котором застыла Дина Львовна, проводница подошла к ней, деловито закатила повыше ее задравшуюся юбку, строго приказала ей освободить правую руку и, прижав к своей груди опорную ногу Дины Львовны, стала толкать ее грубо вверх. Зависшее в зловецем полумраке пухлое тело резко

изменило свое положение. Но не к лучшему. Теперь уже было совершенно невозможно вернуть злополучную ногу обратно на стол. К тому же стало ясно, что проводница переоценила свою подъемную силу. Она стояла, крепко обнимая ногу Дины Львовны, и коротко с напором пыхтела, как штангист перед последним толчком.

— Я разбужу соседей! — плаксиво взвизгнула Катя и кулаком застучала в стену. Из-за стены доносился глубокий неравномерный храп. Сдвинутая посуда лязгала и билась в оконное стекло. Вагон вилял из стороны в сторону, будто хвост плывущей в черных глубинах рыбы: то ли поезд сворачивал, то ли раньше не замечали, как его болтает.

Три старухи с одинаковыми от ужаса лицами смотрели на прогнувшуюся спину проводницы, ожидая, что она вот-вот сломается. Но многолетняя привычка удерживать валящиеся на голову матрацы победила: проводница закатила-таки Дину Львовну на ее полку — и, не ожидая благодарности, ушла.

Тут же все забыли о Дине Львовне и стали сочувствовать Наталке, которой предстояло занять свое место в храпящем на три голоса купе. Потом Анна Даниловна приняла какую-то таблетку и предположила, что в эту ночь ей уснуть не удастся. Юлия Юрьевна ответила, что уже и спать, собственно, некогда. Но очень скоро после этого она задышала суровыми рывками. В соседнем купе захрапела Наталка. С места, тяжело и упорно, будто кто-то взялся заводить мотоцикл. Зато все трое командировочных затихли, по-видимому, разбуженные своей попутницей. Анна Даниловна тихонько ворочалась и побряхтывала на полке. В этом побряхтывании чувствовалось то недовольство, то одобрительное изумление. Через несколько минут она задышала ровно, с легким присвистом. Дина Львовна не спала, и по ее напряженному молчанию чувствовалось, как ей хочется что-то сказать Кате. Но Катя прикидывалась спящей, пока не уснула и в самом деле.

Спали они недолго. По вагону забегали проводники. Включили яркий свет. Кате было как-то тяжело и неприятно. Казалось, ехали, ехали всю ночь и вот въезжают в город, а в городе — вечер...

Ярко горели вокзальные огни. Медленно проплывали мимо окон редкие невеселые фигуры. Катя растерянно прикидывала, как она будет высаживать четырех старух, выносить их чемоданы и собственные коробки с куклами. Старухи тоже слегка забеспокоились, но вдруг оживились, застучали в стекло: "Эльберт! Эльберт!" К самому окну приблизилась симпатичная физиономия с вертикальной щенячьей трещиной от носа до верхней губы. Эльберт крикнул им что-то ободряющее и стал протискиваться в вагон.

Встреча оказалась очень теплой. Каждая из старух явно претендовала на особо доверительные отношения с Эльбертом, и он не обманывал их ожиданий: с каждой был по-особому предупредителен. Он и Кате успел продемонстрировать свое восхищение ее медными волосами — и явно собирался продолжить в том же направлении, но, заметив Катину хромоту, без всякого перехода угас и остался лишь распорядителем и вежлив.

Привычная к таким метаморфозам, Катя все же слегка расстроилась, но виду не подала. Просто подумала, что Ленинград начинается как-то не так.

Надо сказать, она неправильно поняла Эльберта: то было не разочарование, а остаточная порядочность, не позволявшая ему, женатому, закручивать командировочную интрижку с девушкой, у которой и так достаточно проблем. Эльберт уважал болезнь и, усаживая Катю в такси рядом с Диной Львовной, суетился куда больше, чем того требовалось. На переднем сиденье водрузилась Наталка, сам же ангел-спаситель сел в следующее такси, с Юлией Юрьевой и Анной Даниловной. И хотя Катя знала, что едут они в одну и ту же гостиницу, ее слегка задело то, что Анна Даниловна даже не кивнула ей напоследок, увлеченная обаятельной Эльбертовой болтовней.

Светало трудно и нерешительно. Знакомые силуэты знаменитых зданий почему-то не радовали Катю.

Гостиница — современная и не слишком уютная — оказалась зато в двух шагах от Александро-Невской лавры. Эльберт сам заполнил бумаги и уверенно повел их по длинному гостиничному коридору, бряцая ключами. За ним двигала себя, как сейф, Наталка, несла себя, как хлеб-соль, Дина Львовна, раскачивалась, как конькобежец, Анна Даниловна, забивала каблуками гвозди Юлия Юрьевна... Позади всех устало ковыляла Катя, никому не доверившая своих коробок.

Еще внизу, у окошка администратора, Наталка встретила Петрову, директора Донецкого комбината игрушки, и та пригласила ее на свободную кровать в свой двухместный номер. Юлия Юрьевна с Анной Даниловной, не сговариваясь — будто это само собой разумелось — заняли соседнюю комнату, а Дина Львовна, несколько уязвленная, громко заявила, что хочет поселиться с Катей, хотя выбора у нее, собственно, и не было. Катя, которая еще в поезде распростилась с мечтой о доверительных вечерах в обществе Анны Даниловны, порадовалась хотя бы тому, что ей не придется по ночам слушать генеральский храп Наталки.

Номера их были расположены подряд, и уже через полчаса запах курева просочился под Катину дверь. К полудню запахло крепким кофе. Судя по звукам, Наталка принимала участие в трапезе.

— Ужасный запах! — морщилась на своей кровати Дина Львовна. — Я так рада, что поселилась с тобой! Кошмарная была ночь! Слава Богу, что больше мне не надо пить этот жуткий кофе и слушать их мерзкие разговоры! Ты меня прости, но твоя начальница — просто развратница! Я всегда уважала ее, но исключительно за военные заслуги! А у нее получается, что на войне только и было, что дикие любовные оргии! Она при тебе не говорила, ты выходила как раз... И откуда, скажи мне, у нее такое богатство?

Болтовня Дины Львовны не слишком раздражала Катю, но она все же обрадовалась, когда та не захотела ехать на экскурсию по городу. Вернувшись, Катя застала ее в той же позе, причем Дина Львовна тут же продолжила свой рассказ, будто Катя отлучалась всего на минуту.

— У вашего главного инженера жена — красавица! И сам он такой интеллигентный, такой порядочный! Но — слишком мягкий. А эта накрашенная тумба, пользуясь своим служебным положением, его обесчестила!

Тут она — видимо, по ассоциации — вдруг переключилась на Анну Даниловну.

— И твоя Анна Даниловна хороша! Она, видите ли, мужа своего любила! "Боготворила!" Как же при этом она умудрилась побывать любовницей всех этих Андреев Белых, и Мейерхольдов, и бог знает кого там еще?! И не стыдится писать об этом в газетах! Конечно! А чем бы иначе она привлекла к себе этих наивных мальчиков? Своими папиросами? Своим коньяком? Или своими женскими прелестями, которых у нее, по-моему, и в молодости не было?

Тут Дина Львовна даже приподнялась на локте, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели ее слова на Катю.

Катя вдруг почувствовала, что ей не очень хочется спорить: наверно, она была обижена на Анну Даниловну. Или разочарована. Или все вместе. Да и не нуждалась Анна Даниловна в ее защите.

— Дина Львовна... — сделав над собой усилие, тоскливо сказала Катя. — Мы же сегодня ночью об этом говорили... Я вам все объяснила... Эти "мальчики"... Они ее обожают, они в нее влюблены, конечно — но совсем в другом смысле! Кстати, к ней и девочки ходят. Это все особенные, сложные люди. В семье их не понимают, стараются переломить... А в доме Анны Даниловны получается что-то такое... может быть, даже лучше, чем семья! Она человек образованный, умный, опытный. Она способна любому привить хороший вкус!

— Господи! "Хороший вкус"! Да кто она такая? Художница? Нет. Музыкантша? Нет. Вообще, что она умеет сама? На каком основании ведет себя в Совете так, как будто она — главный специалист? Я тебе честно скажу: если бы не ты, я бы даже в ее сторону не смотрела! Ни за что не поехала бы в Ленинград в таком обществе! И кстати... — помедлив, продолжила она каким-то новым голосом. — У меня такое впечатление, что и Анна Даниловна, и Юлия Юрьевна совершенно забыли о нашей акции! Ведь они поехали в Ленинград ради тебя, для того, чтобы тебя, так сказать, защитить от Натальи, выступить против нее единым фронтом! А что вместо этого? Они чуть ли не целуются с ней! И выкладывают о себе такие гадости, что после этого им и руку подать нельзя! До сегодняшнего дня я считала Юлию Юрьевну интеллигентным человеком... Но теперь я вижу, что правы были те...

Тут в дверь громко стукнули и, не дожидаясь отклика, распахнули ее настежь.

— Дина Львовна! — прохрипела Наталка, неприветливо и с такой усмешечкой, будто слышала из коридора весь их разговор. Папироса прыгала при каждом ее слове. — Эльберт приглашает нас четверых в ресторан на ужин. Через сорок минут подойдете к лифту.

Дверь захлопнулась. Дина Львовна вскочила и тут же стала возбужденно переодеваться, путаясь в рукавах и чулках. Запахло обильно набрызганной "Элладой" и пудрой "Кармен". Неприглашенная Катя, которую Дина Львовна тщательно избегала взглядом, даже закашлялась.

— Пойду разомнусь, — сказала она и вышла в круглый холл.

Там на кожаном диванчике сидели девочки-анималистки из Чернигова и Харькова.

— Иди сюда! — окликнули они Катю. — Тебя с кем поселили?

— С Диной Львовной.

Девочки хихикнули.

— Перебирайся к нам, — предложила хорошенькая Танечка Плошкина. — У нас четырехместный номер и одна кровать пустая. Да, так вот... — продолжила она прерванный рассказ. — Мы у него практику проходили. Знаете, как это бывает: первый раз попали в Москву. Кинулись по музеям, по магазинам... Месяц пролетел, и никто ничего не успел сделать. Так он всем нашим девчонкам не только сам кукол вылепил, а еще и сам отформовал! А ты говоришь — скупой! Ты чужие глупости не разноси!

— Это о Разгоне? — спросила Катя. — Я тоже слышала, что он судился с комбинатом из-за ста рублей.

— И правильно сделал, если судился! Они, когда рубль переплатят тебе, не постесняются его по почте потребовать, а сто рублей недодать — пожалуйста...

Включили телевизор, Фильм был старый, смотрели его невнимательно, одновременно прикидывая, как бы это забрать к себе Катю и не обидеть при этом Дину Львовну...

Где-то часов в девять вечера нервно щелкнул лифт, и мимо холла на всей возможной для нее скорости, ни на кого не глядя, пронеслась Анна Даниловна, с дрожащим от возмущения подбородком. А минут через десять после нее прокатилась странно поджатая Дина Львовна,

Катя подождала, не появятся ли следом остальные ее попутчицы. Никого больше не было.

— Ты не представляешь себе, что случилось! — встретила ее Дина Львовна, уже переодевшаяся в халат. — Сначала все было просто прекрасно! Эльберт заказал роскошный стол: икру, балык, маслины... Какое-то особенное вино, вроде бы очень легкое... но, видно, все-таки ударило в голову... Разговор был такой хороший, содержательный... А Юлия пила, пила, рюмку за рюмкой ... и стала вспоминать войну... и вдруг предлагает тост... За кого бы ты думала? За Сталина! А эта грубиянка...

И Дина Львовна подробно рассказала Кате о том, как Наталка бросилась к Юлии Юрьевне чуть ли не целоваться, Анна же Даниловна так стукнула своей стопкой о стоп, что забрызгала вином всю скатерть. И покинула ресторан. А Дина Львовна сделала вид, что идет в туалетную комнату — и уже оттуда ретировалась.

— Я все равно не пила, — кряхтела она, стаскивая чулки. — Поднимать тост за Сталина! Который уничтожил моего брата и невестку! Который погубил столько ни в чем не повинных душ! А я, дурочка, ничего не понимала, бегала по домам и будила людей в пять часов утра! Как будто они не успели бы в десять утра проголосовать за такого негодяя!

Дина Львовна с чувством хлопнула дверцей шкафа.

— Бедный Эльберт! — продолжала она чуть спокойнее. — Он сидел весь красный и не знал, что ему делать. Он мне когда-то рассказал, что у него до войны расстреляли отца, а после войны — отчима... Но куда ему было деваться, если это он их пригласил и должен был платить по счету?

На следующий день начался семинар. Разумеется, никто уже и не думал ни о каком "едином фронте". Анна Даниловна и Юлия Юрьевна сидели на разных концах стола и подчеркнuto не замечали друг друга. О Кате никто и не вспомнил. А хоть бы и вспомнили... Авторов поодиночке вообще не представляли. Кукол разложили скопом на низких подиумах. О молодых украинских скульпторах говорили тепло. Как о цельном явлении, никого не выделяя. Правда, Разгон как-то в курилке перебил Наталку, которая привычно плакалась, что ей не с кем работать.

— Чего это вы прибедняетесь! Вон у вас появилась рыженькая девочка — восходящая звезда...

Но Катя этого не слышала, а Наталке это не помешало сразу по возвращении в Киев вызвать ее в свой кабинет и поставить ультиматум: либо та пересматривает свои принципы — либо увольняется из КБ.

Неожиданно для директрисы и еще более для себя самой Катя взяла с Наталкиного стола лист бумаги и Наталкиной же ручкой написала заявление об уходе.

И все же никак нельзя сказать, что "акция" Дины Львовны не имела последствий.

Дело в том, что в один из свободных дней Кате удалось побывать в Эрмитаже. Там, в зале голландской живописи, произошло незначительное, на первый взгляд, событие. Катю остановил сухощавый блондин с обаятельными усами и пугающе прямым взглядом. Он спросил, не из Киева ли Катя, и объяснил, что видел ее когда-то на Крещатике из окна троллейбуса.

— Я тогда еще сказал ему, — небрежно кивнул блондин в сторону своего товарища, стоящего сзади: "Смотри, какая ослепительная рыжуха с этюдником! И хромает, как королева!" Ты помнишь, летом?

Приятель помялся, не то чтобы неуверенно — скорее смущенно, слегка неодобрительно.

— Вы где учитесь? — продолжал незнакомец.

— Нигде, — отвечала Катя. — Я регулярно заваливаю экзамены на скульптурный факультет.

— На скульптурный? — поморщился он. — И хорошо, что заваливаете! Не женское это дело — скульптура! И вообще, с вашим здоровьем надо поступать на графический, в крайнем случае — на живописный... Ну ладно. Сейчас я вас отпускаю. Но вы даете мне свой телефон. Я напишу ваш портрет, а там видно будет. — Он протянул Кате записную книжку и ручку. — Только смотрите, не подсуньте мне телефон какого-нибудь кинотеатра!

Странно, но Катя, которая именно так и поступала в подобных случаях, на этот раз честно проставила цифру за цифрой.

Оставшись в одиночестве, Катя вздохнула с облегчением. Что-то опасное почудилось ей в этом человеке, в его слишком светлых глазах, в манере речи, небрежной и нисколько не шутливой. И не только ей. Старушка-смотрительница, наблюдавшая эту сцену,

поспешила к Кате из своего уголка и шепотом посоветовала не связываться с таким "не внушающим доверия человеком".

В Киеве на вокзале отец, который встречал Катю, сообщил, что накануне у них изменили номер телефона. "Ну вот, все и решилось, — подумала Катя. — И нечего было пугаться..."

И однако... И однако уже через полгода Катя была женой этого человека. Дина Львовна, приглашенная на свадьбу, подарила молодым шерстяной плед.

Об этом событии Дина Львовна с деланным равнодушием, как бы между прочим, поведала сначала Наталке, затем Анне Даниловне. Наталка всем своим видом показала, что ей это глубоко безразлично. Анна Даниловна, кратко кивнув Дине Львовне, тут же стала рассказывать кому-то, оказавшемуся рядом, о том, что Катя вышла замуж за Вербицкого, очень талантливого живописца, но человека своевольного и даже деспотичного. Что Вербицкий, несомненно, подавит Катину индивидуальность. Причем особенно грустно то, что он считает блажью Катину увлечение игрушкой...

Короче, снова получилось, что Анне Даниловне известно больше, чем Дине Львовне.

Напрасно Дина Львовна расстроилась из-за такой мелочи, напрасно ревновала. После описанной поездки в Ленинград Анна Даниловна ни разу не виделась с Катей. Все эти подробности дошли до нее через общих знакомых.

Что же касается Дины Львовны, то и она виделась с Катей крайне редко — только если заставляла ее у родителей. Она так боялась Катиного странного мужа, что даже по телефону не решалась ей позвонить просто так, чтобы поболтать. Все ждала какого-нибудь удачного, основательного повода.

Таким поводом оказалась смерть Натальи Тарасовны.

— Алло! Катя? Катя... Возьми себя в руки... —

сказала Дина Львовна патетически, с искренней дрожью в голосе. — Нас постигло большое несчастье... Четырнадцатого числа, в воскресенье скоропостижно скончалась Наталья Тарасовна...

Затем голос Дины Львовны несколько окреп и приобрел укоризненную интонацию.

— А чего же можно было ждать, если человек с удаленной почкой и гипертонией хлещет стаканами кофе с коньяком?! И не соблюдает никакой диеты...

И как-то так получалось у Дины Львовны, что люди умирают исключительно от невоздержанности и несоблюдения диеты. То есть за себя Дина Львовна как бы могла быть спокойна, поскольку питается правильно и коньяка не пьет.

— ...Она поехала на выходные в свой загородный особняк, жарилась целый день на солнце, а потом нагнулась, чтобы что-то сорвать — и... Только успела сказать, что написала завещание на Петю. Это сельский парнишка-сирота, который помогал ей ухаживать за садом и присматривал за домом. Вот так! Копила, копила, а все досталось случайному человеку! Но я за него рада! Бедный мальчик получил дом, и деньги, и все барахло, которое у нее было в городской квартире. Говорят, там одного хрусталя оказалось полгрузовика! Подумать только! Никто не мог ожидать от нее такого благородства!

Впрочем, по тому, как были произнесены слова "парнишка-сирота", чувствовалось, что в Наталкином благородстве Дина Львовна сомневается.

Следующий повод подвернулся довольно скоро. Умерла Анна Даниловна. И тут уж Дина Львовна почти не скрывала своего злорадства. То есть начала она так же: "возьми себя в руки... папиросы... коньяк..." и все такое. С искренним сочувствием поговорила о том, что бедная Анна Даниловна промучилась почти три месяца и что пресловутые ее друзья смотрели за ней, как за родной матерью — но с этого места Дину Львовну понесло...

— Конечно! Они знали, что не останутся в накладе. Она объяснила им, что должен взять себе каждый из них. Поделила все поровну, чтобы никого не обидеть. А самые ценные вещи они должны были сдать в музей. И вот они открывают эти ее шкафы и ящики — и обнаруживают, что кто-то из них уже успел все самое ценное вынести из дому. Естественно, они все перессорились. Все подозревали друг друга. Еле собрали деньги, чтобы ее похоронить. Вот так бывает с теми, кто ведет легкомысленный образ жизни и водится с кем попало...

Но и Дина Львовна умерла, несмотря на здоровый и правильный образ жизни.

Кате позвонила Милочка, бывшая секретарша Совета по играм и игрушкам, и сообщила, что Дина Львовна лежит с инсультом в больнице. Что люди, которым она авансом раздала все свои простыни и тарелки, посчитали их расплатой за мелкие текущие одолжения и теперь бросили ее на произвол судьбы. "Пойдем со мной, Катенька! Мне сказали, что нужны тряпки, поильник, ну и витамины там..."

Когда на следующее утро они вошли в палату Дины Львовны, оказалось, что поильник уже кто-то принес, а тряпок и апельсинов имеется больше, чем надо. Соседки по палате рассказали, что к Дине Львовне ходят какие-то люди, что уход в отделении сносный и беременной Кате незачем себя утруждать. "Все равно она никого не узнаёт".

Большое, неподвижное лицо Дины Львовны лежало, обрамленное пышной сединой, будто плавало среди белоснежной пены...

Катя выжала сок из апельсина и кое-как напоила Дину Львовну. Секретарша сходила к умывальнику, вымыла скопившуюся на тумбочке посуду. Периодически она пыталась докричаться до Дины Львовны.

— Дина Львовна, вы узнаете меня? Я Мила! Мила Ткаченко! Мы с вами в кабинете игрушки работали! Кивните, если понимаете! Или глаза прикройте!

— Оставь, — попросила Катя. — Ты же видишь, она не реагирует.

— Ну, не скажите, — вмешалась в разговор пожилая женщина, привычно морщась и касаясь пальцами лба, повязанного шерстяной косынкой. — Тут ходит к ней мужчина, интересный такой. На грузина немножко похож.

Больные в палате оживились, заулыбались.

— А, это Павлов! — догадалась Милочка. — Василий Семенович!

— Точно, Василий Семенович, — подтвердила женщина.

Она подошла к Дине Львовне, склонилась над ней и с неохотой, будто вынужденная в сотый раз показывать надоевший фокус, сказала:

— Вон до вас тот мужчина пришел, красивый, с усами, Василий Семенович!

Губы Дины Львовны, дрогнув, блаженно растянулись.

— Кто он вам, — продолжала женщина, — брат? Племянник? Знакомый? Любовник?

Дина Львовна вдруг достаточно заметно кивнула.

— Видите, — сказала женщина и направилась к своей кровати. В палате привычно зихихикали. — Вот вы сами попробуйте.

— Дина Львовна! — позвала Милочка. — Это что, правда, что Василий Семенович — ваш любовник?

Дина Львовна снова кивнула, хотя и менее явно.

— Кто это? — спросила расстроенная Катя.

— Да Бог с тобой, — отмахнулась Мила. — Инспектор из нашего министерства. Видно, ему местком поручил. Молодой мужик, ему еще и пятидесяти нет!

— Ну и что? — снова вмешалась та, в косынке. — Вы посмотрите на бабу: она и сейчас вон какая аппетитная!

И снова в палате заржали.

Василия Семеновича Катя увидела на похоронах. У него было очень хорошее лицо, узкое, с чуть остро-

ватыми чертами, неотразимыми для женщин, и спокойным взглядом человека, равнодушного к своей привлекательности.

День был снежный и яркий. Василий Семенович смотрел куда-то вдаль, поверх голов, и щурился. Кате казалось, что в этом прищуре скрывается досада и осуждение. Несомненно, он слышал о больничном аттракционе. Как и большинство присутствующих. Это было ясно из мелькавших то там, то сям неуместных судорожных улыбок, тщательно прикрываемых перчатками и рукавицами. Желая подавить в себе чувство вины, люди говорили особенно пышно и возвышенно. О том, что Дина Львовна была прирожденным педагогом. О ее повышенном чувстве долга и гражданской ответственности. О том, как она всю жизнь помогала людям. Вспомнили даже фонари на Крещатике. И как она когда-то играла в четыре руки с Перельманом. Договорились до того, что она исполняла Шопена на профессиональном уровне...

Было видно, что Василию Семеновичу слушать эти неумеренные похвалы скучно, что самому ему вовсе не хочется говорить. Но он все-таки сказал несколько слов, суховато и не очень складно — о том, как Дина Львовна в начале войны одна вывела из занятого немцами городка детский дом, в общей неразберихе брошенный на произвол судьбы. Сорок восемь умственно отсталых детей. Как она перебиралась с ними из села в село и в конце концов довезла их до Уфы. И что в каком-то смысле ее можно сравнить с Корчаком.

Короткий, резкий ветер дул Василию Семеновичу в лицо, красиво встрепывал начинающие сесть волосы.

Милочка, стоящая рядом с Катей, заплакала.

— Вот ведь, — всхлипывала она, — столько лет проработали рядом, а я и понятия не имела, что она совершила такой подвиг! Да, уходит наша старая гвардия... Вот и Анны Даниловны уже нет, и Натальи Тарасовны...

— И Антонова умерла... — добавила за спиной у Кати какая-то женщина.

— Да что вы говорите?! Когда? — тихонько вскрикнула другая.

— Перед самым Новым годом... У нее...

Катя не стала прислушиваться. Она не знала, что это фамилия Юлии Юрьевны.

Апрель 2000



Михаил АЙЗЕНБЕРГ

БЛИЖНИЕ ПЛАНЫ

Все общим светом затянулось,
и небо в толще меловой
как будто вместе покачнулось
одной провальной синевой.

Оно повернуто в наплывах
на осязающий предел,
где только веток торопливых
подвижный обод не задел.

1

А темнота едва блуждает.
Слабеет облачный развод.
Он растворяет, осаждаст
края невидимых темнот.

И блеск белей, песок белее,
 один сходящийся пробел,
 и небо ближе, тяжелее,
 чем этот проступивший мел

2

Все с каждым днем видней и резче,
 и этот оголтелый свет,
 румяный, розовый, зловещий,
 сходящий пятнами на нет,
 как обморок одним ударом
 тьму поднимает, свет крадет...
 Так эта осень не пройдет.
 Такая не проходит даром.

У одичанья есть
 завидный опыт басен, —
 как басенная спесь
 насмешлив и опасен.

Уже идет за ним
 настойчивость припадка
 и радостной возни
 привязчивая хватка.

Теперь я слышу в нем
 срывающийся лепет.
 Неистовый подъем
 и нас еще зацепит,

и в шумные дома
 переберется чутко
 не вольная чума,
 а воющая чумка.

1

Какой-то зуд по февралю,
 он скоро опухолью скажется.
 И снег, раздувшийся, как флюс,
 и набегающая кашлица
 свои края переползут,
 и по наперстку лед прокиснет.
 Не оттепелью выйдет зуд,
 а только синяки оттиснет.

2

А свет, обложенный зимой,
 ведет прозрачные зигзаги, —
 ход отраженья не прямой,
 игра пересеченной влаги.

От точки к точке целый день
 искрят зеркальные облатки.
 Скользит обманчивая темь —
 живые пальцев отпечатки.

Прошьет ненадежными скрепами
 последнюю дюжину лет,
 и школьный товарищ затребует
 тебя на семейный обед.

А там, узнавая растерянно,
 что ты «молодцом, молодцом»,
 сидишь между тещей и деверем
 и наедине с холодцом.

Забьты, почти обезличены,
 но лица как будто тесны.
 А новые знаки различия
 не стоят своей новизны.

Миражными киловаттами
смеркается как всегда
надежно аляповатая,
насиженная беда...

А юность! По свежему дерну
идет, далека и близка,
в любую распахнута сторону
ее земляная тоска.

И рыхлое зреньё, и очередь,
и пиво, и горький дымок.
И тот павильон заколоченный,
которому кончился срок.

Дом, открытый с трех сторон.
Комната передвижная
покатилась, как вагон,
а дорога окружная.

Откачнемся заодно
с разговором об отъезде
от пейзажа за окном,
маневрируя на месте.

Высота, подайся вниз.
Наше время расколосось.
Поплотнее запахнись,
если сердце только полость.

Нерешительно пока
утаенные коленца
прикасаются к щекам,
как чужое полотенце.

Как из тинистых болот
тянется: не троньте, паныч!
Ожиданье у ворот
всех собак спускает на ночь,

И себе ли на уме
проходящее напрасно?
Жизни выжатой взамен
будет масляное масло.

Как заразителен застой,
как в ширину раздался.
Высасывает пустотой
тебя — и ты остался?

Уже недалеко лежит
преемственность чужая.
Она насильно разрешит —
разрушит, разрешая.

Но ежедневные тиски
вжимают в оболочку
переместившейся тоски
стремительную точку.

И та втянула за собой,
и пылью полетела,
и стала меньше, чем любой
предел, — и нет предела.

Но я предел переживу,
но, явь перекрывая,
ты оторвешься наяву —
ты, мнимая, живая.

А я своим блуждающим недугам
теперь не меньше верю, чем словам,
когда они плетутся друг за другом, —
всегда спиной повернутые к вам.

За чередой далеких предпосылок
(одна другую просит: подвези!)
мне самый дальний видится затылок
из пересыльно-следственной связи.

Ему не так тесна одноколейка
и кое-что случается видать.
И что там — душегубка? душегрейка? —
единственный, кому рукой подать.

Вот видишь — каждый о своем.
Ведь каждый о своей занозе.
И мы не то, чтобы вдвоем, —
ты сам с собою на относе.

...Да, на сегодня дело швах.
Куда деваться от поблажки...
И скука встанет в головах,
за нас читая по бумажке.

Ворвется паузой сплошной
или слова нагонит скопом.
Под ненасытной тишиной
мой слух подаренный закопан.

Он похоронен — я живу.
Он вырождается под спудом
в какую-то разрыв-траву,
которой я с другими спутан.

Мы в чулане, где наши игрушки
кучей свалены в беспорядке, —
развалились тряпичные тушки,
целлулоидные облатки.

На просвет, заштрихованный редко,
там наложена, как гравировка,
паутины прозрачная клетка
или памяти миллиметровка.

Или серую пыль заматают,
серебрят безупречные нити.
Только слепнет она, выцветает.
Отбелите ее, зачерните!

Моросят почерневшие тени.
Теневая качается зыбка.
И в пробелы прямых наблюдений
черновая вглубь улыбка

Если водка — последняя крыша,
то ее небывалый глоток
даже нам, как раздолье, запишется
(и до края заполнит квиток).

Оживляет мое воскресенье
вместе с ярмарками невест,
но расцветка почти бумазейная
все равно их до вечера съест.

И пока в магазинные дурни
задвигают меня до утра,
я спешу обменяться фигурами.
Ах, какая начнется игра!

Вот обнимутся смех и спасенье
и, как черти в одном колесе,
понесутся на всех и за всеми
и назад не вернуться, как все.

А я? Уже пятнадцать лет
стою у жизни за спиной.
Ищу у воздуха ответ —
под невесомой пеленой,

в дыму, при запертых дверях
как бы читаю по слогам
на исчезающих кудрях,
по их китайским завиткам.

Плутаю с облаком седым,
тоску, бессонницу и дым
в одну косицу заплетая.
Не понимаю: что? куда я?

ОБОЗ

Всякий по-своему чем-то хорош:
тусклые рыльца бессменных калош;
сверху, подвижная, как поплавок,
кепка ныряет на каждый кивок.
И колымага, где спят на запятках
острые боли в обеих лопатках,
шаг не проедет, как что-то обломится, —
кто-то, увидите, в пояс поклонится,
не замечая, что нет в седоке
линии сердца на правой руке.
Значит, попутно ночуют в повозке
Пушкина сказки и Мышкина слезки.
В ней и отправимся издалека.
Издалека — добывать языка

Грязное дыхание весны.
На стекле кривая полоса.
От сырой приютской белизны
клонит в сон, слипаются глаза.

Оседая, тающий намет
грудами чернеет впереди.
Остальное — черточка, пунктир,
путевого облака полет.

КРАТОВО

Оргалит сыроват. Через два этажа
в шумный лифт собираются шорохи дома.
Я дышу через силу, неловко дышать,
до того здесь любое дыханье знакомо.

Так открыто доходят чужие шумы,
что обманутый слух замечает ловушки.
Это спящая речь, разговоры немых
через стенку семейной теплушки.

Шаткий лес давно исхожен.
Листья, иглы — все похоже
на подмокшие обрезки,
на прогнившие опилки...
Как-то грустно, если не с кем
по старинке, по уставу —
скоро осень —

дай достану,
там немного есть в бутылке

* * *

Ветхие страхи, я с ними знаком.
Я б не посмел появиться открыто,
только тайком, как ненастье — ползком,
или как дождь набегает в корыто.

Я не наемник — поденщик судьбы.
Сколько ж продлится такая поденщина,
чтобы меня рассчитать и забыть,
не объявив. что работа закончена.

Вижу, как время ложится пластом.
Ровная даль открывается с вышки —
полупонятный рисунок для вышивки
слева направо болгарским крестом.

Только уложишь — подыметесь зверем,
не доверяя минувшему дню.
Он не исправен, а я суеверен.
Вот отчего и надежды гоню.

Вдруг, излечившись от водобоязни,
схватишь холеру в уютной воде.
Что ж, понукать издыхающий праздник?
Или свалиться неведомо где?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Я не с теми, принявшими слепо
этот климат с розами ветров
за изделие местных столяров,
шарики пускающих на небо.

Целый край, положенный на слом,
полоса отвода и отлова, —
посредине девушка с веслом.

И еще чтоб за таким столом
не кормили баснями Крылова!



Евгений БАЧУРИН

Я — СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

ПОЖАРНЫЙ РОК

Огнеопасным стало зарево зари
На постсоветском перепаханном пространстве.
Гори, Останкинская башенка, гори.
Россия в трансе.

Ни сна, ни отдыха измученной душе.
Ложатся рядышком снаряды — справа, слева.
Взрыв под землей, взрыв под водой, и вот уже
Седьмое небо.

Ведь не электрик же концы замкнуть рискнул
Наживы для или эксперимента ради.
Так не поджечь ли нам красавицу Москву,
Скажи-ка, дядя!

Такого даже не было в СССР.

Включаю ящик — побледнели лица,
Ни ОРТ, ни НТВ, ни РТР,
Одна «Столица».

А в дальнем, ближнем зарубежье, все кругом
Сочувствуют, но тут же умывают руки.
«Чечня!» — кричат, «Чечня пришла с огнем!» —
Смеются суки.

И как всегда опять безмолвствует народ.
Но олигархи чтят народа интересы,
Огонь и воду перешагивая вброд
На мерседесах.

Качайте нефть, воруйте никель и титан,
Откройте краны все, а завтра вскроем вены.
В который раз горим, полундра, капитан,
Врубай сирены!

СКАЗКА-БЫЛЬ

За горой, за тучей,
На краю земли
Жил Несчастный случай
От людей вдали.
Долго не являлся,
Видно, занят был,
А как оклемался —
В гости привалил.
Принимали меры,
Чтоб его пресечь,
Милиционеры,
Пресса, «Щит и меч».
И пошли напасти
От весны к зиме:

я — СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Беспредел во власти
И развал в семье.
То хотели с лету
Все начать с нуля,
То перевороты,
То обвал рубля,
То война, то кризис,
То опять война,
Прямо — апокалипсис,
Полная хана.
А кругом — гулянье,
Ярмарки, разгул.
Пляшет с тетей Маней
Дядя Вельзевул,
Шоу, хитпарады,
Колокольный звон.
Посадил копейку —
Вырос миллион.
И тогда решился
Славный президент
Избежать импичмента,
Разрядить момент.
Чтоб народ не мучился,
Мессию послать,
И Счастливый случай
Срочно в гости звать.
Собрали налоги,
Сели в звездолет,
Волка кормят ноги,
А вождей — народ.
Долга ли, коротка
Сказка наша быль,
Хорошеет водка,
Да мала бутылка.
Призвездились поздно,
Утомленный вид.
Этот случай, Звездный,

Им и говорит:
 «Рад бы вам помочь я,
 Да ведь ваш дурдом
 Веселится ночью
 Чтобы плакать днем.
 Молотом там пашут
 И серпом куют.
 Дураков не учат,
 А воров не бьют.
 Я — Счастливый случай,
 Только вот беда:
 Сделаешь, как лучше —
 Выйдет как всегда».

НЕЗДЕШНИЙ САД

На краю ночного сада,
 Как над пропастью во ржи,
 Светят гроздья винограда
 И созвездий чертежи.
 В том саду, как в колыбели,
 Под покровом тишины,
 Наши ночи пролетели,
 Наши дни завершены.
 Все казалось там нездешним,
 Как в кино глухонемом,
 И тропинки, и черешни,
 И задумавшийся дом.
 Пережив банальность ритма
 На пределе красоты,
 Расцвели маргаритки
 Там, где проходила ты.
 Сад шумел своей листвою,
 Волновался, глядя вслед,
 Провожая нас с тобою.
 Где же сад?
 А сада нет.

И случайная прогулка
 Затянулась на века.
 Видишь, ветерок подул как
 И как высохла река.
 Но мое воображенье
 Сад нездешний оживит,
 Даже если жизнь — мгновенье,
 И, как метеор, сгорит.

Далекий гул ушедших дней,
 Сны, которым век не сбыться,
 А с фотографий смотрят лица
 Домов, деревьев и людей.
 Ест щи непомнящий Иван.
 Кавказский пленник едет в джипе
 И только что отснятый в клипе
 Рок-музыкант, и наркоман
 С концерта во Владикавказе.
 Вот Витухновская в экстазе
 Читает новые стихи
 В гостиной Дома журналиста.
 По радио играет Листа
 Какой-то гений от сохи.
 А по уступам Крымских гор
 Гуляют ветреные козы.
 Жара. И метеопрогнозы
 Неутешительны пока.
 Так нужен дождь,
 Но облака над морем проплывают
 Дороги все ведут из Рима.
 Соседка банку молока
 Несет. Закат готовит вечер.
 Идет неспешный разговор,
 И тополя стоят, как свечи,
 И смотрят на меня в упор

НАТАШЕ

Голова твоя детячья — тело взрослое,
 И руками машешь ты, как лодка веслами.
 И колышешь белой грудью под прозрачной блузкой,
 И босой ступаешь ножкой, как под музыку.
 Так что телом пользуйся, жизни радуйся.
 Человек под молодостью, как под градусом.
 Вот как станете зрелыми женами,
 Так начнется похмелье тяжелое,
 Наиграетесь в прачки-куколки, дочки-матери,
 Там и в бабушки дорога белой скатертью.
 Хоть и старая ты станешь, душой — юная,
 Как гитара моя семиструнная.

Да будет ночь спокойна и тиха.
 Зажглись огни и звезды над домами,
 От за день совершенного греха
 Очистим душу праведными снами.
 Мы стиснутые зубы разомкнем,
 Рога и когти спрячем под одеяло.
 Не так уж долго на земле живем,
 Чтоб обвинять друг друга в чем попало.
 Шевелит парк остатками листвы,
 И стая птиц над ним забормотала.
 Им надоели купола Москвы,
 Им снятся кипарисы Гибралтара.
 А нам с тобою некуда лететь,
 Мы засыпаем с Родиной в обнимку,
 Чтоб душу наболевшую согреть,
 А утром укреплять законы рынка.

Нет, не согласен с миром я,
 Где сердце стонет век от века,
 Где палец давит муравья,
 А государство — человека.

ЧЕРЕМУШКИ — БЛЮЗ

От Профсоюзной до Черемушек
 Не надо ехать на метро,
 А лучше не жалея ног
 Вечерней улицей пройтись.
 Лежат каштановые тени
 От придорожных тополей,
 Под ними много запоздалых
 И неприкаянных людей.
 Не видно лиц, лишь силуэты,
 Стук банок, смех и голоса,
 Вот два бомжа или поэта
 Последний делят огурец.

А у обочины путана
 Остановила мерседес,
 Героя своего романа

Она сейчас себе найдет.
 Куст превращается в корабль,
 Скамейка в видеосалон,
 А между ними, чуть качаясь,
 Стоит задумавшийся слон.

Давай достойно встретим сумрак,
 Не как непрошеного гостя
 Или явление природы,
 А просто как необходимость
 Всеугасающего света,
 Всенадвигающейся ночи.
 И нам понадобится вечность,
 Чтоб звезды все пересчитать

То комедии, то драмы,
 То сомнительная власть,
 Под окном воркуют мамы,
 Над колясками склонясь,
 Вишня обряжает ветки
 В изумруд и жемчуга,
 Малолетка сигарету
 Вынул из-за обшлага.
 Поливальная машина
 Освежает тротуар,
 Дарит женщине мужчина
 Почему-то детский шар.
 Может быть, влюбленной паре
 Трудно по земле ходить,
 Ну, а на воздушном шаре
 Можно, как во сне, парить.
 Нынче праздник — воскресенье,
 Вербы ручкой машут мне,
 Рядом с вербами Есенин,
 Он на розовом коне,
 Заболоцкий лик к народу
 Повернул и вдруг поник,
 Чтоб смеялась вся природа,

Умирая каждый миг.
 Я ж, проблемами обвешан,
 Приподнять себя хочу,
 Между вишен и черешен
 Веткой сломанной торчу,
 И на ней цветы когда-то
 Были, что ни говори,
 Арии певцов пернатых
 Не смолкали до зари.
 Хоровод водили девы
 Возле древа моего,
 Ах, ты, древо, мое древо,
 Что-то стало не того.
 Сколько скрылось за спиною
 Бельх зим и жарких лет,
 Буря мглою небо кроет,
 А весна смеется - нет!

МУСОРЩИК ИЗ РАЯ

Вы напрасно думаете,
 Что я сумасшедший.
 Просто ангел я бескрылый,
 На землю сошедший.
 Из небесной я обслуги,
 Мусорщик из рая.
 Сор из дома выношу я,
 Пыль веков стираю.
 Вот у Шуры лопнул шарик,
 А у Миши прыщик,
 Счастья раз, два и обчелся,
 А несчастий тыща.
 Прийти вовремя на помощь,
 То талант особый,
 Все нуждаются в поддержке,
 Даже участковый.

У кого ребенок болен,
 У кого собачка.
 Вытирайте, люди, ноги,
 Чтобы пол не пачкать.
 Вот закончу я уборку,
 Сразу станет чище,
 Счастья раз, два и обчелся,
 А несчастий тыща.
 Открывайте, люди, двери,
 Распахните окна,
 На пороге мерзнут звери,
 В небе птицы мокнут,
 Просят, чтобы им открыли,
 Я и открываю,
 Ангел с облака бескрылый,
 Мусорщик из рая.

В сумерках Пушкин сидит на садовой скамейке,
 Болтая с Татьяной.
 Таня то встанет, то рядышком сядет,
 То сзади тихонько зайдет.
 Вот и Онегин пришел со своим романтическим
 Ленским,
 Парнем лирическим из областных деревень,
 Затонувшим в стогах.
 Славное время над ними шумит
 Золотой царскосельской листвою.
 Бронзой мерцает сквозь мелкий, как сито,
 Осенний хронический дождь.
 Под руку с Ольгой по длинной аллее уходит,
 Прощаясь, Татьяна,
 Ленский раскланялся, только Онегин один
 Как всегда не спешит.
 В вист не играет и писем любовных он больше

Татьяне не пишет,
 Продал имение, стал по ночам на рояле сонаты
 играть.
 Ждали мы Пушкина нынешним вечером зимним,
 Но не пришел он.
 Дуэль назначалась на вторник, на пять пополудни,
 А сегодня — среда. И его уж, как видно, не будет.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Там, где синие реки текут подо мной,
 Размывая кисель берегов,
 И голодные птицы летят к берегам
 Хлорофилловых зерен искать,

Их догоняет мальчишеский крик,
 И задумался в лодке старик,
 — Столько рыбы водилось здесь в старину,
 А теперь не найдешь ни одну.

Вот Матрена несет бидон с молоком —
 В нем энергия листьев и трав.
 "Закругляюсь, жена, — говорит комбайнер, —
 Лишь не сжата полоска одна".

А по мертвой реке "Степан Разин" — буксир,
 "Емельян Пугачев" — сухогруз,
 Разгулялись вдвоем по просторам родным,
 Вспоминают Советский Союз.

Ну и жизнь, господа, ну и век, земляки,
 Электрический воздух звенит, —
 Это новые песни поют у реки,
 Солнце мутное встало в зенит.

И сдувает надежды с прокуренных ив
 Политический ветер страны.
 Автор смотрит на все это, руки скрестив,
 Только видно его со спины.



Евгений ЛЕСИН

ЗАПИСКИ ИЗ ПОХМЕЛЬЯ

Когда из мрака заблужденья
 Передо иной явилась ты,
 Как мимолетное виденье,
 Я понял: «Все. Кранты. Винты».
 Какие могут быть сомненья?
 Умом Россию не понять:
 Не продается вдохновенье,
 Но можно Родину продать.

ПРОТИВ НЕПРАВДЫ В ИСКУССТВЕ

Как по речке да по Сходне
 Плыли мы на лодке.
 Забубённые матросы,
 Юные красотки.
 От борта с веселым смехом

Отрывали доски.
 И бросали лихо в воду,
 Слушая их всплески.
 Только вдруг мы замечаем,
 Что от лодки в речке
 Почему-то не осталось
 Ни одной дощечки.
 Вот так, братцы, незадача!
 Огорчились все мы.
 Стали звать скорей на помощь
 Капитана Немо.
 Но увы — тот оказался
 Выдумкою скверной.
 Так мы все и потонули
 Из-за Жюль-Верна.
 Купил газету ежедневную,
 В ней прочитал заметку гневную
 О том, что в городе Калинин
 Никто не слышал о Чупринине.
 Зато все жительницы Киева
 Прекрасно знают Яндарбиева
 И влюблены в него, как дети.
 А он мечтает о балете.
 А у меня опять понос.
 Шахтеров жалко мне до слез.
 09.03.2000

СКУПЕРФИЛЬДУ

От нелюбви до нелюбви —
 Рукой подать и повернуться,
 Нащупать тело и проснуться.
 А там — хоть Господа зови.
 Да что там Бог, такой же Ельцин.
 И все, что было за душой:
 Обтяпать выгодное дельце
 И поднажиться хорошо.
 18.01.2000

УЗНАЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ, ПРИНИМАЮ

Я больной, больной старик.
 У меня болит кадык.
 Слепнет глаз, болит глазница,
 И немеет в горле крик.
 Скоро лопнет поясница
 И отвалится язык.
 Скоро я концы отдам.
 И того желаю вам.

22.02.2000.

Я пока еще не умер,
 Но уже всю болю.
 Вот и мой хваленый юмор
 Все чернее и чернее.
 Вот и девки все моложе —
 Те, что мучают в постели.
 И от их бесстыдной дрожи
 Пятна трупные на теле.
 Вот и пишется в итоге
 Только мат и некрологи.

18.03.2000

Пришла весенняя пора,
 А состояние все хуже:
 Все похмеляются с утра,
 А я опять иду на службу.
 Работать родине на благо —
 Словами заполнять бумагу.
 А ведь я тоже мог бы пить
 И все же родину любить!

27.03.2000

**ЛИМЕРИКИ О СОВРЕМЕННЫХ (И НЕ ОЧЕНЬ)
 РУССКИХ (И НЕ ОЧЕНЬ)
 ПИСАТЕЛЯХ (И НЕ ОЧЕНЬ)**

Однажды писатель Семенов
 Нашел целый ящик лимонов.
 Три дня он их ел.
 Лицом пожелтел.
 С тех пор он зовется Лимонов.

Поэт по фамилии Жданов
 Собрал для жены икебану:
 Бутылку «Пшеничной»,
 Бутылку «Столичной»
 И девять живых тараканов.

Однажды философ Дидро
 Нашел самогону ведро.
 Поил Даламбера, Руссо и Вольтера,
 Пока не иссякло ведро.

Однажды философ Вольтер
 Забрел в обезьяний вольер.
 И около часа
 Там корчил гримасы
 Известный философ Вольтер.

Беспечный художник Дега
 Любил казино и бега.
 Вино и актрис,
 А также стриптиз
 Любил почему-то Дега.

Любил почему-то Дега
 Коллегам наставить рога.
 Потом его били:
 Видать, не любили
 Коллеги проделки Дега.

Однажды к Дега на балете
 Пристали соседские дети.
 Кричали, что он Английский шпион.
 Дега был шокирован этим.

Однажды философ Спиноза
 Почувствовал в теле занозу.
 Три года он думал —
 Занозу найду, мол.
 Но умер от трихомоноза.

Однажды к Толстому в именье
 Младое пришло поколение.
 Устроили драку,
 Стреляли в собаку
 И чуть не спалили именье.

ДЕДУШКА И ДЕВУШКА

Выскочил от пьянства
 Красный прыщ на лбу...
 Пропадай дворянство,
 Проклинай судьбу!
 Корчится Расея
 И шипит, змея.
 Вместе с нею, блея,
 Корчуся и я.
 Но недолго боли
 Портить наш уют.
 Эх, широко поле!
 Эх, кого-то бьют!
 Едет пьяный Пушкин
 В форме казака.
 Он отнял игрушки,
 Гад, у паренька.
 Голова седая,
 Но зато в крови.
 Эх, прощай, родная,
 Мужа не зови...

11.05.2000.

П.Б.ГРОБОВУ, ГЕОДЕЗИСТУ

В электричке, сбросив вещи,
 Сверив наскоро маршрут,
 Полвагона пиво хлещет.
 Остальные водку пьют.
 Все орут, хохочут разом,
 Стены ходят ходуном.
 Только я сижу шлемазлом
 Со своим сухим вином...

22.04.2000.

Меня ты истязала на кровати
 Своим дородным телом два часа.
 Потом бесстыдно надевала платья
 И все пыталась заглянуть в глаза.
 Тебе на дверь я указал сурово,
 Швырнул ботинком, не сказал «пока»
 А что еще ты хочешь от больного,
 Измученного жизнью старика?

22.04.2000

ТРИ ПРЕЗИДЕНТА



Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

ТРИПТИХ О ПУТИНЕ

1. ПУТИН И ВЛАСТЬ

Власть ему досталась так же легко, как лисе сыр в басне Крылова. Правда, глупая ворона оказалась не так уж глупа: Ельцин, сходя со сцены, выторговал себе столько движимости и недвижимости, сколько не получал ни один добровольно оставивший трон монарх. Тут и самолеты, и вертолеты, и дачи, и земля.

Путин все это ему гарантировал, подписав указ, в котором, как в платежной ведомости, были проставлены все суммы. По условиям, поставленным Ельциным, он должен был сохранить и ельцинский двор. И уговор был такой: или ты нас оставишь на хлебных местах, или мы тебя не «раскрутим».

Раскрутили. Вся кремлевская рать, а заодно и губернаторы, сошлись на том, что Путин служит им, как бы служа отечеству.

Путин пришел к власти со спутанными руками, с толпой кукловодов за спиной и с сознанием, что эти цепи не так-то просто порвать. Россия устала от Ельцина, рассуждали создатели Путина, так пусть она теперь побудет под новичком, но грабить ее мы будем по-прежнему, ибо Путин — наш, и от этого ему никуда не деться. А свою чекистскую честность (если она была у него) пусть сдает в архив.

Но некоторые поступки Путина, едва он переселился в Кремль, дали понять, что он вовсе не пай-мальчик, а отчасти даже муж.

И тогда ему объявили войну.

Реформа вертикали власти вызвала злобное отторжение у губернаторов. Все они давно превратились в царьков, беспрепятственно правивших на своей территории. Институт губернаторства, как он был слеплен Ельциным, предусматривал неограниченную власть на местах и полный доступ к казенной кассе.

Путин решил поубавить их права, поставив над ними генерал-губернаторов. Впрочем, и эти люди были взяты из копилки Ельцина. Не тронул он и ельцинскую команду в правительстве. Там на ключевых постах остались посланцы «Семьи»

Но он все же покусился, если не на саму власть, то на деньги власти. А это пострашнее, чем потеря губернаторского кресла или членства в Совете Федерации.

Торможение усилий Путина началось с торможения в Чечне. Победный порыв первых месяцев захлебнулся. Праведный характер второй чеченской войны (освобождение Дагестана от захватчиков) иссяк уже к весне 2000-го года. Если прежде отцы и матери солдат, гибнущих **за правое дело**, оплакивая сыновей, все же **прощали** Путину, то с некоторого времени они перестали это делать. И глухой ропот стал накапливаться в народе.

Кому выгодна эта гангрена на теле России? Тем людям в Москве — и не только в Москве, — которые хотели бы притормозить Путина. И повязать его новой кровью.

Нельзя сомневаться в том, что губернаторы станут тормозить действия генерал-губернаторов, и эта скрытая война властей не принесет ничего хорошего. Более того, генерал-

губернаторский аппарат, весьма возможно, начнет срастаться с губернаторским, деля не только власть, но и доходы.

Другую перчатку Путину бросили «новые русские». И если пока молчат мелкие бандиты, то крупные (обладатели миллиардных сумм в долларовом исчислении) уже очнулись. Сильная власть для воров смерть и, как написал недавно один из них, «горбатиться на общак» они не намерены.

Признаться в том, что это война за деньги (за награбленное), никто не хочет. Стоит Путину хотя бы чуть-чуть покуситься на преступно приобретенную собственность, как ему тут же под нос подсовывают газету, где крупные заголовки гласят: Путин — деспот, гонитель свободы, могильщик прав человека.

Однако ему на долю выпала именно эта задача: поставить границы свободе, восторжествовавшей в последние годы в России. Не свободе идеальной, а свободе реальной. Свободе грабить и убивать, красть народное добро и растаскивать по кускам страну. По существу, эти годы стали триумфом свободы подполья — свободы с чертами мести и жажды реванша. Вчерашнее подполье вышло наверх и развязало себе руки, и населению это не принесло ничего, кроме новых бед. Поэтому оно поддержало Пугина.

Чего нельзя сказать об интеллигенции.

2. ПУТИН И КУЛЬТУРА

В июле 2000-го года в московском Доме кино прошел симпозиум, который назывался «Сильная власть: последствия для культуры». В вопросах, предложенных для обсуждения, сквозили два чувства: обида и страх. Страх перед гонениями со стороны власти и обида на власть, которая перестала с интеллигенцией советоваться. Советский интеллигент привык сидеть в каком-нибудь совете. Его хлебом не корми, дай только посуфлировать власти.

А страх — это в подкорке.

Меж тем Путин вовсе не вознамерился преследовать культуру. В одном из очередных интервью он назвал

среди своих любимых писателей Толстого, Достоевского и Набокова. Если двух первых он упомянул, чтоб потрафить традиционалистам, то Набоков припасен им для новаторов.

Если вспомнить, что любимым писателем Б.Ельцина был Петр Проскурин, то налицо прогресс.

Означают ли эти ответы Путина, что нас ждет расцвет «ста цветов»? Слова политика лишь слова, их надо просеивать сквозь сито сомнения. Но пресса как-то не заметила, что, будучи в Туркменистане, Путин скромно обронил: я горжусь тем, что удостоен этого звания в университете, где учился Андрей Дмитриевич Сахаров. Можно этому заявлению верить и не верить, но факт есть факт.

Сегодня в Путине видят олицетворение сильной власти и боятся ее. Ибо одно дело, наказание воров и взяточников, другое — диктат в литературе, кинематографе и театре. Кинематографисты уже получили горький урок — у них отобрали Госкино. Как ни возмущались они, как ни бастовали принародно, вышло по Путину: проглотил Госкино министр культуры Швыдкой.

А недавно он проглотил еще одного колосса — Большой театр. Художественный руководитель этого театра В.Васильев узнал о своей отставке из сообщения радио.

С интеллигенцией не посоветовались.

Впрочем, поддавшись ее давлению, Путин собрал в Кремле духовную элиту. Приготовился ее выслушать. А она стала клянчить тиражи, помещения, льготы, короче, дары и деяния **только для себя**.

Прагматик Путин махнул на нее рукой и отправился в гости к Солженицыну. Газеты иронизировали: бывший чекист встречается с бывшим узником ГУЛАГа. Но такой парадокс момента — бывший чекист находит больше понимания у бывшего диссидента, нежели у тех, кто скрывает свое чекистское прошлое.

Но разберемся в том, что такое сильная власть. Власть, которая бессильна, не может считаться властью. Еще Владимир Даль, определяя смысл слова

«власть», писал: власть — это «право, сила и воля над чем». Истинная власть сильна, но «сильная» не аналог эпитетов «зверская», «людоедская» и «злодейская». Есть власть сильная и есть власть зверская — она терзала Россию и ее культуру три четверти века. Отсюда страх перед повторением, страх перед реставрацией. И страх этот залог того, что власть сможет позволить себе вновь обрести образ зверя.

Путин не только признался в своем уважении к Сахарову, но в День Победы открыл мемориальную доску, где среди кавалеров Ордена Победы выбито и имя Сталина. Он начал свою речь, обращенную к выстроившимся на Красной площади ветеранам со слов, сказанных Сталиным в июле 1941 года: «Братья и сестры...»

Слишком прозрачное заимствование. Слишком велика амплитуда маятника: от Сахарова до Сталина.

Мы страшно идеологизированная страна. Когда иностранца спрашиваешь, в чем его духовность, он отвечает: в том, что я хорошо работаю. Духовность для него — честный труд, обеспечивающий, кстати, и сносную жизнь. **Религия жизни** — таков бог западного человека. **Религия идеала** — вот в какую сторону показывает стрелка компаса русской культуры. Для нас духовность нечто мистическое или, по крайней мере, мистифицированное.

Свернет ли Путин с этой дороги или поставит перед сознанием гражданина России исключительно материальную цель? Откажется ли он от всечеловечности, воспетой Достоевским, русской идеи? Похоже, он желал бы соединить западный расчет с русской мечтой.

В том же интервью, где он упомянул Достоевского и Толстого, Путин признался, что в детстве выучил наизусть сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Став «большим принцем», откажется ли он от главной идеи этой замечательной сказки — идеи любви?

Путин хочет навести в России порядок. Он говорит о диктатуре закона. Страх перед законом полезен (если нет страха перед Богом), страх перед людьми, олицетворяющими закон, грозит обществу и культуре оскоплением. Я не верю в возрождение соцреализма. Но я не

верю и в интеллектуальный потенциал окружения Путина. Путин и его окружение это не совсем одно, но все же пока одно.

Так что же нас ждет? Эпоха прогрессирующего упадка или время взлета талантов, мира между властью и культурой, ведущего к вершинам художественных достижений?

Ответ находится у Путина и у нас. Пока президент вручает ордена деятелям искусств. Говорит им: вы цвет общества. Но этот «цвет» мало чем отличается от самого общества. От того общества, которое сформировалось в эпоху распада. Пока культура обслуживает это общество, а отнюдь не поднимает его.

Возьмите конфликт с холдингом «Медиа-Мост». По видимости это расправа власти над независимыми СМИ. На деле — кризис постсоветского сознания жирующей интеллигенции, выдающей себя за заступника народа.

Я никогда не был поклонником власти, но тридцать лет, отделяющие настоящий момент от почти массового исхода интеллигенции на Запад, дает материал для печальных сопоставлений. Кто были диссиденты семидесятых годов? Нищие маргиналы, не имеющие за душой ни копейки. И пусть один из них был лауреат Нобелевской премии мира, а другой лауреат Нобелевской премии по литературе, их ссылали и арестовывали, а после ареста выкидывали из СССР.

Резкий контраст, когда смотришь, скажем, на господина Малашенко. Процветающий бизнесмен, вилла на испанском побережье, частный самолет. Свободный доступ в американский конгресс, в парламенты всех стран. В интерьере офиса «Медиа-Мост» мрамор, золото, гнутая мебель, пальмы под стеклянной крышей. И чуть ли не лебеди, плавающие в зеленовато-голубой воде.

Представить себе в таком интерьере Анатолия Марченко или А.Д.Сахарова я не могу. Недавно г-на Малашенко задержали в аэропорту. Задержали грубо, по хамски. Можно понять негодование человека, которого вынули из самолета и заставили час проторчать в зале ожидания. И все же это не повод для пророчества о гибели России. Г-н Малашенко по этому поводу сказал: «Они погубят страну».

И сослался на то, что однажды они уже ее погубили. Кого он имел в виду? Коммунистическую власть. Но не к ней ли принадлежал сам Малашенко, трудясь в аппарате ЦК?

Находясь там, он и выращивал кадры, которые теперь «губят страну». Получается, что страна гибла при Малашенко номер один и гибнет при Малашенко номер два. А тот процветает в обоих случаях.

А тут еще г-н Березовский объявляет, что слагает с себя депутатские полномочия, ибо «не желает участвовать в развале страны». Десять лет он успешно в этом участвовал, наживая на развале барыши, и вдруг решил «завязать».

Может, Путин и станет тираном, не знаю, но то, что сытая московская «элита» не сделается совестью нации, ясно как Божий день. Вспомним В.Буковского — тюрьмы, пересылки, обмен на Луиса Корвалана. Вспомним тысячи других — психушки, лагеря, отверженность и нужда.

Неимущего Марченко жалели, неимущего Буковского уважали. Перед бессребреником Сахаровым преклонялись. Но кто станет убиваться по денежному мешку?

Наверное, поэтому ни у Гусинского, ни у Березовского нет поддержки, их «плачевная участь» не волнует людей. Как пишет «Независимая газета» (13.07.2000), «29 процентов граждан квалифицировало арест Гусинского как обычное уголовное дело», а 40 процентов вообще не нашли, что сказать. При этом 45 процентов никакой угрозы свободе слова здесь не увидели.

Есть еще одно отличие старых диссидентов от Малашенко и К⁰. Первые нашли в себе силы признать, что их желание немедленно поменять режим в России привело не только к обвалу коммунизма (хотя в конфликте «Медиа-Мост» — государство участвуют с обеих сторон бывшие члены КПСС), но и к обвалу страны. Многие из них поняли, что в случившемся есть и их вина.

У новых диссидентов никаких сомнений относительно себя нет. Они всегда правы, и это сознание своей правоты трансформировалось в непомерную гордыню. Посмотрите, как Евгений Киселев, в прошлом, как ходят слухи, преподаватель в школе КГБ, отлучает от истины каждого несогласного с ним. Бедняга тут же получает

гневную отповедь или лишается слова. Ни о какой свободе высказывания, когда речь заходит о каких-то темных пятнах на солнце нашей демократии, нельзя и думать.

Это и есть кризис новейшей российской оппозиции (оппозиции Путину), не видящей никого на стороне истины, кроме себя,

«Гибель коммунизма, — писал в 1926 году Г.Федотов, — можно думать, не только не остановит, но еще подвинет... рост буржуазного сознания. Интеллигентские «идеи» находят свою настоящую ... почву в **НОВОМ МЕЩАНСТВЕ**».

Слово найдено. Нет более точного определения для диссидентства наших дней. Новое мещанство. Если диссидентов семидесятых толкал на их поступки **романтизм, то упор на удобства**,* на деньги, на откровенное обогащение выдает новых диссидентов с головой. У них нет опоры в народе. Они не способны генерировать идеи, выходящие за пределы материальности.

Но и Путин, и его команда не выглядят в этом противостоянии идеально.

3. ПУТИН И ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «КУРСК»

Гибель подводной лодки «Курск» потрясла всех в России. Она почувствовала себя вдруг одною семьей. Это была первая основополагающая проверка Путина на прочность, на право если и не быть спасителем отечества, то, по крайней мере, его слугой.

В эту минуту Путин мог стать ее утешителем и тем, кто примет большую часть горя на себя. Так всегда случается со старшим в семье.

Этого не произошло. Сработала старая заповедь: все, что касается несчастий, провалов, вины государства, подлежит умолчанию. Власть потряс кризис — кризис советского поведения и советской лжи. Как ни разлагающи были годы ельцинского правления, что-то в народе поменялось к лучшему. Привыкший в ответ на злое

*Так выделено в оригинале — Д. Т.

молчание власти безмолствовать, он показал, что не намерен больше этого делать.

Путину было высказано в лицо все, что он заслужил. Ибо официальная ложь прикрывалась его именем. И потому была его первая большая ложь.

Это был урок для Путина и для народа. Сам ли он загнал себя в этот угол или ему помогли его советники, не имеет значения. Никто в тот момент не отделил президента от его команды.

Путин пытается порвать пелену лжи — отправляется в Видяево на растерзание отцам и женам моряков. И выдерживает мучительный (с проклятиями и слезами) шестичасовой разговор с ними. Но не успевает он завершить этот акт покаяния, как в дело вступает машина подкупа: родственников экипажа подлодки «Курск» засыпают подарками, деньгами, квартирами. Власть откупается от них.

Но разве можно откупиться от горя? Тем более, что оно ежечасно приходит в дома — и приходит отовсюду. Не только со стороны Баренцева моря, а и из Чечни, с границы Таджикистана, с мест аварий и заказных убийств. В случае с «Курском» сделалось видно, что негодование, накопившееся в обществе, уже не способно ограничиться стуком шахтерских касок по мостовой или перегораживанием железнодорожных путей. Оно ставит власть (и в том числе, власть Путина) в рискованное положение временщика, хотя они, по их убеждению, пришли в Россию надолго.

Реакция народа на вранье с «Курском» показала, что эпоха экспериментов, в которые замешаны то диктатура, то «демократия», исчерпала себя. Она выдохлась, как выдохнулись и ресурсы лжи. Путин, вступая на пост президента, провозгласил прозрачность своей политики. Но эта прозрачность тут же замутилась и потекла, как грязное стекло.

Когда человека сажают в тюрьму, потом через три дня отпускают, мотивируя это тем, что факты о его мошенничестве не подтвердились (случай с Гусинским), а вскоре оказывается, что это не что иное, как сделка,

обман, ибо человек получает свободу в обмен на свое имущество, то с прозрачностью здесь обстоит плохо.

Путину призвали на царство в трудное время. Его именно призвали, и не Ельцин со спецслужбами, а, если хотите, высшие силы. Соответствовать задаче, поставленной перед ним, Путину тяжело. У него ограниченный опыт. И к тому же он наполовину советский человек.

В ближайшие годы ему придется иметь дело с сопротивляющимся аппаратом, с собственной администрацией, где сидят стоглазые агенты Ельцина, с привыкшей получать, а не давать интеллигенцией, а главное, с народом, не верящим уже ни во что общее и спасающимся поодиночке, и, конечно, ему придется иметь дело (и это тоже главное) с самим собой.

Встать над собой, над советским в себе, труднее, чем встать над другими. Но история не предлагает Путину иного выбора.

Время покажет, победят ли названные выше силы нового Президента России, или он свяжет концы развязавшегося клубка и соберет нацию.

И тогда станет ясно, кончилась ли на самом деле эра Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, или история ошиблась и на этот раз.



Леонид ГОМБЕРГ

ПРАГМАТИЗМ И ИЛЛЮЗИИ

Феномен Путина в контексте российской жизни

СОН РАЗУМА

Человек, занимающий ныне пост президента России, Владимир Путин, был приведен к власти путем целенаправленных действий «группы лиц» из так называемой «семьи Ельцина», команды предпринимателей, политтехнологов и журналистов, — тех, кто хотел обеспечить преемственность ельцинского правления, во всяком случае, плавный переход от олигархического псевдолиберализма к псевдолиберализму автократическому.

Выплывшая из недр кремлевских кабинетов доктрина «укрепления вертикали власти» призвана обосновать эти действия теоретически. Идеологическое прикрытие должны были обеспечить похожие на вопли и стоны голоса определенной части общества о необходимости «твердой руки» — простертой над народом длани спасителя отече-

ства. Венцом таких действий стала беспрецедентная пиар-акция, в результате которой мало кому известный офицер спецслужб, сделавший головокружительную карьеру сперва в Санкт-Петербурге, а затем и в Москве, оказался на вершине российской властной пирамиды.

Впрочем, это всего лишь схема, и как всякая схема, она очень мало помогает понять суть вопроса: почему именно он, Путин, оказался «избранником судьбы»? Какие такие свойства личности этого внешне неяркого, «застегнутого» человека позволили ему стать воплощением народных чаяний? И даже сегодня после всех катаклизмов и катастроф августа 2000-го года все еще сохранять приличный рейтинг народного доверия?

Отвечая на этот вопрос, следует помнить, что, уже начиная с 1985 года все действия власти, сперва поддержанные общественным мнением и утвержденные на самом высоком уровне, впоследствии всегда приводили к противоположному результату, чем тот, что был изначально запрограммирован. Дело не в том, хорош был этот результат или плох, важно, что он никак не соответствовал первоначально объявленным целям.

Перестройка Горбачева, размежевание суррогатных государств, ваучерная приватизация, ельцинские «реформы» — даже если все эти «этапы большого пути» и имели хоть какие-то положительные последствия, то достигнуты они всегда были вопреки естественному ходу событий и никак не вытекали из исходных предположений. В результате всех этих процессов было осуществлено иллюзорное общественное устройство, базирующееся на искаженном сознании толпы: страна с вполне европейскими ценами, где зарплата в 50 долларов является приемлемой, а в 200 долларов — почти недостижимой мечтой. Разве не ясно, что при такой ситуации все разговоры о свободе слова, демократии и правах человека так или иначе остаются демагогической болтовней? О каких «правах» может идти речь, если средняя зарплата работающего человека существенно ниже официального прожиточного минимума? Нищета работника (подчеркиваю: не бомжа, не безработного, а имен-

но систематически работающего) — это и есть вопиющее нарушение всех прав и свобод. Но виртуальное общественное сознание диктует соответствующий образ действий: реальный выход из положения просто не интересен; важен поиск виновного во всех его традиционных ипостасях: Америка, НАТО, МВФ, кавказцы, евреи, олигархи.

Общество, на словах провозгласившее приоритет прав своих граждан, в очередной раз оказывается в сетях иллюзий. Самый очевидный выход из сложившейся ситуации — и в то же время очередная иллюзия — построение рыночной экономики при авторитарном режиме управления страной. Южнокорейский, китайский, чилийский и другие социально-экономические призраки будоражат воображение российской элиты под одобрительные возгласы зачумленной толпы. Надежным свидетельством начала подготовки к «великому скачку» служит привлечение Путиным к управлению страной команды, костяк которой составляют ультралиберальные экономисты вкупе с работниками спецслужб.

Для того чтобы наглядно представить себе, как выглядит очередная иллюзия в ее натуральном виде, полезно обратиться к широко разрекламированной книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», в которой будущий президент (книга издана в ходе предвыборной кампании) в беседах с журналистами формулирует свое кредо «современного понимания».

Итак:

— Откуда вы на все это деньги возьмете?

— А вы знаете, не так много и нужно. Это не проблема денег. Это та же проблема понимания.

— Ну и сколько бы вы платили, например, молодым специалистам, с учетом понимания?

— Скажем, на Западе им платят порядка пяти тысяч долларов. А если мы заплатим, условно говоря, две тысячи долларов?.. И, прикинув, могу сказать, что тогда подавляющее большинство никуда не поедет. Жить в среде своего родного языка, среди близких, родных,

знакомых, в своей стране получать немного выше, чем другие, — это даже выгоднее.

Оставим в стороне все «привходящие» обстоятельства: исследовательскую базу, произвол чиновников, бытовые условия жизни, буквально выталкивающие специалистов «за кордон»; согласимся: жить в своей среде лучше. Допустим. Но как прикажете понять вот это: «две тысячи долларов» и «немного выше, чем другие». Какие «другие»? Средняя зарплата в стране даже по официальным данным еще далеко не достигла докризисного уровня (август 1998-го), которая, в свою очередь, составляла около 150 долларов. Чтобы фраза Путина приобрела хоть какой-то осязаемый смысл, надо предположить, что средний российский гражданин будет получать... (сколько? немного ниже...) ну, пусть полторы тысячи долларов, т.е. в десять раз больше, чем до «августовского кризиса» и раз в пятнадцать больше, чем теперь.

Собеседники Путина недоумевают; мол, откуда взять деньги? Путин: «Деньги есть, только утекают сквозь пальцы. Пока не будет сильного государства, мы так и будем зависеть от чьего-то стратегического запаса». Сильное государство — это хорошо, конечно. Но не возвращаемся ли мы опять к давнему спору: что было раньше — курица или яичко? Эффективная экономика создает сильное государство или сильное государство — эффективную экономику?

Сон разума рождает чудовищ... Сон политического разума — это социальная иллюзия. Даже при поверхностном взгляде на вещи представляется вполне очевидным, что скорейший путь от тоталитаризма к демократии проходит через «просвещенный авторитаризм», якобы сдерживающий охлократические тенденции в обществе, всплеск которых во всей красе мы наблюдали, например, осенью 1993 года.

Почему-то, однако, во время своей избирательной кампании «сильный авторитарист» Путин с помощью разнuzданных пиар-акций постоянно прибегал к таким способам воздействия на «электорат», которые провоцировали именно охлократическую реакцию. И это выгля-

дело естественным и даже разумным. Хрестоматийный призыв «мочить боевиков в сортире» — из того же ряда. Власть вступила в сделку с толпой, еще даже окончательно не обретя своего властного статуса. И она оказалась бы очень наивной, если бы решила, что толпа не потребует от нее уплаты по счетам. Толпа готова терпеть унижительные поездки на рынок в дальний конец города за третьесортными продуктами, но при этом она должна быть уверена, что Гусинский или другой «олигарх» может в любой момент оказаться на нарах в Бутырке. Ее устроит даже неравенство, которое само по себе безнравственно, но и его суррогат в виде причастности к восстановлению социальной справедливости.

Болея за «свой» народ, Путин, судя по всему, с помощью кремлевских пиар-стратегов постарается оседлать кентавра «твердой руки» и «либеральной экономики», нелепо топчущего по дорожке авторитарного «прагматического» произвола и одновременно обрамленной охлократическим кюветом социальной иллюзии.

ПОБЕДИВШИЙ ФАНТОМ

Самой важной и убедительной, а главное, самой наглядной заслугой Путина считается ликвидация коммунистического движения как влиятельной политической силы, его выпеснение на обочину социальной системы. Это случилось в течение нескольких дней, соответствующих финальному акту избирательной кампании в Государственную Думу.

Российская действительность построена таким образом, что ее непременным атрибутом, заменяющим все нормальные стороны общественной жизни, является телевидение. Если некую социальную единицу, человека или политическое движение, перестать показывать по двум-трем центральным каналам, то она как бы перестает существовать вовсе. А поскольку по всем каналам показывают одно и то же, чаще всего заседания этой самой Госдумы, то становится понятным, по каким признакам судят россияне о состоянии дел на политической сцене.

Подумать только, всего несколько лет назад мы все-ррез трепетали перед возможным приходом к власти коммунистов, мы панически боялись «реванша», не понимая того, что сами «реваншисты» участвуют в борьбе за власть ради возможности политического и экономического торга. А сегодня, наблюдая по красным датам календаря за «оппозиционными» демонстрациями и пикетами, испытываешь разве что бесконечную жалость к этой охмуренной властями толпе стариков, многократно преданных и растоптанных во имя лживых идеалов и неумных амбиций их и не их «вождей».

В одночасье вместо грозных революционеров и народных мстителей перед нами предстали жалкие попрошайки, кланчащие у каких-то непонятных людей с оловянными глазами, ставших вдруг нашими депутатами от «пропрезидентского блока». Путину удалось не просто «раздавить гидру», он сумел перехватить знамя этого диковинного пресмыкающегося. Но здесь опять-таки кроется серьезная опасность: кажется, что ни ему самому, ни его команде не всегда понятно, как этим знаменем распорядиться. Казалось бы, ничто не мешает забросить это перепачканное кровью полотнище в дальний угол чулана или вовсе снести на свалку. Не тут-то было, оно нет-нет да и выглянет из-за спин путинской когорты, пусть зачеленное, но всегда готовое вновь взвиться и реять.

Несомненность этой победы породила еще одно затруднение. Беда и Путина, и коммунистов заключается в том, что, утратив господствующие позиции в общественно-политической жизни, «побежденная сторона» органически не способна трансформироваться в конструктивную оппозицию. Коммунисты, то есть КПРФ и другие прокоммунистические группы, не смогли и никогда не смогут стать нормальной социал-демократической партией. А роль пугала, единственно оставшаяся им напоследок, отнюдь не способствует никакой положительной работе, разве что употреблению по прямому назначению в огороде, что мы сегодня и наблюдаем. С этой стороны Путину не придется ждать ни союзников, ни серьезных оппонентов.

«Правые», объединившиеся перед парламентскими выборами в Союз правых сил, завоевали пристойное количество голосов избирателей только благодаря тому, что им в ходе предвыборной кампании удалось примоститься на запятках путинской кареты. Удачливый и циничный Чубайс точно рассчитал маневр. Но, завоевав себе место, пусть скромное, у кормила (от слова «корм»?), «правые» непременно должны были дистанцироваться от Путина. А иначе как бы они оставались «правой оппозицией»? С «яблочниками» еще проще: за них голосовали именно те, кто Путину не доверял с самого начала.

Трагедия российской политической элиты, представляющей интересы активных слоев общества, так называемого среднего класса, обусловлена отсутствием этого класса как такового в реальной общественной жизни. Средний класс не что иное, как очередная мифологема, искусственно созданная до финансового катаклизма августа 1998-го и умершая вместе с развитием кризисных процессов. Все социальные группы, в нормальном обществе составляющие его средний слой, — учителя, врачи, творческая интеллигенция, представители не крупного бизнеса — либо влачат нищенское существование, либо насквозь криминализованы. Поэтому-то СПС пришлось перед выборами в пожарном порядке включать в свой лексикон элементы национально-патриотической риторики, а «Яблоко» вообще с трудом преодолело пятипроцентный электоральный барьер.

Если коммунисты в принципе могли бы ориентироваться на значительную социальную базу, но не имеют для этого ни перспективы, ни, следовательно, политической воли, то либералы, имея перспективу, лишены социальной базы, а следовательно, и воли. А что такое оппозиция без социальной базы? Политический клуб с благими намерениями его членов.

Наверно, для полноты картины нужно было бы упомянуть и блок ОВР («Отечество — Вся Россия»), но, по моему, здесь и так все ясно. «Движение», изначально созданное как организация крупных чиновников, не конструктивно по определению, поскольку кроме лоббистс-

ких интересов отдельных финансовых групп за ним ничего не стоит и стоять не может. В широком общественном спектре эти «парламентарии» никого, за исключением самих себя и своих хозяев, не представляют. Не удивительно, что, еще не набравшись, движение уже стало анахронизмом.

Таким образом, в силу определенных объективных обстоятельств Путин оказался лишенным всякой оппозиции, представляющей хоть какие-нибудь серьезные общественные интересы.

Не лучше обстоит дело и с соратниками, призванными стать его политическими единомышленниками. Поскольку с самого начала было ясно, что без сильной политической поддержки Путину не обойтись, а взять ее было неоткуда, кремлевскими прагматиками было задумано, срежиссировано и разыграно блистательное пиар-шоу, в результате которого значительная часть избирателей проголосовала буквально за... «никого».

Поражает точное попадание прагматиков в совершенно иллюзорную цель. В самом деле, что мешало взять за основу «новой политической силы» какую-нибудь уже существующую квазипартию или группировку, например, ЛДПР, которая с веселым цинизмом приняла и одобрила бы любую программу, «спущенную» из Кремля. Далее, запустив пропагандистскую машину, нетрудно в течение пары недель создать новый облик «старых» вождей и самого движения, сделав все это хозяйство несколько более респектабельным и приемлемым для употребления в свете поставленных задач. Но, во-первых, тот же Жириновский нужен власти именно таким, каков он есть сегодня: слишком много средств вбухано за десять лет в его имидж. А во-вторых... Жириновский — вот он, перед вами, как живой стоит вместе со своим «папой-юристом», его потрогать можно, весь из себя такой материальный, как и его соратники по политическому бизнес-шоу, хоть и неприглядные, но примелькавшиеся.

Кремлевские умники гениально сообразили, что стране с виртуальной общественно-экономической системой нужен очередной фантом, только он и может оказаться

тем самым яичком, которое дорого к пасхальному дню. Ну, что-то вроде потустороннего мира, о котором мы не имеем никаких точных сведений, и потому каждый придает ему тот смысл, который сам хочет придать, наделяет теми свойствами, которые отражают собственное содержание, то есть фактически моделирует по своему облику и подобию, не заботясь об уяснении действительной сути предмета. Так и здесь: только не существующий в действительности, абсолютно ирреальный фантом мог оказаться столь притягательным, поскольку каждый совершенно произвольно наделял его свойствами, выбранными по своему собственному усмотрению. Чтобы как-то направить воображение, публике были предъявлены три символические фигуры, ассоциируемые с абстрактной физической и духовной мощью, этикие былинные чудо-богатыри, противостоящие денежному мешку, иноземным силачам и даже природной стихии. Вот это сочетание опереточной конкретности и сказочной иллюзорности, столь характерное для популярных в народе лубочных картинок, определило беспрецедентную победу на выборах. Фантом победил и был преподнесен Путину в качестве новой политической силы — партии «Единое». Вся эта чертовщина именовалась здоровым прагматизмом. Путин оказался хозяином и, одновременно, заложником великой социальной иллюзии под названием пропрезидентская Государственная Дума.

ЗАБЫТЫЕ УРОКИ

Самой серьезной неудачей Владимира Путина представляется неспособность разрешить чеченский кризис. Собственно, начало новой чеченской кампании в августе 1999 года стало основой его последнего по времени карьерного взлета. Именно в ту пору впервые всерьез заговорили о «твердой руке». А так как чеченские вооруженные формирования фактически сами напали на территорию Дагестана, то впервые за все время чеченского кризиса их с полным правом можно

было назвать агрессорами, посягнувшими на чужую территорию.

Вот что рассказывал в те дни на страницах «Международной Еврейской газеты» известный военный эксперт Павел Фельгенгауэр: «События на Кавказе — это прямой результат серьезной военной слабости России. В чеченском руководстве имеется достаточно сильная группа во главе с Басаевым, которая считает, что у Чечни есть сегодня уникальный шанс навязать России войну и выиграть ее. Им это представляется вполне реальным: как минимум, захватить Дагестан и выйти к морю, получив таким образом свою долю нефтяных запасов каспийского шельфа, максимум — вытеснить Россию с Северного Кавказа и образовать там исламскую горскую республику между Черным и Каспийским морями... Дело идет к тому, что Россия может потерпеть очень серьезное военное и политическое поражение».

Одним словом, проблема не шуточная. Однако ничего подобного не случилось: Путин принял вызов. Вместо «паркетных генералов» времен прошлой чеченской войны, вроде карикатурного Барсукова, на телеэкранах появились какие-то приемлемые для общественности лица военных. Черный сентябрь 1999 года, унесший сотни жизней в результате террористических актов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, подтвердил правильность военных и политических решений властей. Последовали первые победы. Российские войска разбили сепаратистов в Дагестане, а потом вышли на рубеж Терека. Иногда казалось, что дело благополучно идет к развязке. Рейтинг Путина рос, как на дрожжах. Но после громких побед «военной фазы операции» наступило многомесячное похмелье партизанской войны с ее «малыми» потерями, бесконечными и непредсказуемыми терактами, засадами на горных дорогах и нескончаемыми «комментариями» генерала со слишком значащей фамилией Манилов (которого все, тем не менее, называют «Ноздрев».) Его появление на телеэкране всегда сопровождалось нервной дрожью и холодным потом многомиллионной аудитории, как при приближении вестника смер-

ти. Как говорится, ежу стало понятно, что война эта растянется на долгие годы, вероятно. В обозримом будущем она вообще не будет (и не может?) иметь прагматически результативного конца.

Так в чем причины стратегического «прокола» российской федеральной власти? Они, как представляется, просты: полное незнание истории, непонимание ее естественных закономерностей и неумение извлекать даже ее очевидных уроков.

Казалось бы, и школьнику старших классов должно быть ясно, что российская война на Кавказе — это реально перманентный процесс, имеющий в своей основе многовековую традицию и даже своеобразную логику. Так называемое замирение горцев в стратегическом плане всегда было явлением временным. Противостояние же началось, вероятно, с началом экспансионистской имперской политики, а то и еще раньше — с похода Святослава на Хазарский каганат. Война, длившаяся несколько столетий, не может закончиться по мановению волшебной палочки кремлевских стратегов, пусть даже сопровождаемому массивированной артподготовкой и бомбежкой с воздуха. Эксперты и наблюдатели не устают повторять: кавказская проблема не имеет военного решения. Боюсь, что в реальной исторической перспективе она не имеет также и мирного решения.

Дело в том, что Кавказ — это сегодня еще одна из точек глобального противостояния иудео-христианской и мусульманской цивилизаций, один из самых болезненных узлов этого противостояния. Если говорить всерьез, то именно в этом противостоянии заключена самая реальная опасность для постиндустриального человечества после Второй мировой войны. «Ведь, по существу, что такое сегодняшняя ситуация на Северном Кавказе и в Чечне, — размышляет Владимир Путин в уже известной нам книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». — Это продолжение развала СССР. Ясно же, что когда-то это надо останавливать. Да, какое-то время я надеялся, что с ростом экономики и развитием демократических институтов этот процесс будет заторможен. Но жизнь и практика показали, что этого не происходит». Эти наивные слова

хорошо показывают уровень понимания кавказской проблемы российским политическим истеблишментом. В полторатысячелетнем споре восточной и западной культур Путин, видите ли, надеялся на рост экономики и развитие демократии, которые, кстати сказать, в России никак не растут и не развиваются! Перед нами очередная глубочайшая иллюзия, сродни той, что высказывал в свое время другой крупный кремлевский стратег, говоря о победоносной кавказской войне силами одного десантного полка в течение двух часов или двух суток, уже не помню. Где-то он сейчас, этот нагловатый и лихой герой-«афганец», рассуждающий о глобальном противостоянии, словно речь идет об отчаянной драке в подворотне?

Конечно, это совсем непросто: выстраивать долгосрочную перспективу сложнейшего процесса международных и межконфессиональных взаимоотношений с многомиллионным мусульманским миром. Дело это долгое, хлопотное, в одну-две президентские каденции не уложишься... А пока очередная иллюзия прагматического решения уже привела к тысячам жертв, и бесславный конец такой политики предсказуем и даже очевиден.

НАШ ЧЕЛОВЕК В КРЕМЛЕ

Сразу после своего избрания президентом Владимир Путин встретился с писателями в Русском ПЕН-центре в Москве. Я на встрече не был, но знаю, что на большинство собравшихся там литераторов, людей, как правило, искушенных, он произвел благоприятное впечатление. «Он — человек нашего круга», — сказал мне после встречи писатель и хирург Юлий Крелин, один из тех, кого на мякине не проведешь.

«Нашего круга, наш человек, нашенький мужик», — я думаю, что нечто подобное могли бы сказать о Путине многие. И действительно говорят: бывшие диссиденты и нынешние чекисты, либералы и коммунисты, артисты и домохозяйки, предприниматели и пенсионеры, «патриоты» и «космополиты», антисемиты и евреи. В своих выступлениях, высказываниях и ого-

ворках он умеет всем и каждому послать некий доверительный сигнал: «Я свой», — раздать, как говорится, всем сестрам по серьгам, чтобы никто не оказался внакладе. Он, например, может принять в Кремле в числе других литераторов известного «коммуно-патриотического» погромщика Проханова, сказав ему при этом несколько теплых одобрительных слов, а буквально через несколько дней выступить на открытии синагоги и опять-таки произнести что-то такое обнадеживающее и доверительное. И те, и другие с восторженным придыханием или изумленным удовлетворением свидетельствуют: «он — наш». Все это, видимо, с точки зрения его советников, укладывается в понятие «прагматизм».

Для иллюстрации этой забавной тактики приведу несколько цитат из «Международной Еврейской газеты», выходящей в Москве, настолько красноречивых, что комментарии, по-моему, излишни. Николай Кондратенко, губернатор Краснодарского края: «Сегодня мы предупреждаем эту грязную космополитическую братию — ваше место в Израиле и Америке. Мы, русские, никогда не приходили в чужой дом с мечом. Это вы пришли к нам с грязным забралом... Мы никому не желаем зла — уходите подобру-поздорову! Подальше от греха!» А теперь Владимир Путин в беседе с журналистами: «Взгляды Николая Игнатовича не совсем обычны, но каждый имеет право на свое мнение». И еще Владимир Путин, при награждении орденом Мужества директора Еврейского центра искусств в Москве Леопольда Каймовского, оказавшего сопротивление террористу-антисемиту: «Нужно сделать все возможное, чтобы евреи не уезжали из России. Нам нужно, чтобы евреи сегодня приезжали в Россию, а не уезжали из нее».

Такие примеры нетрудно множить до бесконечности. В книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» журналисты задают «собеседнику» вопрос:

— Что, по-вашему, нужно в первую очередь стране? Главное?

— Точно и ясно определить цели. И не вскользь говорить об этом. Эти цели должны стать понятными и доступными каждому. Как Кодекс строителя коммунизма.

— И что напишете в первой строке этого кодекса?

— Моральные ценности.

Откровенно? Даже слишком. Стоит ли уточнять, о каких конкретно моральных ценностях идет речь? Этого журналисты, составители книги, делать явно не делают: вопрос может оказаться неудобным для будущего президента. Ведь сказано же для непонятливых: «кодекс строителя коммунизма». А какой был «кодекс» у «строителя»? Моральный. Попробовать завести разговор о так называемой общечеловеческой морали в пиаровской книжице как-то несолидно. Не поймут заказчики.

С Санкт-петербургским губернатором Яковлевым после провала Собчака на выборах 1996 года у Путина, что называется, личные счеты. После публично брошенного питерскому градоначальнику сочного эпитета «иуда», после скупой мужской слезы на похоронах своего бывшего патрона, затравленного по указанию новой питерской власти, всем стало ясно: Яковлев, со всех сторон обвиняемый в коррупции, на своем месте долго не засидится. Но вот пришли очередные губернаторские выборы. И тут выяснилось, что самые серьезные претенденты из путинской команды «московских питерцев» оказались не способными преодолеть высокую рейтинговую планку, предложенную действующим губернатором. И что же Путин? А ничего особенного: просто поддержал (ну, фактически поддержал!) «иуду», которого вдова Собчака Людмила Нарусова только что не вытолкала с похорон.

Все понятно: политическая реальность, прагматическая целесообразность... Понятно также, что мораль никогда не числилась среди первых добродетелей политика. Но ведь Путина никто за язык не тянул. Раз он во всеуслышанье заявил, что стране «в первую очередь» нужна мораль, и при этом сослался на известный «ко-

декс», стало быть, мы имеем все основания полагать, что речь идет именно о «революционной морали»: морально то, что в данный момент полезно.

Если подобной «моралью» предполагается снабдить российское общество, то, право же, особенно стараться не стоит: чего-чего, а этого добра у нас за последние сто лет скопилось в избытке. Что же касается морали, утверждающей примат общечеловеческих ценностей (а не каких-либо других: клановых, государственных, национальных, конфессиональных и т.д.), записанной на скрижалях завета (а не в партийных документах), то ее, как известно, невозможно провозгласить декретом и записать в кодексе. Мораль без всяких сопутствующих эпитетов воспитывается в обществе в ходе его многовекового развития и требует, к сожалению, великого числа жертв ее адептов. Эта истина банальна, но, как видим, в России она не усвоена даже президентом.

Минувший август по уже устоявшейся в последние годы российской традиции преподнес Владимиру Путину такие «сюрпризы», которые, похоже, оказались не по плечу даже ему. К взрывам в городах, время от времени уносящим человеческие жизни, как ни горько об этом говорить, россияне понемногу привыкли. С годами выработался некий ритуал, включающий в себя неперенные заклинания властей, обещающих «покарать убийц», расклейку многочисленных предупреждений об «осторожном обращении со случайно обнаруженными предметами» и фотороботов, всегда изображающих подобие «лиц кавказской национальности», включающий также особенно рьяный произвол милиции, впрочем, «понятный» и уже давно никого не раздражающий, кроме нескольких крикливых журналистов, по привычке талдычащих о правах человека. Все это вскоре будет «спущено на тормозах», войдет в обычную колею, народ успокоится и вновь переполошится только в очередную годовщину трагедии или, не дай Бог, в связи с новыми страшными событиями, когда вновь будет запущен механизм ритуала. Правоохранительные органы объявят, что все подозреваемые в совершении преступления известны следствию,

что некоторые из них пойманы и скоро предстанут перед судом; большинство же злоумышленников находятся вне сферы их досягаемости — в Чечне или на территории иностранных государств, но поиски будут продолжены до «победного конца». Самое ужасное, что отработанная схема этого ритуала уже стала рутинной, и никаких перемен, даже в деталях, казалось, не стоило ожидать в обозримом будущем.

Но вот история с гибелью подводной лодки «Курск» все перевернула с ног на голову, именно благодаря тому, что не укладывалась в сложившуюся систему. Погибших никто не видел, стало быть, их как бы и нет; некоторые высокопоставленные чиновники своими ушами слышали отчетливый мерный звук, доносящийся с морских глубин. Но ведь и в живых тоже нет. Так что же делать: спасти или объявлять траур? Спасать сложно и дорого. Объявлять траур — по кому? Вице-премьер лично слышал «мерный звук»! И Путин растерялся. Он не сообразил, что в эти дни и часы не следует слушать своих кремлевских советников. Вообще никого не нужно слушать. А главное, не нужно перед истерзанным обществом, перед обезумевшими от горя, но все еще надеющимися на чудо родственниками выставлять привыкших к ритуальному вранью чиновников и военачальников. Не стоило запускать пропагандистскую машину. Не стоило играть никакой заведомо навязанной ритуалом роли. Нужно было просто (просто?) поставить себя на место потерявших все на свете жен, матерей, отцов. И вместе с ними предаться естественному человеческому горю. Тогда верное решение пришло бы непременно. Но именно этого-то и не произошло. Неожиданно для себя страна увидела растерянного человека, казалось, полностью зависимого от своего кремлевского окружения, от ритуала прагматических догм иллюзорного сознания толпы распавшейся империи. Даже месяц спустя после первых известий о трагедии на вопрос американского журналиста: «Что же случилось с подводной лодкой?» — Путин ответил с невнятной, блуждающей улыбкой: «Она затонула...». Как будто бы речь шла о нелепом финале зауряд-

ного романа, нежданного и отчужденного, непонятно зачем нас потревожившего.

Я далек от того, чтобы навязывать читателям какие-либо выводы: это не входит в мои намерения, ибо представленный текст — всего лишь небольшой этюд, а не социально-психологическое исследование. Поэтому я ограничился несколькими кажущимися мне важными идеями, поясняющими соотношение прагматического и иллюзорного начал в личности, а следовательно, и в деятельности нынешнего российского президента. В заключение я просто хотел бы в очередной раз вернуться к весьма поучительной книжке «От первого лица...» и привести слова самого Владимира Путина. Без всяких комментариев.

— Книги и фильмы типа «Щит и меч» сделали свое дело. Больше всего меня поражало, как малыми силами, буквально силами одного человека, можно достичь того, чего не могли сделать целые армии. И далее:

- Кто из политических лидеров вам интересен?
- Наполеон Бонапарт. (Смеется.)



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГОРБАЧЕВ И ЕЛЬЦИН: ИТОГИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Субъективные заметки

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРВОЙ ЛЕДИ

Некоторое время назад телекомпания НТВ представила своим слушателям не совсем обычную передачу «Первая, первая леди» о жизни Раисы Максимовны Горбачевой. Формально передача, посвященная очередной годовщине со дня ее смерти, воспринималась как окончательная реабилитация первой леди страны, которая многие годы, начиная с эры правления Горбачева, подвергалась своего рода всенародному остракизму.

Люди моего поколения наверняка помнят не столь далекие времена, когда горбачевская Раиса становилась героиней бесконечных анекдотов и сплетен, была окружена аурой небрежения и насмешек — тема, на которой в силу ее известности, нет даже смысла останавливаться.

Все в судьбе первой леди развивалось согласно давно народившимся советско-российским традициям. При жизни ненависть и презрение, а после кончины — бурно растущее поклонение, переходящее в горячую народную любовь.

Числа подобных метаморфоз не счесть в нашей истории. Разве одно лишь обстоятельство так и остается не выясненным: отчего не сделали такого фильма раньше, сразу после трагической кончины нашей первой леди, чтобы таким образом раз и навсегда реабилитировать ее перед российским населением?

Вряд ли это можно объяснить затянувшимся комплексом вины перед Раисой Максимовной, съедавшим души россиян. Или, скажем, ожиданием новой эпохи. Смена эпох и правителей, опять же, вероятно, и на этот раз сыграла свою роль, как, возможно, сыграло и некое общее правило человеческой жизни (не помню, кому из древних принадлежит сей крылатый афоризм): «Люди любят мертвых». Все это, видимо, так, но не имеют ли подобного рода российские метаморфозы, еще и политической подоплеки, результатом которой и наступила широкоэвangelическая реабилитация Раисы Максимовны Горбачевой?

Начнем с того, что, сколь бы ни хотелось авторам программы НТВ по-новому высветить ее жизнь в эпоху перестройки (де, была она правой рукой Горбачева, любила людей, помогала больным детям), внутренней, ведущей темой передачи, ее главным героем стал, да и не мог им не стать, сам первый Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев.

При этом по каким-то своим соображениям — то ли редакционным, то ли идеологическим — НТВ не отважилось пойти на риск начать разговор о Горбачеве в полный голос, хотя он вроде бы уже давно реабилитирован самим ходом истории.

Однако с ним дело обстоит совсем не так, как с Ельциным, о котором глава НТВ Евгений Киселев подготовил специальный двухчасовой сериал «Президент Всея Руси». С Ельциным, совсем недавно в лучах прожекторов ушедшим в отставку, все было ясно. Ельцина можно

было перевозносить (пусть и с некоторыми оговорками), Ельцин — это целая эпоха., это — наша история. Другое дело — Горбачев, изгнанный после августовского путча с позором со всех постов, разваливший по мнению многих Россию, ненавидимый Ельциным, и кто знает, возможно, передавшим эту ненависть своему преемнику Путину.

Конечно, время делает свое дело: с приходом новой эпохи Горбачев то и дело появляется на телеэкранах, дает оценки, комментирует события... Но так, чтобы во весь голос, как о «Президенте Всея Руси» — о Горбачеве, и по сей день вряд ли допустимо, разве лишь на втором плане, как бы между прочим, ну, например, на фоне ушедшей в мир иной супруги.

С другой стороны, хоть и опосредовано, журналистам НТВ все же хотелось поддержать первого президента, ну хотя бы и потому, что тот согласился стать председателем общественного совета НТВ и, кто знает, может, даже сделается он важной козырной картой оппозиции в ее борьбе с сегодняшним Кремлем. Так что, уже в самой передаче, как видим, было заложено некое двоемыслие, когда вроде бы и наступило время сказать о Горбачеве всю правду, да как-то пока не принято, как говорят на Руси, и хочется и колется.

Итак, с первой леди более или менее все ясно, но как все-таки быть с ним? Где та мера дозволенной информации — о его эпохе, которой сопутствовал самый тяжелый и самый драматичный период перестройки? И как все это увязать: и полную реабилитацию ее и некое, нестертое из памяти народа подозрительное отношение к нему — что дозволено, а что и по сей день недозволено говорить на эту обоюдоострую тему?

Между тем, и сами создатели телепередачи хорошо понимали, что к чему; сколь бы ни был комплиментарен рассказ о покойной Раисе, не она, а он, ныне здравствующий Горбачев, как было сказано выше, окажется в центре внимания зрителей, через него будут показаны времена, когда вместе со сменой правителей одна правда так часто сменяла другую. И при всем этом, следуя традициям НТВ, передача должна была стать честной и

незамутненной картиной прошлого, перетекающего в наш сложный и противоречивый сегодняшний день.

Естественно, все это не могло не определить и сам характер фильма, заранее предполагающий осторожное, с оглядкой, как нынче принято говорить, сбалансированное отношение к событиям, с одной стороны, с другой стороны - и при всем этом необходимость сказать что-то интересное, новое, способное вызвать у зрителей симпатию к настрадавшейся семье Горбачевых.

Автор фильма, Светлана Сорокина, решила выбрать, как ей, по-видимому, казалось, единственно верный путь - показать личную жизнь Горбачевых, приоткрыть перед зрителями завесу над днями их молодости: как все было с самого начала, как встретились и познакомились, как дружили, как проводили вечера в студенческом общежитии. Оттого, наверное, таким долгим и было начало фильма - о их юности, университетских годах, романтике жизни..

Заметим, что Светлана Сорокина мастерски обходит в этой первой части подкарауливающие ее идеологические рифы. Но ее замысел - во что бы то ни стало создать нечто позитивное и романтическое - то и дело приходит (возможно, даже вопреки ее воле) в противоречие с материалом и демонстрируемыми кинодокументами - последние живут как бы своей жизнью и, прорываясь на телеэкран, напоминают нам об очень важной и так часто скрываемой правде о действительной судьбе первого Президента СССР. О его взлетах и падении О его роли в российской и мировой истории и еще о многом другом, связанном с его настоящей, а не придуманной судьбой, которую и по сей день нередко замалчивают средства массовой информации.

Отсюда противоречия и двусмысленности. То одна правда, то другая. То пошловатая сентиментальность (в особенности когда говорится о молодости), то жестокая и горькая судьба человека, восставшего против устоев взрастившей его коммунистической системы.

Возникает перед создателями фильма и еще одно препятствие - это сам Горбачев., который на протяжении всего фильма так скуп на излияние чувств - ему явно не

по вкусу размазывать свои воспоминания о днях юности. Но странным образом именно в этих кадрах вкус изменяет Светлане Сорокиной, которая, видно, пребывает в уверенности, что интимный мир ее героев более всего занимает зрителей. Именно в такие моменты, когда она стремится вызвать Горбачева на откровенность ее попытки терпят неудачу. На обращенный к нему вопрос - любили ли они с Раисой Максимовной друг друга: Горбачев явно демонстрирует нежелание пускать к себе в душу постороннего человека.

- Знаете, отвечает он, мы никогда не говорили о любви... Мы просто жили.

Так выяснется, что романтический сказ, при всех стараниях автора, никак не вытанцовывается. События реальной жизни не укладываются в замысел. Отсюда, я думаю, и мое стремление вырваться за его пределы и попробовать сказать то, что так и не удалось создателям фильма.

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

Впрочем, по-своему телепередача исчерпывает тему юности Раисы Горбачевой и вместе этим самого Горбачева. Далее начинается о его партийной деятельности, вначале в Ставрополье, затем в Москве, в Центральном Комитете партии, где он становится самым молодым секретарем ЦК и членом политбюро, подающим большие надежды в кругу партийных геронтократов.

Автора телефильма не очень занимает этот период их жизни: Раиса пока еще мало дает о себе знать, стало быть, и о Горбачеве рассказывать особенно нечего. Но такой предстает лишь формальная логика фильма, в том случае, если ограничиться внешней канвой событий. Для зрителя, пытающегося понять происшедшее с Горбачевым, тема, на которую многие годы было наложено цензорское вето, представляет куда больший интерес. Ну взять хотя бы его феерическую партийную карьеру. Знающий тогдашнюю жизнь человек не может не понять, на каком пьедестале партийной иерархии оказался Горбачев, особенно, когда возглавил Центральный Комитет партии и стал пер-

вым человеком партии и государства. И какой это был акт мужества, когда, рискуя сорваться в пропасть, он без страха пошел на то, чтобы взорвать действующую систему изнутри. Он призывал к гласности и перестройке, но слова эти, вызывавшие такое раздражение и ненависть в партийном аппарате, на самом деле стали лишь метафорами горбачевской революции. Пусть это была революция сверху, но она никак не стала верхушечной революцией (эти два понятия ни в коем случае не были синонимами). Сделанное Горбачевым в полном смысле слова изменило ход русской и мировой истории. Вот что давно уже следовало сказать во весь голос, а если это было сказано, то повторить, стократно повторить и записать на скрижалях истории — и для современников и для потомков.

Это была революция лично Горбачева, никакого не диссидента, не революционера, не теоретика, не философа, а, в общем, обычного партаппаратчика, прорвавшегося на вершину социальной пирамиды, чтобы изменить устои общества. Да, внешне он был просто партаппаратчик — к тому же, как казалось, не способный вырваться из мира привычных партийных штампов, никакой не оратор и никакой не интеллеktуал, особенно когда он заводил свои многочасовые речи, способные усыпить любого нормального человека, — словом по первому взгляду не более чем продолжатель брежневско-андроповской линии, но от этого его вызов партии и устоям выглядел еще более отважным и для него лично чрезвычайно опасным.

Позже станет модно говорить о революции и бунте Ельцина — тема, к которой я еще вернусь. Но Ельцин, если взглянуть на историю ретроспективно, лично на пути к власти ничем не рисковал, в нем было куда больше игры, чем риска, он не более чем столкнул Горбачева в пропасть и взял тепленькой упавшую к его ногам власть. Тогда как Горбачев, будучи генсеком партии с его открытым бунтом против режима рисковал всем, достаточно было ему сделать один неверный шаг, и он подписал бы себе приговор. И вот, несмотря на все это, он нашел в себе мужество повести страну по новому, неизведанному в российской истории пути.

Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Да потому что показанная нам передача просто-напросто обошла эту горбачевскую революцию, которую он осуществил, не стяжав себе ни славы, достойной его деяния, ни авторитета, опять же сообразно сделанному им для страны. Его портреты не появлялись в детских букварях, подобно портретам Путина, его соратники даже в самый разгар революции не клялись ему в верности, а чаще всего выстраивали на его пути бесчисленные препоны, да и народ, которому он стремился дать свободу, нисколько не превозносил и не прославлял его, как это было с тем же Ельциным и Путиным.

Несмотря на все сделанное, он долгие годы пожинал одни плевки и проклятия. А теперь вот еще решили поделить его заслуги с женой, в свое время так же проклинаемой на родине в тысячу глоток, и которой (ей, а не ему — подчеркнем это еще раз) решило посвятить специальную передачу московское телевидение. А он? Что он? Он, думаю, так и остался в памяти многих осмеянным собственным народом, стяжавшим одни анекдоты и насмешки, сопровождавшие его перестройку. Он был революционером без сподвижников, революционером-одиночкой, лишь в самом начале пользовавшимся поддержкой населения и очень скоро оказавшимся в вакууме. Не случайно именно в те дни на обложке журнала «Время и мы» появился коллаж Вагрича Бахчаняна, изобразившего фигуру всеми оставленного Горбачева с красноречивой авторской надписью «Гласность вопиющего в пустыне».

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СУДЬБЫ: ИДОЛ ЗАПАДА И ИЗГОЙ НА РОДИНЕ.

Впрочем, и в телефильме среди прочего показаны первые дни горбачевских реформ. Генсек — среди толпящего, рукоплещущего населения. Но, как мы знаем, времена эти быстро испарились, ситуация, в которой оказался новый генсек (хоть и не всегда это было видно

стороннему взгляду) молниеносно и драматически менялась. Да, он по-прежнему сохранял за собой власть, он по-прежнему звал к гласности и перестройке... Но Горбачев оставался Горбачевым — лишь в глазах... Запада и только Запада. Там-то хорошо понимали что к чему, это ведь он освободил Сахарова и положил конец холодной войне, это он помог объединить Германию, взорвать изнутри коммунистические режимы в Восточной Европе, и отвести угрозу атомной катастрофы.

Понятно, что Запад не мог не воздать должного его историческим заслугам, понятно, почему, например, журнал «Тайм» объявил его человеком года, как и понятно то, отчего столь популярна на Западе стала его жена Раиса Максимовна, первая леди Советского Союза.

Но создатели фильма о ее жизни явно лукавят, когда все ее заслуги приписывают исключительно ей самой, ее умению себя вести, со вкусом одеваться и прочее и прочее. Авторы просто-напросто добросовестно и не без творческой выдумки выполняли поставленную перед собой задачу: вознести первую леди на пьедестал, придать ей самодосточную роль в сложном и противоречивом современном мире. На самом деле весь ее блеск, как, впрочем, и блеск самого Горбачева, были опять же лишь внешней стороной событий. Стоит попробовать заглянуть в корень и рассмотреть судьбу Горбачева в контексте жизни тогдашней России, как мы немедленно окажемся перед лицом двойственного, амбивалентного положения первого президента СССР.

Парадокс заключался в том, что с той же стремительной быстротой, с какой возносил своего кумира Запад, с той же скоростью и драматизмом падала его популярность на родине. Вернемся к тому, о чем уже говорилось выше. Он бесконечно нудил по радио и телевидению о необходимости гласности и перестройки, но его нескончаемые речи, чем-то напоминающие заклинания неудачливого проповедника, вызывали у населения лишь отрицательную реакцию. Гласность? Перестройка? Новое мышление? Какой прок был во всем этом, если людям по-прежнему нечего есть? Жить-то стали даже хуже, чем во времена

брежневского застоя! Бесконечные митинги и демонстрации, повсеместные и пустопорожние разглагольствования доморощенных ораторов-демократов (опять же на фоне беспросветной жизни) — все это лишь подогревало страсти и отнюдь не добавляло симпатий к президенту, лицо которого в те дни не исчезало с экранов телевизоров. И ко всему еще — разъезжающая по миру и купающаяся в роскоши (и опять же не исчезающая с телеэкранов) первая леди Раиса Горбачева, ухитрившаяся заделаться подружкой самой Нэнси Рейган.

Авторы разбираемой передачи не скупилась на славословия в адрес своей героини. Но когда Светлана Сорокина пыталась ретроспективно перенести эти похвалы в сознание миллионов советских людей, она явно начинала грешить против правды. В глазах рядовых советских тружеников и особенно тружениц разодетая горбачевская Раиса вызывала лишь зависть и раздражение — «Вот ведь пустили же Дуньку в Европу, чтобы наши народные денежки просаживала!» Такова была горькая правда, от которой нам даже сегодня никуда не уйти.

Горбачев, ссылаясь на факты и документы, пытался убедить телезрителей, что по всем счетам Раисы расплачивался он, никакая не казна, а он и только он. Говоря это, он, вероятно, не подозревал, какую же грустную и даже им самим не ощущаемую правду он выплескивал перед телезрителями. Правда эта состояла в том, что платить ему пришлось не только по денежным счетам, предъявляемым ей казной, (в отношении казны чета Горбачевых была поистине скрупулезна). Но платить-то ему пришлось и по другому счету, который не уставало предъявлять своему президенту население в связи с бесконечными «телевизионными шоу», всенародно презираемой «Раиски». Воистину ей следовало умереть, чтобы быть прощенной и заполучить гордый титул первой советской леди. А пока что расплачивался он — и не рублями и долларами, а своей и без того падающей популярностью президента, который по мнению российской толпы оказался под каблуком «Раиски». Теперь-то мы понимаем, что к чему и что не было тут и тени вины ни первой леди, ни

самого президента. И по этому большому счету он платил не за поведение жены, а за отсталость и отвратительные черты сознания темной русской толпы.

Да только в разговоре о том, сколько раз без вины виноватым оказывался президент-реформатор, не важны все эти причины и следствия, а важны лишь все более сгущающиеся обстоятельства жизни, подталкивающие Горбачева к пропасти.

АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ

Пропасть его ждала впереди, а пока он оказался в вакууме. Со стороны партийных ортодоксов по понятным причинам он обрел смертельных врагов сразу же. Но как мы видели, в конце восьмидесятых он стремительно терял поддержку масс. Провозгласив новый курс, президент метался в тисках противоречий. С одной стороны он нес на себе груз коммунистических предрассудков и пребывал в страхе перед капитализмом, на милость которому не мог себе позволить сдаться. С другой стороны, безуспешно и с одинаковым результатом, он пытался предпринять то одни шаги, то другие (вроде печально знаменитой программы «500 дней»), чтобы вывести страну из кризиса. Но в те дни это выглядело невозможным по определению, хотя бы потому, что никакого мирового опыта на этот счет не существовало.

Советники и члены правительства (в том числе и Явлинский) оказались не в силах предложить что-то дельное. Перед лицом нарастающего антикоммунизма и разлившейся по стране анархии партийные ортодоксы не могли не испытывать страха перед будущим, которое рисовалось им в самых зловещих красках.

В высших эшелонах власти все более говорили о сильной руке или по крайней мере о сильной власти, способной вывести страну из тупика. В воздухе висела идея заговора и государственного переворота. Было ясно, что сам Горбачев ни на какие перевороты и возвраты к старому не пойдет. Но тогда, по крайней мере необходимо было устранить его с пути. Так зарождался путч. Заговорщики,

воспользовавшись пребыванием президента на излечении в его крымской резиденции, решились на переворот и объявили о введении чрезвычайного положения.

Думаю, что историкам будущего еще не раз предстоит возвращаться к августовскому путчу. И если они будут следовать фактам, им вряд ли избежать вывода о том, что события тех дней современники умудрились изрядно демонизировать. Строго говоря, путч и его лидеры заранее были обречены на провал. Я помню, как в день путча московское телевидение демонстрировало бесцветные физиономии его организаторов — выходца из профсоюзов Янаева, министра финансов Павлова, главы КГБ Крючкова... Не помню, скольких показали в тот день, но даже в их серых, изможденных лицах читалось отсутствие всякой веры в успех этого сомнительного предприятия... Впрочем, никаких исторических задач они перед собой и не ставили, просто хотели положить конец анархии и навести в стране порядок. Хотели того, чего, может быть, желала значительная часть населения страны. Парадокс состоял в том, что они, в сущности, ратовали за такой же авторитарный режим, который в свое время пытался ввести Андропов, и за который (о, ирония истории) сегодня ведет борьбу Владимир Путин, но то, что неплохо удастся молодому и динамичному Путину, в силу своей бездарности и полнейшей неподготовленности с треском провалили гэкачеписты.

Таков, возможно, будет взгляд историков. Но совсем иным был взгляд современников. Чтобы понять дальнейшее, самое время вспомнить, что именно в эти дни на авансцену событий выходит Борис Ельцин. Собственно, появился он значительно раньше, ибо в дни путча уже был президентом Российской Федерации. Но, как теперь уже широко известно, именно благодаря путчу и наступил в его жизни и карьере звездный час.

Об августовских событиях написано множество книг, не говоря уже бесчетных газетных публикациях. И повсюду события тех дней оценивались почти одинаково: борьба против путчистов изображалась, как истинно массовое народное движение, свидетельствовавшее о том, что народ России никогда не свернет с избранного пути. Даже, если

согласиться с тем, что восставшие против путчистов москвичи были одержимы лишь идеей демократического обновления России — нельзя не признать, что лозунги и задачи масс в те горячие дни формулировал один-единственный человек — Борис Николаевич Ельцин, в который раз подтвердивший, что он истинный вождь толпы, непревзойденный ее трибун, обладавший даром говорить толпе именно то, что она хотела от него услышать. Так что не приходится удивляться, что бурно развивающиеся в столице события, которые Ельцин провозгласил революцией, он решительно взял под свой личный контроль, что впоследствии оказало влияние на весь ход российской истории.

Конечно, воздух свободы, который глотнули российские массы, уже пьянил души и умы миллионов, и их просто невозможно было затолкать в прокрустового ложе обрыдшего коммунизма. Но теперь уже ни для кого не секрет, что в те августовские дни действовало не столько осознанное демократическое движение, сколько энергия разбушевавшейся толпы, которую демократическим силам еще предстояло направить в нужное направление. Эту задачу и взял на себя Ельцин.

Излучая бурлившую в нем энергию, он с трибуны Белого дома звал массы к борьбе и бунту против ненавистной партии, он обещал разогнать и уничтожить повсюду засевших партийных номенклатурщиков и бюрократов. В ответ на что восторженные толпы во все горло скандировали «Борис, ты прав! Борис, мы с тобой!». Вот так и произошел в столице этот бунт, который возглавил Ельцин во имя провозглашенных им идеалов свободы и демократии.

Как покажут дальнейшие события, он довольно скоро предаст забвению эти идеалы. И при всей его бойцовской необузданности черты коммуниста-номенклатурщика одержат в его характере верх. Трудно сказать, насколько осознанно он шел на предательство и что больше руководило его поведением — сознание или подсознание (но это уже другая тема, да и не Ельцин, а судьба Горбачева интересует нас). Просто без Ельцина и вне сравнения с ним нам трудно понять драму первого

Президента СССР, которая во всей своей остроте развернулась после подавления путча. Это подавление и участие в нем масс Ельцин не устал называть революцией, августовской революцией.

Но если, оглянувшись назад, вспомнить, к чему на самом деле привело правление Ельцина, вспомнить, что эта превозносишаяся им сквозь сотни микрофонов революция привела к созданию олигархического криминального режима, то невольно хочется задать вопрос: «Чего же на самом деле стоили призывы Ельцина и вторящие ему крики толпы? Да и был ли вообще мальчик? Может, и мальчика не было? Может, и не было никакой революции, а овеванный романтикой август 91-го года, который принес триумф Ельцину-политику, уже нес на себе черты заката российской перестройки. И не проявятся ли эти первые признаки русского термидора (что выльется в диктатуру Ельцина, в кровавый разгон парламента, в подтасовку выборов) уже в те дни, когда, подавив путч и стяжав славу всенародного вождя и любимца, он учинит жестокую расправу над первым президентом СССР»

СЛАДОСТЬ МСТИ, ИЛИ ЕЛЬЦИН ПО ФРЕЙДУ

Пишу все это и опасаясь повторений, ибо все происходившее в те дни хорошо известно: и то, как разгром ГКПЧ средства массовой информации объявили триумфом российской демократии, и то, как режиссируемые Ельциным крики разбушевавшейся толпы, объявлялись им голосом самой истории и то, как Горбачева, оказавшегося под арестом в его имени на Форосе, привезли на самолете в столицу — то ли как обретшего свободу законного президента, то ли как потерявшего народное доверие арестанта и еще очень многое, что приводило нас, современников, в восхищение: вот он, истинно звездный час истории!

Светлана Сорокина снова вспоминает свою героиню, сколько пришлось пережить ей, оказавшейся в заточении! Эмоции автора телепередачи здесь также мало что добавляют: о трагедии оказавшейся в заточении горба-

чевской семьи неумолчно трещали газеты всего мира, как не переставали писать и о нервном срыве и инсульте пережитом Раисой Максимовной Горбачевой.

У меня и сейчас стоит перед глазами многократно виденная картина приземления Горбачева в Москве после крымского заточения. Необычен его вид, как и необычен вид его семьи — и Михаил Сергеевич и Раиса и даже внучки выглядят болезненно и подавленными, словно после тяжелого психического заболевания. Но более всего странен он — думаю, что таким его мир еще никогда не видел, в том одеянии, в котором он появился на аэродроме — в какой-то коротенькой, затрапезной кацавейке, словно поданной по бедности несчастному узнику Фороса.

Вряд ли можно представить, что обретший свободу Горбачев перед вылетом не имел возможности облачиться в один из своих отлично сшитых костюмов и обрести вид, приличествующий президенту (кто-кто, а уж Горбачев как никто следил за собой), тем более вряд ли он не представлял, что на аэродроме его ждет толпа журналистов со вспышками и телекамерами. Так вот, я почти уверен, что в этом затрапезном, арестантском виде он предстал перед миром не по собственному желанию, а по чьему-то велению. По чьему именно, нетрудно догадаться — по велению тех, кому выгодно было показать его опустившимся и раздавленным, только формально пока числящимся президентом, а на самом деле уже ровным счетом ничего не значащим для России и мира.

Сидя в тот день у телевизора, трудно было представить, что все это явилось началом спектакля, режиссером которого был рвущийся к власти Ельцин — без Ельцина в тот день вряд ли что-то решалось, тем более, когда шла речь о Горбачеве: каким он предстанет миру, выходя из самолета после заточения на Форосе. (Естественно, обо всем этом осведомленные органы и по сей день хранят гробовое молчание.)

Думаю, что в глазах создателей нашей телепередачи, указанный спектакль также не играл никакой роли. Какое там значение имел гардероб Горбачева? Сообщили о переживаниях и болезни Раисы и на том поставили точку.

А, может быть (скорее всего так и было) телевидение на этот счет просто не располагало какими-то материалами, в свое время с концами похеренными упомянутыми компетентными органами. Не было, наверное, смысла и касаться Беловежской пущи, которая решила судьбу Горбачева и которая уже давно набила оскомину россиянам. И если к вышеозначенному спектаклю, так искусно срежесированному Ельциным, я считаю нужным вернуться, то, наверное, потому, что время выглекивает все новые детали и факты, которые по-своему проливают свет и на личность Ельцина и на драму Горбачева.

Знаете ли вы, например, читатель, что транслируемому по всему свету заявлению Горбачева об отставке, на которую его вынудил Ельцин, предшествовала их «дружественная попойка» (о которой мы узнаем из случайно обороненной фразы одного из горбачевских советников). Ах, как было бы любопытно узнать, какая происходила между ними задушевная беседа, в какой там любви они друг к другу объяснялись — догадливому читателю не нужно объяснять, кто из них двоих был инициатором этой попойки. Но похоже, что именно в час этого задушевного прощания Ельцин учинил своему свергнутому сопернику довольно любопытный допрос (случайный обрывок которого также промелькнул перед зрителем.) «Если вы чувствуете, что в чем-то виноваты, лучше сознайтесь по-честному» — с улыбкой на устах изводил Горбачева Иудушка-Ельцин. Или, как поведал нам один из советников Горбачева, он застал президента перед выходом его в студию страшно расстроенным, «на нем просто не было лица». Но на этот раз Ельцин был ни при чем, причем были его «архаровцы» (как назвал их Горбачев), которые час назад нагрянули к нему на дачу и велели его семье срочно выметаться. Это был предпоследний акт драмы. Последним должно было стать выступление Горбачева по телевидению.

Разумом трудно понять, зачем понадобилась Ельцину эта цепь издевательств над соперником, который, в сущности, уже сложил оружие? Хотите не хотите, а приходит мне на память величайший гуманист всех времен и народов товарищ Сталин, который, по описанию Александра

Орлова, в 1923 году исповедовался перед уничтоженным им впоследствии Каменевым в «сладо́сти мщени́я». Согласен, пусть и грубоватой выглядит эта параллель между Сталиным и Ельциным — но я просто не могу ее не привести, ведь подобные же качества в Ельцине не так трудно предположить, если снова не вспомнить, с какой жестокостью он расстрелял непокорившийся ему российский парламент, как безжалостно одного за другим изгнал преданных ему сподвижников... Таким, собственно, я вижу Ельцина по Фрейдю.

Спросите, за что он сводил счеты с Горбачевым? Да хотя бы за то, что Горбачев, в бытность свою Генсеком партии, спас его, униженного и терзаемого руководителями ЦК после его выступления на заседании московского горкома партии. В жизни так нередко случается, когда униженный мстит свидетелям своего унижения. А тут не просто свидетель, а человек, стоявший на его пути к власти. Такова, видно, была логика ельцинского подсознания, который терял последние остатки человечности, когда вступал в единоборство со своими политическими соперниками. И что же Горбачев? Самое интересное, что, теряя под ногами почву, он принял вызов Ельцина и, как это ни странно, в этой схватке характеров одержал победу.

Естественно, он не мог вернуть себе высшего поста в государстве. Ельцин, ничтоже сумняшеся, просто-напросто сократил штатную единицу президента СССР. Да, как кремлевский интриган он оказался куда хитрее и изворотливее Горбачева, но тот в этом поединке проявил куда большее мужество и благородство.

В последнем акте ельцинского спектакля, многократно униженный Ельциным, сданный и преданный окружением Горбачев сумел до конца сохранить самообладание и чувство собственного достоинства. Не поддаваясь натиску суетливо метавшихся из угла в угол тележурналистов, пытавшихся скомандовать, что и когда свергнутому Президенту говорить он отстранил непрошенных советчиков и недрогнувшей рукой подписал заявление об отставке. Потом произнес краткую и мужественную речь и спокойным и решительным шагом покинул студию.

ГОРБАЧЕВ И ЕЛЬЦИН: ДВЕ ОТСТАВКИ, ДВА ХАРАКТЕРА, ДВЕ ЖИЗНИ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА.

Кто-то, возможно, и не согласится с моим истолкованием событий, согласно которому свергнутый Горбачев в час своей катастрофы оказался на голову выше Ельцина. Была бы возможна и другая «гипотеза», если бы не сам Брис Николаевич с его заключительным интервью, данным им после свержения Горбачева. Он явно не чувствовал полноты победы. И не нашел ничего лучшего, как слать в спину поверженному противнику новые издевки и шуточки, да, после такого поражения ему следовало бы молчать в тряпочку, а он видели, как заносится, это же надо столько запросил — сохранить за ним президентскую дачу, целый отряд телохранителей, президентскую машину... — «Ну, мы, конечно, его требования урезали, раз в десять!» — не переводил духа Борис Николаевич вслед ушедшему Горбачеву — не чувствуя ни своей слабости, ни малейшей неловкости, ни своего дурного тона.

Хотите не хотите, а я снова возвращаюсь к параллели со Сталиным — не была ли это как раз упомянутая выше сладость мести, а может, от несломленности Горбачева и проявленной им силы духа в душе Ельцина продолжало все кипеть, и никак не мог он эту бушующую страсть в себе укротить. Вот ведь какому гиганту народ России вручил свою судьбу. Впрочем, не будем последнему удивляться — русскому народу исторически не везет с вождями, даже тогда, когда он самолично, всенародным голосованием, возводит их на престол. Разве лишь поостережемся подобные «акты народного волеизъявления» называть революциями. Если разбушевавшиеся московские толпы сотворили в августе 91-го года революцию, да еще ради потомков, как любил говорить Ельцин, то что же, спрашивается, нам тогда делать с нашим будущим и нашей несчастной российской историей.

На этом, пожалуй, можно было и завершить сюжет: эра Горбачева кончилась и началась эра Ельцина, о которой без нас с вами, дорогой читатель, уже столько написано..

Но не начинается ли здесь другая, человеческая и, возможно, самая занимательная часть нашей истории?

Вспомним, что свергнутый Горбачев не просто не погиб, как личность, но как бы обрел второе дыхание. Несмотря ни на что — ни на потерю власти, ни на смерть жены, ни на провал на очередных президентских выборах. И хотя Ельцин, «Президент Всея Руси» и ее полновластный хозяин, был неумен в своем желании его преследовать (то упомянутые органы распускали слухи, что Горбачева ожидает суд, то высылка из России, то горбачевскому фонду предписывалось переселяться в меньшее помещение), странное дело Горбачев всему этому не сопротивлялся. Оттого, верно, что смотрел на происходящее с высоты своей судьбы.

Впрочем, все, вероятно, было куда сложнее. Пережитая им политическая экзекуция и большая часть жизни вне родины обернулись для него испытанием характера — это уже не был вознесшийся на вершину пирамиды партаппаратчик. Повторим снова, в мире свободы он созрел как Человек, который мало-помалу становился на голову выше Горбачева-президента. Его кипящая событиями жизнь ничем не напоминала судьбу угодивших в отставку советских вождей, таких, например, как Каганович, Молотов или даже тот же Хрущев. Так же, как она не напоминала и судьбу вождей здравствующих, таких, например, как недавно ушедший в отставку Борис Николаевич Ельцин.

Царствованию последнего в условиях криминальной чиновничьей России, которую он сам и породил, неизменно сопутствовали ложь и лицемерие, нищета масс, коррумпированность властей; он искал утешения в алкоголизме, но его настигали старость и болезни, и исподволь подстерегал неминуемый распад личности.

Вспомните кадры, изображающие молодого Ельцина, молодого и несгибаемого борца, готового смести любые преграды на своем пути. И для сравнения взгляните на Ельцина в момент его картинного ухода в отставку: с телевизионного экрана на вас смотрел дряхлый, маразмизирующий старик и мямлил какие-то ничтожные слова,

прося прощения у народа. Но в чем-то, как и все советские вожди, так и остававшиеся до последнего дня номенклатурными старцами, он оставался самим собой.

Говорят, что бывший глава КГБ Александр Шелепин незадолго до смерти выпрашивал у правительства, чтобы ему увеличили число «машинных дней», когда бы он мог пользоваться персональной машиной, какие-то подачки вечно вымаливали для себя одряхлевшие Каганович и Гришин (последний, как известно, даже отдал концы на пороге районного собеса).

Не желая себе подобного конца, «Президент Всея Руси», так картинно унижавший Горбачева за непомерные претензии, устроил перед уходом в отставку форменный торг со своим преемником Путиным, и, как стало известно, стоял насмерть, пока не отторговал себе такие привилегии, о которых вряд ли может мечтать любой из иностранных правителей. (Да только много ли все это значит перед нескончаемыми болезнями и углубляющимся распадом личности?) И тут уж ничего не поделаешь — такова цена власти в современной России. Называйте ее мафиозной, называйте олигархической или криминальной — суть не в терминах и географии, а в устоях и системе ценностей страны, где происходят описываемые мной события.

Не случайно свергнутый Ельциным Горбачев выглядит совсем иным — читателю самому предлагается разгадать этот загадочный феномен — но согласимся с тем, что ведь это она, родная российская власть, превратила могущественного Ельцина в дряхлого маразмизирующего старика. Тогда как потерявшего власть Горбачева, я думаю, поддерживает многое и, наверное, в первую очередь, осознание сделанного им для своей Родины и истории. Что же, в этом последнем, вероятно, и заключена индивидуальность и неповторимость его судьбы, о которой худо-бедно мне и хотелось рассказать, извинившись перед читателем за то, что я так далеко ушел от телепередачи о первой советской леди.



Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

ГОРДОСТЬ НАЦИИ ИЛИ ЗНАК БЕДЫ?

С институтских времен я привык гордиться принадлежностью к самому умному и честному российскому сословию. Особенно гордился перед Западом: у них там одни лишь унылые интеллектуалы, а вот у нас и только у нас — интеллигенция. Я даже верил (потом, правда, оказалось, что это не так), что само славное слово изобрел в прошлом веке длинный, скучный, зато высоко-нравственный романист Боборыкин.

Разницу между интеллектуалом и интеллигентом, в полном согласии с традицией, я понимал вот как: интеллектуалу хватает ума и образованности, интеллигенту необходимо еще нечто. Конкретно — совесть. Ум, знания и совесть, непременно совесть, это и будет российская интеллигенция. Интеллигентами у нас всегда называли совестливых.

Первое сомнение в счастливой избранности российских умников у меня зародилось по совершенно конкретному случаю. Как и многих тогда, меня потрясло

дикое в своей непоправимости убийство Джона Кеннеди. Какой-то псих или подонок два раза нажал на крючок, и самый влиятельный человек планеты перестал существовать, а мир очутился на грани хаоса. Но, пожалуй, еще больше меня поразила одна малозаметная деталь: врачебное заключение о характере ран американского президента было подписано ОДНИМ врачом! Всего одним! А где же длинный перечень специалистов всех мастей, начиная с министра здравоохранения и кончая скромной труженицей шприца и клизмы? Один-единственный случайный хирург из ближайшего госпиталя — и все! А если он ошибся, если соврал, если подкупили, запугали, вынудили? Это же не документ, а филькина грамота!

Однако вся печать, в том числе и советская, ссылалась на заключение далласского хирурга как на непреложную истину.

Чем же этот врач заслужил такое доверие? Он что — герой, нестигаемый партизан на допросе? Да нет, самый рядовой интеллектуал. Куда ему до наших бесстрашных интеллигентов! А вот поди ж ты — верят...

Время спустя я понял, почему именно в России сложилась такая замечательная интеллигенция. Почему именно мы такие хорошие.

Вывод получился обескураживающий: мы хорошие, потому что жизнь плохая. Веками в России власть тиранила, чиновники грабили, судьи лукавили, и даже Церковь, славя Бога, служила кесарю. Что при царях, что при генеральных секретарях. Перед всеми этими стервятниками народ был бесправен и беззащитен.

Интеллигенция — это орган, выработанный Россией для собственного спасения. Без добрых и совестливых, без мудрецов и титанов духа, способных за идею взойти на костер, народ был бы обречен на вырождение, а страна на гибель.

В демократическом государстве все иначе: здесь, чтобы говорить правду, вовсе не обязательно быть сме-

лым — достаточно быть умным. В России же, увы, всегда было место подвигу. Не потому ли судьба тысяч образованных россиян так удручающе героична? От Радищева до Сахарова. Не расстрел, так тюрьма, не тюрьма, так ссылка, не ссылка, так травля.

В Америке или Англии достоинство человека защищало множество разных систем, от суда до свободной прессы. В нашем отечестве единственной гарантией от хамского беспредела власти было резкое или робкое, открытое или потаенное, но, отдадим ей должное, постоянное сопротивление интеллигенции.

При всех сложностях отечественной истории российские интеллигенты свою задачу выполнили. Гонимые, судимые, казнимые, Россию они все-таки спасли.

Не потому ли погибла Оттоманская империя, что там не успела сформироваться интеллигенция?

Антитела в крови не достоинство организма, а реакция на заразу. Попав в положение, близкое к российскому, разные страны сразу начинали выработать ту же защитную систему: Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария. Избавились от коммунистов — и где же та интеллигенция? Писатели пишут, киношники снимают, на баррикадах пусто, да и баррикад нет...

Короче, наличие у народа интеллигенции — не свидетельство избранности, а знак беды.

Интеллигенцию винят во всех социальных катаклизмах. Власть мудра, народ безгрешен, и если бы эти умники не мутили воду... Интеллигенты в государстве, как евреи в России, как русские в Латвии, как татары в Узбекистане, как армяне на Кубани, — вроде, и свои, но все же чужие, то ли умные, то ли хитрые, короче, без них спокойнее. Хорошо бы выгнать, да боязно: вдруг авария на фабрике или зуб разболится — тут ведь бегут не к соплеменнику, не к брату по классу, а к специалисту. Вот в Армении патриоты родимой экологии восторженно прихлопнули атомную электростанцию, заодно избавившись от инородных инженеров. А затем последо-

вала драматическая неожиданность: внезапно оказалось, что зимой холодно. Станцию решили восстанавливать, а инженеров звать обратно. Кто посчитает, во что обошлись Армении эти игры?

К сожалению, российские чиновники практически всегда ненавидели интеллигенцию. Как ее только не называли: и «гнилой», и «вшивой»; и «трахнутой». Очень не глупый и хорошо образованный Владимир Ильич даже говорил в сердцах, что интеллигенция не мозг нации, а ее... Завершить цитату мне мешает интеллигентность.

Объяснить эту злобу просто. Власть в России никогда не была выборной, только навязанной. И народ ее, естественно, не любил. Чиновники эту нелюбовь болезненно ощущали, потому и орали на всех углах, что это интеллигенция подучила широкую массу, а вот если бы эту гнилую и вшивую к стенке... «К стенке» пытались все ироды всех времен. Но, репрессировав интеллигенцию, власть лишь ужесточала собственное будущее...

Романовы вешали образованных офицеров, сдавали в солдаты поэтов, закрывали журналы. Кончили тем, что получили временно исполняющих обязанности интеллигенции — большевиков. Сталин в тридцатых планомерно уничтожал интеллигенцию, в том числе армейскую, — страх диктатора за свою кожу обошелся стране в двадцать семь миллионов погибших на войне. Когда террористы захватывают в воздухе самолет, в их власти убить обоих пилотов и бортмеханика. Но тогда придется посадить за штурвал единственного оставшегося в наличии авиатора — стюардессу. Результат предскажем.

Интеллигенция — механизм, позволяющий отслеживать и устранять неполадки в государственной машине. Ленивым и корыстным операторам от нее лишь головная боль.

А без нее — гибель.

Кстати, чем конкретно отличается интеллигент от (употребим термин Солженицына) образованца? Тургенев от Булгарина, Герцен от Каткова, Чехов от Суворина, Мандельштам от Демьяна Бедного, Бердяев от Шульгина, Сахаров от Шафаревича? Размерами дарования? Чистотой совести?

Очевидно, но недоказуемо.

Однако есть, мне кажется, объективный и достаточно ясный критерий.

Для интеллигента высшая мера ценностей на земле — человек. Его счастье, его свобода, его зафиксированные в международных документах неотъемлемые права. Для образованца всегда есть нечто важнее человека. Сословие, конфессия, партия, этнос, государство. Во имя разнородных групповых интересов отдельным человеком образованец, даже умный и талантливый, готов жертвовать. И — жертвует без особых колебаний.

Именно здесь проходит пограничная черта.

Можем ли мы себе представить, чтобы Пушкин, Чехов, Ахматова, Пастернак или Окуджава требовали от властей ужесточить кару инакомыслящим коллегам? Шолохов, к сожалению, требовал.

Строго говоря, Гражданскую войну в России затеяли две группы образованцев, у которых было достаточно сословных, классовых, государственных и даже религиозных идей, оправдывавших и одиночные убийства, и массовые казни. Интеллигентом остался Максимилиан Волошин:

«А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других».

Года полтора назад хороший писатель, в семидесятых высланный из страны и впервые после этого приехавший на родину, похвалил среднего столичного журналиста:

— Смело пишет!

Отвыкший от таких характеристик, я удивился:

— А в чем смелость?

— Как в чем? Здорово врезал власти!

Пришлось объяснять, что нынче даже последний трус ругает тяжело больного Ельцина, точно зная, что тот никогда за это не мстит. А смелость, если и нужна, то лишь для того, чтобы защитить постаревшего льва от ослиных копыт.

Вообще разговоры о смелости пишущей братии сегодня звучат почти пародийно. При диктатуре интеллигенты

писали письма в защиту арестованных литераторов или ученых, и за это им самим грозила тюрьма. Сегодня тележурналисты в двухчасовом прямом эфире защищают право подследственного миллионера слетать на уик-энд в Испанию, и за это им грозит особняк под Москвой, дача в Испании и счет в Швейцарии. А кому-то и не грозит, уже имеют.

Когда в августе девяносто первого в России окончательно рухнула диктатура, интеллигенция растерялась. При коммунистах все было достаточно ясно: в тоталитарной державе интеллигенция может быть только оппозиционной — не поддерживать же ей верхушечную банду! А как действовать в демократической стране?

Возник кризис жанра, который длится до сих пор.

Прежде всего, оказалось, что среди российских интеллигентов остро не хватает интеллектуалов. «Социалистическая экономика», державшаяся на страхе, стремительно разваливалась. А дальше что? Именитые академики один за другим доказывали полную профнепригодность. Россию кое-как удержали над пропастью «завлабы», «мальчики в розовых штанишках» — молодые экономисты, прежде занятые на пятых ролях.

И сегодня ситуация далека от идеала: тех, кто знает, как жить нельзя, полным-полно, и все они, кстати, живут, и живут безбедно. Зато те, кто способен грамотно и убедительно высветить дорогу в будущее, в огромном дефиците.

С огорчением думаю, что нужда в интеллигентах в России исчезнет не скоро: над страной, где каждый четвертый голосует за коммунистов, всегда висит угроза реванша и кровавого хаоса. Однако уже сейчас во всех сферах жизни куда острее нужна интеллигенция. Интеллигенты помогли разрушить тюремный режим диктатуры — за это им вечная слава. Но приблизить Россию по уровню жизни к далеко ушедшим вперед государствам способны только интеллектуалы.

Интеллигенты задают вопросы.
Интеллектуалы на них отвечают.

В последние годы в странах бывшего СССР интеллигенция как служба ума и совести в разной мере присутствует, но потеряла значение и авторитет. Некогда единое культурное пространство разодрано на лоскуты, связи надорваны, встречи редки и даже телефонные звонки не регулярны в силу все возрастающей дороговизны. Более того, сама пресловутая прослойка обнищала, истончилась и уже не в силах держать единый фронт против лукавых чиновников и агрессивных образованцев. В молодых государственных столицах, а отчасти и в Москве на авансцену общественной жизни выскочили деятели, которых лет пять назад даже в порядочный ресторан лакеями не взяли бы.

Что же произошло?

В изданиях, где большевистский серп-молот очерчаниями все больше напоминает свастику, возник и прижился термин: национально ориентированная (или национально мыслящая) интеллигенция. Звучит странно, ибо в принципе можно либо мыслить, либо нет. А мышление с эпитетами... Впрочем, была же при Гитлере арийская физика, а при Сталине партийная медицина, так почему бы рядом с интеллигенцией мыслящей не вылупиться интеллигенции национально мыслящей?

Разумеется, для россиянина заботиться о судьбе России, а белоруса — Беларуси так же естественно, как для американца думать об Америке, японца о Японии и т.д. Однако у нас, говоря о национальной ориентации, имеют в виду иное — ориентацию этническую. Азербайджан для азербайджанцев, Латвия для латышей, Россия для русских, Татарстан для татар и т.п. Так вот в этом понимании термин «национально ориентированный интеллигент» выглядит так же новаторски, как, например, «законопослушный уголовник».

Все это смотрелось забавно, если бы у истока практически всех кровавых этнических конфликтов не стояла как раз эта, «мыслящая национально»...

В эпоху мирного развития, когда действует и уголовный кодекс, и элементарные правила порядочности, репутации создаются десятилетиями, и народ прекрасно знает, кто есть кто. Власть раздает своим холуям целые гирлянды наград, иной многожды лауреат, нацепи он ордена на ошейник, неплохо смотрелся бы даже на собачьей выставке. Однако миллионы россиян знали наизусть стихи не депутата, лауреата, орденосца и даже героя Николая Грибачева, а практически не публиковавшегося Владимира Высоцкого. Образованцы получали свое, то есть деньги, квартиры, дачи и прочее, но были драматически обделены такой малостью, как народная любовь. Увы, этим дефицитом не распоряжалось даже хозуправление ЦК КПСС. Вся казенная печать славилась какого-нибудь Софронова и поносила Окуджаву, но редкие книжки опального барда шли на черном рынке за пятьдесят номиналов, а бесчисленные тома писателя-коммуниста-патриота уценялись до уровня макулатуры, но и тогда не раскупались.

А ведь помимо первой шеренги служителей власти был еще второй, и пятый, и десятый слой образованцев, на все готовых ради куска, однако их очередь значилась в хвосте и могла вообще не дойти до кассы.

Перестройка, превратившая концлагерь в барахолку, дала образованцам из пятого эшелона уникальный шанс показать себя — они и показали. Вся зависть, злоба, грязь, все уродующее душу голодное честолобие выплеснулось наружу на уличных сборищах, на серых полосах желтой прессы. Рядовые переводчики Гамсахурдиа и Друк, малоизвестный музыковед Лансбергис, фотограф Васильев, генерал по хозчасти Стерлигов, кандидаты наук без имени и писатели без читателя скопом рванули в политику, тут же опустив ее до своего уровня. Для рядовых стукачей вдруг стали реальностью депутатские мандаты и даже министерские посты. Тут уж в распыл пошло все, начиная с той самой родины благом и достоинством которой так охотно козыряют ориентированные. Война в Карабахе, в Грузии, в Молдове гибель тысяч людей, горькие волны беженцев не стали для

этнокарьеристов слишком дорогой платой за прыжок через ступеньку. Когда-то национально мысливший Гитлер тотально разрушил Германию, располозовав процветающую страну на четыре оккупационные зоны и заставив каждого десятого немца жизнью заплатить за принадлежность к арийской расе. Сегодня украинские, армянские, латышские, а порой и русские этнопатриоты с геббельсовской степенью достоверно выискивают для собственных этносов все тех же арийских пра-пра. Это не помешательство, даже не оголтелость, просто коммерция: и свастика на рукаве, и усатый портрет на митинге дают хоть грязную, но известность, приобщают к политической тусовке, обеспечивают доступ к газетным полосам и телеящику.

Бунт образованцев третьего сорта направлен не против бывшей власти, не против новой власти, не против инородцев или иноверцев — он нацелен против судьбы, обделившей талантом и славой. В драке за власть образованцам легче, они не обременены принципами и готовы выкинуть любой лозунг, лишь бы помог пробраться к первым креслам в партере, что нередко и удается.

Зато дальше начинаются сложности.

Во всех вновь возникших странах национально ориентированные довольно быстро разваливают экономику, а если их вовремя не остановят, то и государство. Их век — год, его вполне хватает, чтобы народу обрыдла «ориентированная» болтовня. Неизбежная голодуха отвращает от митинговых кумиров, этнические лидеры выметаются из кабинетов, истошно понося еще вчера любимых соотечественников. К сожалению, и краткого срока им хватает, чтобы основательно загадить управляемое пространство, а то и залить его кровью — от этих издержек «национально ориентированного мышления» страховки не существует. А самое горькое и опасное вот что: болезнь эта заразна, как сифилис.

Ну, а дальше что?

Я сомневаюсь, что когда-нибудь будет восстановлено единое политическое пространство бывшей империи — да и нужно ли это?

Мне кажется глупостью не восстановить в разумных пределах единое экономическое пространство, развал которого пошел во вред всем.

И, наконец, в чем полностью убежден — необходимо как можно быстрее восстановить единое нравственное пространство. Для совести не существует административных границ, а там, где нет, совести, не будет ни порядка, ни достатка.

Интеллигенты и интеллектуалы всех стран, объединяйтесь!

Раз уж речь зашла о едином нравственном пространстве, не обойти самую острую проблему сегодняшней России — Чечню.

Я принадлежу к категории граждан, которые права и интересы человека ставят неизмеримо выше прав и интересов государства. Поэтому общие соображения сторонников чеченской независимости никаких возражений у меня не вызывают. Я тоже считаю, что империи должны распадаться по возможности элегантно, то есть бескровно и с достоинством, и что имперские амбиции ничего хорошего народам не сулят. Но когда дело доходит до конкретики — тут, увы, и начинаются разногласия.

Дело в том, что для осуществления идеального принципа нужна идеальная страна, а Россия супернормам явно не соответствует. Какая есть, такая есть. Ситуация в Чечне — лишь особо горький пример российской неидеальности.

Некоторым утешением для нас может служить то, что и прочие империи со своими «занозами» оказались не на высоте. Франция изнурительно и долго воевала в Алжире. Югославия распадалась на редкость кроваво, и конца этой крови пока не видать. В бывших португальских колониях до сих пор воюют. Даже самая рассудительная страна на земле, Англия, где парламенту не восемь лет, как у нас, а восемь веков, сумела цивилизованно развестись с целой кучей колоний — но вот решить проблему Ольстера так и не смогла. А ради

очень далеких и мало кому интересных Фолклендских островов госпожа Тетчер даже ввязалась в войну, унесшую сотни жизней и два миллиарда долларов.

Вообще в мире хватает узлов, которые страны, не менее цивилизованные, чем Россия, не могут ни развязать, ни разрубить. Проблема Квебека в Канаде. Проблема басков в Испании. Проблема курдов в Турции. Проблема тамиллов в Шри Ланке. Проблема сикхов в Индии. А Кашмир, Тибет, Восточный Тимор? Даже в Италии горластые народные вожди время от времени начинают борьбу за освобождение Венеции от гнусного римского ига. Так что вряд ли все наши сегодняшние боли удастся списать на вековую российскую лапотность. И другие не лучше.

Иногда приходится слышать, что будущие историки нынешние события в Чечне назовут всего лишь одним из эпизодов распада российской империи, а сегодняшних либералов, к которым, наверное, и я принадлежу — заурядными носителями имперского сознания. Не исключая, что так оно и будет. В этом случае вынужден с огорчением заявить, что на их оценки мне придется наплевать с седьмого этажа, поскольку именно там находится мое скромное жилище. Прекрасно понимаю: многое виднее издалека. Но боль издалека не почувствуешь. Перечерчивая границы и рисуя новые пятна на карте, История шагает по людям, а их стоны потомкам, в том числе, и историкам, не слышны.

Пять лет назад мне уже приходилось писать о Чечне. Я относился тогда к крохотному меньшинству, считавшему, что чеченский узел куда сложнее, чем кажется, и разбираться в проблеме надо, как минимум, без истерики. Однако донести свою точку зрения до широкого читателя в ту пору было практически невозможно: генеральное мнение требовало немедленно предоставить свободу маленькому, но гордому народу, прочие суждения глушились, как «Голос Америки» при коммунистах. Как известно, свобода была предоставлена, и сугубая лояльность по отношению к режиму Масхадова-Басаева-Радуева-Удугова соблюдалась вплоть до вторжения боевиков в Дагестан и

взрывов жилых домов в Москве и южных регионах России. Затем общественное мнение резко изменилось, политики в преддверии выборов выстроили носы по ветру, и даже самый непримиримый борец с имперским сознанием круто повернул руль: ритуальный танец Григория Явлинского на руинах взорванного дома транслировали все каналы телевидения. Словом, стороны временно пришли к шаткому согласию: конечно, гордый народ заслуживает уважения, но и взорванных ночью детей тоже жалко.

На перекрестке мнений возникло компромиссное предложение воздвигнуть на рубежах Чечни санитарный кордон. То есть вывести федеральные войска на границы мятежной территории или, для большего удобства, на линию Терека, и наглухо отделить республику Ичкерия от прочей России.

Меня санитарная идея решительно не устраивает по двум практическим причинам: она мне кажется, во-первых, глупой, а во-вторых, — подлой.

Любопытно, как именно представляют себе авторы идеи этот самый кордон? Сколько лет он будет существовать: пять, десять, сто? Сколько солдат придется ежедневно и ежечасно держать под ружьем? Сколько из них погибнет от снайперских забав через узкий Терек? И насколько надежен будет этот кордон? От масштабной агрессии он, возможно, хоть как-то предохранит — а от диверсионных групп, которые будут регулярно обучаться на прекрасно оборудованных базах и забрасываться в глубинную Россию то напрямик сквозь кордон, то через смежные страны? Неужели наши миротворцы всерьез полагают, что сразу после создания пресловутого кордона Басаев пойдет пасти овец, а Хаттаб станет зарабатывать на жизнь челночной коммерцией?

Наверное, для безопасности большинства россиян лучшим практическим выходом было бы даже не «отпустить», как нынче выражаются, а вытолкнуть Чечню за государственную границу. Так ведь не получится! Франции было куда проще отделиться от Алжира — между ними не Терек. А России что делать? Выкопать по линии Сочи-Дербент свое Средиземное море?

Драма в том, что Чечня никогда не была экономически самодостаточна. Традиционные набеги горцев на жителей соседней Чечни объяснялись вовсе не врожденной злобностью чеченцев, а тем, что горы кормили плохо. Строгая изоляция Чечни лишит ее жителей хозяйственных связей с центральной Россией и лишь подтолкнет самых энергичных к развитию последнего прибыльного бизнеса: торговле людьми и наркотиками.

У идеи кордона, помимо глупой, есть и подлая сторона.

Ладно, допустим, кордон получится глухой, вроде Великой китайской стены, и страна будет защищена от неприятных неожиданностей. Ну, а по ту сторону санитарной зоны — там кто останется?

Там останутся заложники и рабы в количестве то ли полутора, то ли двух, то ли трех тысяч человек. Непреодолимый рубеж отделит их не только от родины, но и от какой бы то ни было надежды. Плюнем на них во имя безопасности большинства?

Останутся русскоязычные — их, как утверждают, десятки тысяч человек. Выкинем из памяти, чтобы не царапало?

И, наконец, по ту сторону заслона, уже без всякого шанса на нормальную жизнь, останутся чеченцы, подавляющее большинство которых никогда не выражало желания существовать под дулом бандитского автомата. На единственных относительно достоверных выборах в Чечне за умеренного Масхадова проголосовало больше народа, чем за всех басаевых, радуевых, удуговых и Яндарбиевых вместе взятых. Однако реально нынешней Чечней владеют именно эти деятели. Неуверенные обещания Масхадова освободить заложников смешно принимать всерьез: к сожалению, по статусу он сам сегодня не столько президент, сколько заложник, и все, что ему позволено, это назначать своих тюремщиков командующими фронтами. Чтобы вести с ним переговоры, надо сперва выкупить его из плена.

От наших «профессиональных патриотов» иногда приходится слышать, что это не славянское дело, что у нас своих забот полно, и поэтому всех русских надо вывез-

ти, а чеченцев запереть в их горной резервации, и пускай сами разбираются между собой. Меня этот подход совершенно не устраивает, потому что слишком отдаст кондовым расизмом — он исходит из того, что чеченцы не люди. А они, между прочим, не только люди, но и полноправные граждане России, и охранять их интересы обязан российский закон и российский президент. За четыре года фактической чеченской независимости сотни тысяч этнических чеченцев бежали из горной республики, и ведь не от федеральных властей, а, напротив, под защиту федеральных властей.

В отдаленные времена санитарные кордоны создавались по всей Евразии, и цель у них была именно санитарная: вооруженные солдаты изолировали от прочего человечества поселение, зараженное чумой или проказой. Сколько там было больных, а сколько здоровых, не разбирались, всякий, имевший несчастье оказаться в гиблом месте, вычеркивался из мира живых. А теперь нам предлагают удалить из правового пространства всех, кто окажется за санитарной чертой...

Кстати, у нас в этом плане очень горький собственный опыт: после Второй мировой западные демократии как раз и установили вокруг «социалистического лагеря» санитарный кордон, отдав всех, кто внутри, на милость Сталина и компашки. Неужели, избавившись от своего ГУЛАГа, мы выстроим ГУЛАГ для чеченцев?

Боюсь, что нам, как и англичанам с Ольстером, как и туркам с Курдистаном, как и индийцам с Кашмиром, придется примириться с тем, что бывают конфликты не только острые, но и хронические. И нет петушиного слова, которое позволило бы решить их одним махом.

Остается еще проблема психологическая: как быть в этой ситуации российским интеллигентам? Кого защищать? Против чего протестовать? С чем и с кем бороться?

Вот тут сложностей не будет. Поводы для благородного протеста никогда не были в России дефицитом. Чтобы хотя бы минимально уважать себя, порядочным людям придется очень жестко отстаивать человеческое достоинство и гражданские права сотен тысяч чеченцев, раз-

брошенных нынче по всем регионам России. Увы, сегодня даже в солидной печати само слово «чеченец» звучит почти как «бандит», а чтобы усть политического конкурента, достаточно пришить ему знакомство с предпринимателем преступной национальности. У нас вполне цивилизованная Конституция, но порядок на улицах наводит не Конституция, а милиция, готовая объявить газават каждому, у кого акцент и усы. Так что, боюсь, в обозримом будущем совесть российского интеллигента без работы не останется...



Ефим МАНЕВИЧ

БЛЕСК И НИЦЕТА СИОНИЗМА

"Трудно создать государство, но бесконечно труднее сделать его жизнеспособным."

Томас Масарик, первый президент Чехословакии.

Центральная израильская газета «Маарив» сообщила недавно о намерении группы местных интеллектуалов создать «новый Израиль» в другой части света. Эти израильтяне с высшим образованием, во главе с профессором истории из Хайфского университета Михаль Орен, заявили: «Мы не можем жить в этой стране. Мы оставим ее сторонникам ШАС (религиозная партия выходцев из арабских стран), а сами переедем в другую страну, где создадим израильское поселение.» Профессор Орен определяет положение в обществе как «катастрофу».

Почему же потомки еврейских пионеров, осушивших болота, создавших блестящее сельское хозяйство и армию, вышедшие на четвертое место в мире по уровню «высоких технологий», возродившие древний язык, почему они вдруг заявляют, что не могут жить в своей

стране? Почему две трети евреев мира предпочитают любить Израиль издали, жертвовать ему деньги и посылать в кибуцы на лето своих детей, но не спешат поселиться в еврейском государстве? И почему после всех блистательных побед и завоеваний корреспондент газеты «Гаарец» Гидеон Самет пишет о «возвращении безнадежности»? Этот корреспондент вспоминает израильскую шутку времен кризиса 60-х годов о том, что последний израильтянин, покидающий страну, должен не забыть погасить свет в аэропорту Лод. Почти 40 лет спустя этот черный юмор снова стал популярен.

Так что же приключилось с сионистской мечтой?

МЕССИАНСКАЯ ИДЕЯ

Вопреки широко бытующему мнению, сионизм возник не в конце XIX века, а на два с половиной тысячелетия раньше, в период разрушения первого Храма в 586 г. до нашей эры. Живя в Вавилонии в относительном благополучии, иудеи мечтали о возвращении в Сион. К этому периоду относится пророчество Иезекииля: «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». Пророчество сбылось, евреи вернулись в Сион, восстановили свой священный Храм, который был разрушен вторично римлянами в 70 году нашей эры. Раз за разом евреи восставали против римского империализма, пока наконец в 132-135 гг. нашей эры, после подавления восстания Бар-Кохбы, сотни тысяч евреев были истреблены, а соблюдение норм иудейской религии стало настолько невозможным, что большинство иудеев сочли за благо покинуть свою страну.

Тем не менее, жители диаспоры не расставались с мечтой о возвращении в Сион, из года в год повторяя слова молитвы: «В будущем году — в Иерусалиме». И поскольку осуществление этой мечты казалось абсолютно невозможным, сионизм приобрел мистический, мессианский характер. На протяжении почти двух тысячелетий иудеи верили, что наступит день, когда придет Мессия-избавитель и вернет всех евреев в страну завета.

В 1840 г. на Балканах и в Восточной Европе пронесся слух о том, что год пришествия Мессии наступил. Это подтолкнуло к практическим шагам раввина из небольшого местечка вблизи Белграда Иегуду Соломона Алкалая. Он начал открытую пропаганду за переселение всех евреев в Палестину. Следом за Алкалаем эту идею развивал немецкий талмудист Цви Хирш Калишер, который опубликовал книгу, содержавшую предложение о создании сельскохозяйственных поселений в Палестине.

Ортодоксальные раввины Алкалай и Калишер по праву считаются основоположниками современного еврейского национализма, положенного в основу государства Израиль.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИОНИЗМ И ТЕОДОР ГЕРЦЛЬ

Эпоха эмансипации принесла с собой новое движение: политический сионизм. Предтечей политического сионизма был атеист и человек социалистических убеждений Мозес Гесс, опубликовавший в 1862 г. первое классическое произведение политического сионизма «Рим и Иерусалим», которое высказывало все основные идеи движения. Книга Гесса оказала большое влияние на будущих сионистских руководителей: Леона Пинскера, Ахада Гаама и Теодора Герцля.

Теодор Герцль был далек от иудаизма и не испытывал никаких сантиментов в отношении Иерусалима и исторического Израиля. Рассматривая различные способы решения «еврейского вопроса», Герцль записал в своем дневнике, что было бы хорошо вывести всех евреев Вены (где он провел большую часть своей жизни) на улицу и одновременно крестить их.

На Шестом сионистском конгрессе, состоявшемся в 1903 году в Базеле, бушевали страсти. Герцль усиленно проталкивал идею создания еврейского государства в Уганде, что встретило поддержку со стороны представителей западных стран. Вероятно, как и нынешние американские евреи, они вовсе не собирались переселяться в создаваемый ими «еврейский очаг». Они просто «заботились» о евреях Восточной Европы, которые встретили идеи Герцля в штыки.

Герцль, который с такой легкостью принял «План Уганды», отметил в дневнике: «Против Палестины говорит ее близость к России и Европе, ее малые размеры и непривычный климат». Для основоположника политического сионизма двухтысячелетняя мечта евреев о Сионе была не более чем «легенда». Посетив Иерусалим и Стену плача, Герцль не только не проявил никаких эмоций, но и сделал в дневнике несколько записей, не скрывавших его безразличного отворачивания к увиденному.

Проникнутая идеями еврейского национализма, группа студентов-евреев из Харькова создала движение за переселение в Палестину. Первые 15 пионеров основали в 1882 г. поселение вблизи Тель-Авива, послужившее началом Первой Алии («алия» — дословно на иврите означает «восхождение»). Употребляется для обозначения иммиграции евреев в Израиль). Первая Алия не добилась больших успехов: не более 25 000 евреев переселились в Палестину.

Политический сионизм возник как секулярная форма традиционной мессианской идеи. Еврейский мир разделился на две противостоящие группы: религиозную и сионистскую. Абсолютное большинство религиозных евреев встретило сионистов в штыки, и вот двум идеологическим течениям, имеющим диаметрально противоположные цели и идеи, суждено было объединиться в одном государстве, в котором таким образом уже при рождении были посеяно зерно будущего конфликта.

МЕЖДУ МОИСЕЕМ И МАРКСОМ

Фундамент нынешнего Израиля был заложен Второй Алией, прибывшей в Палестину в период 1904-1914 г. Это были, в основном, проникнутые идеями социалистического идеализма выходцы из Российской империи, которых подтолкнули к эмиграции еврейские погромы и провал революции 1905 г. Первоначально еврейские поселенцы в Палестине в большинстве своем были секулярными социалистами, и, как пишет израильский социолог Яков Кац, не было у них и настоящей привязанности

к тому, что ждало их на новой родине. Понятие Святой земли и вера в величие древней родины были для них всего лишь абстрактными идеями...

Даже ярые противники социализма не могут не восхищаться духовным порывом первых поселенцев. Их ожидали тяжелый климат, малярия, тяжкий труд по осушению болот, враждебное арабское окружение, но они были молоды и проникнуты духом социальных преобразований. Идеальный вдохновитель «рабочего сионизма» Нахман Сыркин, утверждал, что сионизм — это не только национальное движение, но и социальный идеал. «Не может быть другого сионизма, кроме социалистического», — провозглашал Сыркин.

Другой теоретик «рабочего сионизма», Бер Борухов, искал пути решения еврейской проблемы и вовсе на путях диалектического материализма.

Основной формой поселения в догосударственный период стал киббуц, — коммунистическое хозяйство, основанное на принципах равенства.

Киббуцников, в основном выходцев из Российской Империи, отличали глубокая вера в идеалы рабочего движения и благоговейное почитание Советского Союза. Даже в 1972 году, в разгар антисемитизма в СССР, когда члены левого социалистического движения «Мапам» составляли треть правительства Израиля, их печатный орган «Мь» провозглашал: «Да, мы считаем себя революционной, марксистской партией и в Октябрьской революции видим начало новой главы в истории человечества».

Но и после развала Советского Союза марксистская пропаганда среди израильской молодежи не прекратилась. В нынешнем году ученики израильских школ получили новый учебник современной истории, в котором провал русской революции объясняется «недостаточной кристаллизацией пролетариата и наличием класса буржуазии», а также тем, что «рабочие и крестьяне были малообразованны и не смогли уяснить сущность коммунистической экономики». В том же учебнике утверждается, что «холодная война» была порождена Америкой, следовавшей «политике экономической экспансии», ко-

торая пропагандирует «свободный рынок, империалистическую политику». На подобной пропаганде воспитывается уже третье поколение израильтян.

Отметим, что в первые годы существования еврейского поселения в Палестине, а затем и в Израиле, социалисты добились существенных успехов. В литературе, кино, искусстве и политике преобладал фетиш рабочего сионизма.

Новых репатриантов из коммунистических стран принимали опрятные старички-киббуцники, которые называли друг друга «товарищ», стоя пели «Интернационал» и жили в коммунах, где министр мог мыть посуду на общественной кухне. Эти люди не могли понять, как это новоприбывшие не любят социализм и резко критикуют Советский Союз.

В течение 29 лет своего безраздельного правления социалисты оставили 92% земли в руках государства. Примерно половина предприятий (и среди них — наиболее крупные) находилась в общественном секторе. Две трети производства валового продукта финансировалось из государственного бюджета.

Рабочий сионизм ставил своей целью создание общества равенства и социальной справедливости. Как и следовало ожидать, реальность оказалась далека от идеала. Старейший израильский журналист Элиягу Амичам заметил по этому поводу:

В капиталистическом или феодальном государстве социальное неравенство возникает, как историческое наследие. Однако можно было надеяться, что в строящейся стране, под руководством бесклассовой гегемонии пролетариата, не возникнет такое резкое социальное неравенство во втором или третьем поколении вновь прибывших.

Израиль, пошедший по пути демократического социализма, пришел к тупику, в котором 400 тысяч граждан жили на уровне нищеты, 10-12 % безработных были выброшены из жизни, тысячи бездомных не могут найти крышу над головой, а молодежь покидает страну в поисках лучшей жизни.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ

С другой стороны, уже на первой стадии современного сионизма родилось движение «Мизрахи», объединившее так называемых религиозных сионистов, которые пытались сочетать свою веру с политическим сионизмом. Первый глава правительства Израиля Давид Бен-Гурион сознательно пошел на сделку с «Мизрахи», сделав иудаизм государственной религией и введя в стране ряд религиозных установлений.

Израиль 72 г., который встретил нас как первых ласточек «пробуждающегося советского еврейства», представлял собой эклектическую смесь демократии и сильного религиозного влияния. Общественный транспорт и торговые центры замирали в субботу. Все вопросы рождения, брака и погребения находились в ведении раввина. Повсеместно соблюдался кашрут (чистота пищи в религиозном представлении), за которым следило зоркое око религиозных инспекторов.

История Израиля знает немало случаев, когда отказывали в регистрации браков и даже в погребении на кладбище гражданам, чье еврейство не выдерживало раввинатских критериев. Недавно в Ливане погиб новый репатриант из России, чья мать не была еврейкой. Солдат был похоронен за пределами еврейского воинского кладбища, как того требует еврейский религиозный закон. Лишь после того, как в стране разразилась буря возмущения, солдат был перезахоронен со всеми подобающими почестями. Зачастую раввины отказывались регистрировать смешанные браки, и израильтяне вынуждены были лететь на Кипр для заключения гражданских браков.

По утверждению раввина неевреи составляют треть новых репатриантов из стран СНГ. Для многих «смешанных» семей приезд в Израиль сопровождается болезненными неувязками. Лена и Саша, чьи фамилии я не хочу называть, прибыли в страну с четырехлетним сыном. После стандартной процедуры в аэропорту Лод семейство получило удостоверение новых репатриантов и направилось на временное жительство в киббуц. Там-

то и обнаружилось, что их сын не был вписан в удостоверение. Лена отправилась в Хайфское отделение министерства абсорбции, где одна на служащих обнаружила, что сын родился через три месяца после заключения брака родителями. Поскольку отец Саши был евреем, а мать «по-матери» — полькой, то от них потребовали доказательства того, что именно Саша является отцом ребенка. Для семьи начались хождения по раввинатским офисам. История эта закончилась в типично израильском духе, и мы еще к ней вернемся.

Случилось то, что неизбежно должно было произойти: возник глубокий конфликт между религиозным характером еврейских законов и секулярным образом жизни, что можно проиллюстрировать хотя бы скандалом, который взбудоражил всю страну. В симпатичном израильском городке Герцлия решено было построить большой торговый комплекс. Мэр Герцлии Яэль Герман настаивала на том, что центр должен быть открыт в субботу, священный день покоя для иудеев. Секулярные лидеры не видели в этом никакой проблемы, ведь центр находится вдалеке от религиозных районов. Для религиозной же части населения субботняя торговля представляет собой страшное кощунство. Перед обществом возникает типичная для сегодняшнего Израиля дилемма: закрытие торговли в субботу нарушает демократические права секулярной и нееврейской части населения. Торговля в субботу входит в противоречие с еврейским характером государства.

В стране существуют две различные системы образования: ортодоксальная и секулярная. В ортодоксальной школе широко используются библейские и раввинатские тексты. В секулярной школе Библия изучается лишь как национальная литература. Евреи в секулярной школе начинают изучать историю с древней Греции. И, естественно, в вопросах сотворения мира и физических законов израильские дети живут в двух несовместимых мирах.

На протяжении первых 29 лет существования еврейского государства рабочий сионизм и религиозные группы строго соблюдали статус-кво. Однако евреи из арабских стран и маспродукция, импортируемая из США, измени-

ли лицо страны. Религиозные группы отказывались считать новых израильтян евреями. Родилась даже поговорка: «Израильтянин — это тот, кто уже не еврей, но еще не араб».

ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ

Ни один из первых глав правительства Израиля, ни его основатель Герцль не верили в существование Бога и считали Библию документом древнего фольклора. Все израильские премьер-министры из стана рабочего сионизма принципиально отвергали религию. В то же время эти сионисты основывали свои притязания на Святую землю на той самой Библии, божественное происхождение которой ими отрицалось.

В рамках, рабочего сионизма нескрываемая цель клерикальных партий состояла в том, чтобы приобрести достаточную политическую силу и быть в состоянии навязать ортодоксальные еврейские законы всему населению. Профессор Тель-Авивского университета Анита Шапира суммирует: .

Исторически сионизм смог уменьшить разрыв между религиозными и секулярными евреями, так как многие религиозные группы воспринимали сионизм как частичное возвращение ассимилированных евреев к истокам... Религиозные евреи в рамках сионистского движения избрали путь кооперации с секулярной группой, чтобы способствовать осуществлению сионистской мечты. Ныне положение совершенно иное. Оба лагеря полярно разделены ...

Первым законом, введенным израильским Кнессетом, стал «Закон о возвращении», самое близкое подобие конституции. По этому закону еврей диаспоры, независимо от места рождения или жительства, может «вернуться» в Израиль с полными правами гражданина. Следуя примеру Советского Союза, хотя и по разным мотивам, Израиль разделил понятие национальности и гражданства. Неевреи могут быть гражданами Израиля, но не могут быть членами нации. Эта привилегия предоставляется только евреям. А в Израиле, как и в Советском

Союзе, многие права вытекали из национальности, а не из гражданства. Таким образом, после развала Советского Союза Израиль оказался единственным государством в мире, предоставляющим некоторым иностранцам привилегии, которые не имеет часть его граждан, родившихся в стране.

Отмена «Закона о возвращении» означала бы конверсию Израиля в двунациональное государство, в котором очень скоро евреи превратятся в этническое меньшинство, и окончательное решение «еврейского вопроса» на этот раз начнется в бывшем еврейском государстве. Не потому ли легендарный израильский генерал и создатель правого блока «Ликуд» Ариэль Шарон отвергает возможность введения в Израиле конституционной демократии:

Механическая адаптация элементарных правил демократии... с предоставлением фактического права голоса арабо-палестинскому национализму вовсе не является демократией. Это близорукость, приходящая в противоречие с историей сионизма и еврейским существованием. Это национальное самоубийство путем предоставления веревки тем, кто может стать висельниками.

Не менее веские доводы приводят и религиозные оппоненты конституции. Они указывают на тот факт, что в Великобритании, Бельгии и Норвегии существует государственная религия. Англия, фактически родоначальница демократического строя, не имеет конституции. «Если мы начнем разрывать связь религии с государством, то в дальнейшем логически необходимым шагом будет отделение национальности от государства. Но если вы не хотите указаний на национальность, то какое право на эту страну имеем все мы, родившиеся в России, и чьи деды и прадеды родились в России?», — задает вопрос израильский журналист Пинхас Полонский.

МЕЧТА, ВОГЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ

Самое большое разочарование постигло «рабочий сионизм» в сфере человеческих отношений. При всей национальной фразеологии отцы-основатели государства не испытывали особого уважения к евреям, прибывавшим в

страну. Амос Элон цитирует Бен-Гуриона: «Мы превратили *человеческую пыль*, (курсив мой. — Е.М.) которая собралась здесь из всех стран мира, в суверенную нацию, занимающую почетное место среди народов». Израильяне постоянно подчеркивали разницу между «новыми евреями» Израиля, с одной стороны, и теми, кого они считают непродуктивной, паразитической, слабой диаспорой. Первое поколение израильян было жестоко разочаровано пассивностью евреев Европы в годы Второй мировой войны, которые шли «как стадо на убой».

Левые сионисты, обуреваемые идеями преобразования общества, считали, что социальное равенство и справедливость приведут к рождению «нового еврея». В глазах основателей государства молодые израильяне должны будут обладать теми положительными качествами, которые традиционно приписываются евреям: готовность помочь ближнему, любовь к учебе, трезвость. Вместе с тем они приобретут то, что из-за дискриминации в диаспоре евреи не могли выработать веками: спонтанность, физическую силу, смелость и любовь к природе.

ЧЕГО ЖЕ ИМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ!

Современное молодое поколение израильян так же далеко от сионистского идеала их отцов, как советский человек был далек от «морального кодекса строителя коммунизма».

Член Кнессета и бывший министр Амон Рубинштейн пишет в своей книге «Быть свободным народом»:

Значительная часть недостатков молодых израильян происходит от глубокой личной связи с небольшой группой — «хевра» (братва — Е.М.), чьей характерной чертой служит лояльность по отношению друг к другу и участие в личной жизни каждого.

Продолжая мысль Рубинштейна, журналист Даниэль Дорон метко назвал израильскую социально-политическую систему «хевреократией». Она формируется главным образом в армии, и поскольку в сражении законы мирного времени не действуют, те, кто называют себя

«хевре», переносят свой воинский стиль в гражданскую жизнь, в которой вопросы решают в обход закона, путем отыскивания нужных контактов и поддержки друзей.

Примером может служить рассказанная выше история новых репатриантов Лены и Саши. Несколько недель они обивали пороги различных учреждений, предъявляли документы, доказывая, что Саша действительно отец ребенка и потому мальчик должен быть записан в удостоверение новых репатриантов, дающее право на получение льгот. Все было напрасно: бюрократическая стена казалась непробиваемой. Вопрос решила в чисто израильском духе их дальняя родственница, которая просто направилась в министерство абсорбции к своей знакомой. А та без всяких проблем в течение пяти минут записала ребенка в удостоверение новых иммигрантов. Причем, сделала она это, даже не спросив никаких документов. Как гласит популярный еврейский афоризм, протекция в Израиле — это путь, следуя которому, каждый гражданин получает то, что ему положено по закону.

По выражению журналиста Даниэля Блоха, израильское руководство является «частью кукольного театра, в котором назначившие сами себя мандарины официальной бюрократии дергают за веревочки». Каждый член «хевери», добившись мало-мальски высокой позиции в обществе, обязан тянуть за собой друзей, предоставляя им должности и льготы. «Хорошие друзья» получают хорошие должности», — с горечью отмечает журналистка Михаль Юдельман.

Даже такой известный борец за гражданские права, как Натан Щаранский, ставший министром внутренних дел, быстро усвоил правила этой игры, попытавшись проташить своего шофера на должность начальника отдела министерства, ведающего выдачей разрешений на ношение оружия.

Такая система сложилась в Израиле в годы безраздельного владычества партии Труда. Известный израильский журналист Эйтан Хабер пишет по этому поводу:

Режим Мапай (партия Труда. — Е.М.) в первые годы существования государства практически не разрешал никому в стране делать что-либо без разрешения — без

«красной книжечки» (члена Гистадрута, Всеизраильского объединения профсоюзов. — Е.М.). Трудно поверить, но невозможно было просто дышать. Режим Мапай избирал своих любимцев — кто станет богачом, а кто останется бедным. Он создал поколение миллионеров, сделавших состояние только потому, что они пользовались расположением руководства. Зачастую одна небольшая бумажка, одна справка тут же превращала людей в миллионеров.

Цитированный выше Даниэль Дорон считает, что «в Израиле трудно заставить людей нести ответственность за свои поступки, поскольку «хевра» не даст в обиду никого из своих членов, даже если он нарушил закон или провалился в своей деятельности.» Министр обороны Моше Даян воровал археологические раритеты, принадлежавшие по закону государству, и даже продавал их с хорошей прибылью. Между 1987 и 1993 гг. бывший президент Израиля Эзер Вейцман получал месячную плату в размере от 3 до 5 тысяч долларов от швейцарского миллионера, из года в год «забывая» заплатить налог с этой суммы. Бывший министр строительства Фуад Бен-Элизер путем несложной махинации с государственными земельными участками превратил в миллионера своего 20-летнего сына, служившего в то время в армии. В этом году бывший и нынешний главы правительства Израиля, президент, бывший министр обороны и лидер третьей по величине фракции в Кнессете одновременно находились под судом или следствием. Известный израильский журналист Исраэль Харель сетует по этому поводу:

В свете обвинений против Нетаниягу, Вейцмана и Барака — даже если полицейские расследования не дадут никакого результата — можно увидеть, до какой степени нормы и идеалы сионистского общества были искалечены и попорны. Представители наших элит — киббуцной (представленной Бараком), буржуазной (Вейцман) и националистической в духе Жаботинского (Нетаниягу) — все разочаровали нас после того, как они достигли вершин власти и влияния, и не смогли пройти элементарный моральный тест на соблюдение тех норм к которым их приучали.

ПОБЕДА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ

Итак, сионизм возник как синтез традиционно-религиозного и современного секулярного течений. На первом этапе, в годы расцвета рабочего сионизма, казалось, что секулярное течение доминирует. В конце 70-х г. положение изменилось. После войны Судного дня 1973 г., когда существование Израиля было поставлено под угрозу, сионизм вступил во вторую фазу. «Гегемония пролетариата» была свергнута, и к власти в стране пришел правый националистический блок «Ликуд», возглавляемый Менахемом Бегиним.

Духовным лидером националистического блока был Зеев (Владимир) Жаботинский. В 1922 г. Англия издала «Белую книгу, согласно которой в Палестину мог эмигрировать лишь еврей, имеющий 2500 долларов, что означало резкое сокращение еврейской иммиграции. Жаботинский не принимал ни английского диктата, ни дряблой политики руководства Палестины, которое почти целиком состояло из членов различных социалистических партий. Он вышел из сионистского руководства и создал отдельный Союз сионистов-ревизионистов. Жаботинский трезво смотрел на создавшееся положение, заявляя: «Невозможно мечтать о добровольном соглашении между нами и арабами...»

Он был глубоко убежден в том, что сионизм морален, то есть справедлив, а справедливость должна быть проведена в жизнь вне зависимости от чьего-либо согласия или несогласия. Если арабы хотят помешать осуществлению еврейских чаяний силой, то нужно им в этом помешать, опять-таки силой. Он вовсе не утверждал, что с арабами невозможно никакое соглашение, но он абсолютно не верил в возможность добровольного соглашения с ними.

«Покуда есть у арабов хоть искра надежды избавиться от нас, — писал Жаботинский, — они этой надежды не продадут ни за какие сладкие слова и ни за какие питательные бутерброды... Живой народ идет на уступки ... только тогда, когда никакой надежды не осталось, когда в железной стене не видно больше ни одной лазейки.»

Жаботинский верил в «гибкость и растяжимость» капиталистического строя. Он не искал решения социальных проблем в социализме и говорил, что верит «не только в прочность буржуазной системы, но и в то, что система эта объективно содержит в себе семена социального идеала...»

Победа Ликуда на выборах 1977 г. стала результатом глубокого разочарования израильского общества в политике партии Труда, состоявшей из выходцев из стран Восточной Европы. Однако к этому времени почти половину населения представлял «второй Израиль» — сефарды, то есть уроженцы арабских и азиатских стран. Это были, в основном, многодетные семьи, ютившиеся в тесных, давно не отремонтированных квартирах, недавние репатрианты, так и не оправившиеся от массовой абсорбции 50-х гг. Они населяли так называемые «города развития», где зачастую трудно было получить работу и не существовало никакой надежды, создав семью, обеспечить ее отдельным жильем. Сефарды глубоко презирали израильские киббуцы, видя в них символ благополучного ашкеназийского социализма, фундаментально противоположного тем традициям, которые привели их в Израиль. В большинстве своем сефарды придерживались религиозных традиций.

Придя к власти, Ликуд приступил к либерализации экономики и попытался освободить ее от гнета Гистадрута — объединения израильских профсоюзов. В годы правления Ликуда широкий размах получило религиозное поселенческое движение «Гуш эмумим» — националистическое объединение, выступающее за территориальную целостность «Великого Израиля». В армии командные позиции, занимаемые ранее преимущественно выходцами из киббуцев, в значительной степени перешли к религиозным евреям. Израиль переживал эпоху религиозного возрождения.

Однако альянс Ликуда с сефардской общиной продолжался недолго. Сефарды создали свою религиозную партию ШАС, ставшую на сегодняшний день третьей по величине фракцией Кнессета. Произошел раскол и в

рабочем движении, которое разделилось на несколько групп. Ни Ликуд, ни партия Труда не могли получить большинство голосов избирателей, и власть в стране несколько раз переходила от одного лагеря к другому. Израильское общество вступило в третью фазу своего развития, называемую «постсионизмом».

ПОСТСИОНИЗМ

В 1980-90-х гг. в Израиль хлынула массовая волна новых этнических групп, в частности, из бывшего Советского Союза. Сионизм для них мало что значил. Израиль не выглядел в их глазах как наилучший выбор. Многие предпочли бы Америку. В Израиль они приехали не потому, что хотели жить еврейской жизнью в своем государстве, а потому, что стремились освободиться от тоталитарной советской системы и воспользоваться лучшими социальными и экономическими возможностями. Среди эмигрантов из советского блока значительную часть составляли неевреи, а происхождение многих, назвавших себя евреями, оспаривалось раввинами.

В тот же период прибыло много иностранных рабочих из Азии. Вместе с нееврейскими гражданами Израиля, которые составляют 20% населения, и атеистами они бросили вызов еврейскому характеру государства.

Нужно отметить, что внутри израильского общества всегда звучала критика израильской внутренней и внешней политики. Однако в середине 80-х гг. возникли новые идеи, известные под названием «постсионизм» и продолжающие набирать силу. Споры вокруг постсионизма отражают кризис самосознания израильского общества. Если ранее национальный консенсус базировался на угрозе существованию страны, то теперь во главу дебатов поставлены общественные и культурные проблемы.

Постсионизм не оформился пока в единое движение или партию. Его идеология базируется на трудах молодых «новых историков» (Бенни Моррис, Илан Паппе, Том

Сегев, Гершон Шафир), социологов (Барух Киммерлинг, Ури Рам) и широкого круга молодых политиков, принадлежащих к левому крылу.

То, что называют «постсионизмом», наверняка не появилось бы без израильской победы в войне 1967 г. Последовавшая за ней оккупация и требования, которые она предъявила молодым израильтянам, служившим в армии, вызвали потрясения в обществе. Именно тогда у молодых израильтян впервые возникли сомнения в моральных ценностях сионизма. Как утверждает один из идеологов постсионизма Бенни Моррис,

«из новых документов становится ясным, что многое из того, что было сказано народу — ученикам в школе и взрослым в газетах, воспоминаниях и исторических трудах, — оказалось в лучшем случае искажением, а зачастую игнорированием фактов и просто ложью.

Приверженцы постсионизма утверждают, что израильтяне не сделали все возможное для установления мира в 1948 г., что палестинские беженцы не покинули добровольно свои дома, а были насильственно изгнаны израильтянами. Они утверждают, что Израиль не справился со своей главной задачей: предоставление убежища для преследуемых евреев всего мира и создание надежного и безопасного места, где могут собраться евреи диаспоры. И, наконец, Израиль не дал своим гражданам возможность жить свободной еврейской жизнью без политической или экономической дискриминации, характерной для еврейского существования в диаспоре.

Итак, второе и третье поколение израильтян все больше сомневалось в справедливости и моральности сионизма. Едва освободив Иерусалим от иорданской оккупации в 1967 г., командующий израильской армии генерал Ицхак Рабин, выступая перед студентами Иерусалимского университета на горе Скопус, признался, что он испытывает неуютное чувство принадлежности к захватнической армии. Весь мир обошла фотография группы израильских солдат, только что с боями прорвавшихся к иерусалимской Стене плача в 1967г. Один из них в порыве восторга водрузил израильский флаг на Храмовой горе, самом святом месте иудаизма. Оказавшийся

поблизости министр обороны Моше Даян немедленно приказал снять флаг.

Длительная оккупация территорий, завоеванных в Шестидневной войне, подрывала основы представления молодежи о сионизме как гуманном и прогрессивном движении. С другой стороны, израильтяне сомневались: даже если Израиль в состоянии предотвратить новую Катастрофу (как это случилось во время войны Судного дня в 1973 г.), не потребовало ли это слишком высокую цену, и, может быть, у евреев есть другие способы уцелеть?

Критик постсионизма Шабтай Тевет в американском журнале «Комментари» обвинил «новых историков» в том, что они «симпатизируют палестинцам и пытаются делегитимизировать сионизм». Другой критик, Исраэль Харель из газеты «Гаарец», назвал постсионизм «убийственным вирусом», более опасным, чем оружие массового уничтожения, разрабатываемого арабскими странами. Харель пишет:

Что за дьявол сидит внутри нас, какой механизм самоуничтожения заставляет нас гнутья в три погибели, чтобы только оправдать арабскую позицию?..

Смертельный яд сомнения постепенно впрыскивали в наши вены с применением хитроумных методов, призванных подорвать нашу уверенность и веру.

Очевидно, сионизм постигла типичная судьба других революционных «измов», рано или поздно достигающих стадии «шпенглеровского упадка». Впечатление таково, что, стоя на пороге заката, сионизм движим неосознанным биологическим инстинктом «самоуничтожения». Именно успех стал подрывать его эффективность, мобилизующую силу. Революционный пыл угас, сионизм превратился в профессию, а его идеалы стали не более чем лозунги в лексиконе бюрократов и политических боссов.

НА ГРАНИ ИУДЕЙСКОЙ ВОЙНЫ

Согласно опросу населения, проведенному в конце 1996 г., у большинства израильтян страх и неприязнь к религиозным ортодоксам сильнее, чем к арабам. Вопреки лозунгам о единстве, в Израиле оказались не один,

а два народа с линией раздела, пролегающей между теми, кто хочет жить по библейским законам, и теми, кого привлекает жизнь в демократическом обществе.

Крайняя секулярная точка зрения была выражена израильским журналистом Зеевом Хефецем, который призвал к территориальному отделению от религиозного Израиля:

Разница настолько очевидна, что фактически мы превратились в два разных народа с общей историей, но не имеющих ныне ни объединяющих факторов, ни единой судьбы... Есть достаточно территорий, населения и ресурсов для двух еврейских государств — Иудеи и Израиля.

Более умеренные взгляды выразились в требованиях новой израильской социолого-исторической школы: «Израиль должен быть нормальным демократическим обществом без специфической еврейской миссии». Следуя их призыву, израильский премьер-министр Эуд Барак недавно объявил о начале «секулярной революции», целью которой станет отделение религии от государства и принятие конституции. Создана и заседает конституционная комиссия, которая должна представить Кнессету соответствующий проект.

В рамках этой «революции» будет отменен субботний запрет на движение транспорта и полеты самолетов государственной авиакомпании «Эль-Аль», на открытие торговых центров. Будет введен статус гражданских браков, заключаемых без участия раввина. В сентябре нынешнего года «Институт Смита» провел опрос для выяснения отношения израильтян к предполагаемым реформам. Полет самолетов по субботам поддержали 64% при 34% возражающих. Примерно такое же соотношение вызвало введение гражданского брака (56% — за и 41% — против). И, наконец, по вопросу об открытии торговых центров в субботу, 53% посчитали это хорошей идеей, тогда как 45% возражали.

Однако для левых кругов реформы, затеянные Барак, недостаточны. Они настаивают на отмене «Закона о возвращении». Не менее радикальное предложение было внесено бывшим государственным контролером Израиля

Мириам Бен-Порат: изменить знаменитый гимн Израиля «Атиква» с тем, чтобы он потерял свой еврейский характер, и арабские граждане тоже могли бы идентифицироваться с гимном страны.

Антирелигиозные позиции всегда были сильны среди секулярной части Израиля, но после убийства Рабина, совершенного религиозным евреем, они перешли в откровенную ненависть к «пейсатым». Отвечая подобным высказываниям, житель Нью-Йорка Гершон Брали пишет в израильскую газету:

«В числе недостатков Израиля вы упоминаете облаченные в черные одежды странные фигуры, которые таинственным образом остановили время где-то в средних веках... В отличие от «странных фигур», есть «нормальные» люди, передовые и культурные, но именно из их среды вышли убийцы, уничтожившие шесть тысяч евреев... Я хочу закончить обращением к сионистам-ветеранам: посмотрите, кого вы вырастили. В свое время вы внушали молодежи, что еврейство — это темное пятно в истории человечества и что Тора нужна была лишь в диаспоре, и она не нужна свободному народу, живущему в своей стране. Но все ваши надежды не оправдались, и вот вам результат: ненависть и презрение и к еврейству, и к родине».

На самом деле шансы на осуществление «секулярной революции» в Израиле минимальны, и немногие принимают их всерьез. Проведя опрос населения, блок рабочих партий обнаружил, что осуществление реформ Барака приведет к потере 8 из нынешних 23 депутатских мандатов. Религиозный депутат Моше Гафни прокомментировал ситуацию едким вопросом: «Кто может серьезно воспринимать социальную программу Барака, если он не имеет достаточно голосов даже для изменения меню в кафетерии Кнессета?»

Наиболее широкую поддержку «секулярная революция» Барака нашла среди почти миллиона репатриантов из СНГ, в составе которых 250 тысяч членов смешанных семей.

Если секулярные израильтяне заняли выжидательную позицию, то религиозные группы готовы к актив-

ной борьбе. В недавнем опросе абсолютное большинство движения «Гуш Эмумим» решительно поддержало тезис о том, что «уход из Иудеи и Самарии подчинен религиозному принципу: «еврей должен пожертвовать жизнью», (чтобы не допустить управления этими областями неевреями — Е.М.). Могут начаться серьезные социальные потрясения, может быть, даже гражданская война, если израильское правительство попытается ликвидировать поселения «Гуш Эмумим» в Иудее и Самарии.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Идейный разброд, воцарившийся ныне в Израиле, вызывает глубокое недоумение и тревогу у евреев Диаспоры. Выступая в Иерусалиме, председатель Всемирной Сионистской Организации (ВСО) Салай Меридор подчеркнул:

Мы подошли к историческому перепутью. Об этом свидетельствует и появление новых концепций в университетской среде, и изменения в школьных программах, и характер законопроектов, выдвигаемых на обсуждение Кнессета, и общественная реакция на постановления Верховного суда, а также интерпретация этих постановлений. На этом перекрестке истории нам предлагают отказаться от сионизма, как будто он являлся всего лишь платформой для построения государства, и теперь, после его создания, сионистские структуры могут быть ликвидированы, а государство продолжит свое существование вне всякой связи с еврейским народом и сионизмом.

ВСО намерена развернуть кампанию, с целью «обеспечения будущего Израиля как еврейского и демократического государства». Это — старая песня: на протяжении 52 лет своего существования Израиль пытался совместить эти два понятия и зашел в идеологический тупик.

Ныне примерно 50% евреев в Израиле принадлежат к правому, националистическому лагерю, а 35% представляют «рабочий сионизм». Таким образом, левое израильское правительство, чтобы удержаться у власти,

вынуждено опираться на голоса 15% арабов — граждан страны, которые вовсе не заинтересованы в сохранении ее еврейского характера.

Сегодня, как никогда, демократия находится в остром противоречии с основами еврейского государства. Израиль вступает в самую важную и драматическую часть своей истории. Создав государство и добившись выдающихся успехов в сельском хозяйстве, науке, экономике, технологии и военном деле, Израиль неожиданно оказался ослабленным идеологически и морально. Комбинация израильской усталости и арабского упорства заставляет с тревогой смотреть в будущее.

Термин «ассимиляция» представляет собой бранное слово в сионистском словаре. В нем заключена угроза еврейскому существованию, спасаясь от которой евреи всего мира должны спешить в Израиль. Но большинство израильтян, отвергающих иудаизм, не замечают, в какой степени сами они ассимилируются. Их дедам в разных странах мира не удалась личная ассимиляция среди других народов. Теперь же внуки, родившиеся в Израиле или съехавшиеся сюда, стремятся ассимилироваться коллективно, всем государством.

Американский автор книги «Переоценка Сиона» Яков Петуховский пишет:

Иудаизм существовал два тысячелетия без государства Израиль, и, вероятно, он сможет пережить это снова. Однако будет невероятно горько, если все человеческие жертвы, усилия, энергия и ресурсы, затраченные на строительство государства Израиль, послужили лишь созданию еще одной временной концентрации евреев, которые возникали в ходе еврейской истории, теряли свою связь с иудаизмом и атрофировались.

Ныне такая возможность существует. Но есть и другая возможность: возврат к первоначальной сионистской доктрине, которая стремилась к созданию в Палестине не просто еще одного демократического государства, а еврейского государства, призванного впитать в себя одновременно древние иудейские принципы социальной справедливости и лучшие традиции современного гуманизма.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Эта статья была завершена в разгар так называемого «мирного процесса», когда казалось, что до подписания исторического израильско-арабского соглашения рукой подать. Можно долго рассуждать о причинах вновь вспыхнувших в Палестине кровопролитных вспышек между арабами и евреями, в любой момент грозящих перерасти в полномасштабную войну. Однако, в первую очередь, нынешние события в Израиле есть прямое и логическое следствие постсионизма.

Всего лишь пару месяцев назад израильский премьер-министр затеял «секулярную революцию», призванную, в частности, уравнивать в своих правах мусульман и евреев. Реакция другой стороны не замедлила последовать. На следующий день после линчевания двух израильтян арабской толпой в Рамалле тамошний духовный мусульманский лидер шейх Ахмад Халабайя произнес пламенную речь, обращенную к своей пастве: «Не щадите евреев, где бы они не находились, в любой стране. Убивайте их повсюду. Где бы вы не жили, убивайте евреев и американцев, подобных им». Наивно предполагать, что бывший начальник генштаба, боевой генерал Барак, не знал об истинных намерениях противника и не подозревал, каких масштабов достигла ненависть арабов. Почему же он с закрытыми глазами вел свой народ к катастрофе, ставшей очевидной в нынешних условиях?

Все дело в том, что Барак и его окружение представляют собой продукт постсионистской системы воспитания. Как считает израильский журналист Йонатан Розенблюм, «Израиль стал первой страной в истории, которая систематически учила и учит свою молодежь не идентифицировать себя со своей страной и народом... Если мы потеряли любовь к своей земле, это не значит, что другой народ тоже утратил ее. Потеряв ощущение принадлежности к народу, мы не можем уяснить, что другой народ не поступит также.»

На большом Семисвечии, установленном вблизи ворот Кнессета в Иерусалиме, начертаны слова пророка Захарии: «Не воинством и силою, а духом моим.» Сегодняшний Израиль обладает мощным оружием и большими средствами, но он подавлен морально. У палестинских арабов нет практических никаких средств, но, следует признать, они переживают духовный подъем. И уже много раз история давала нам пример того, что побеждает не тот, кто силен, а тот, кто преисполнен духовной силой и верит в свою моральную правоту.

ОБ ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ

В редакцию журнала «Время и мы»

Уважаемые господа!

Передаю вам для возможного опубликования рукопись Анны Берзиной «Воспоминания о Сергее Есенине», написанную в 50-е годы.

Коротко о том, как эта рукопись попала ко мне. В книге Риты Корн (подлинное имя — Рита Эммануиловна Корнблум) «Друзья мои» (Москва, Советский писатель, 1986 г.) на стр. 25-26 говорится об Анне Берзиной. Из книги мы узнаем, что Анна Абрамовна Берзина была женой знаменитого Берзина (по всей видимости, речь идет о первом начальнике военной разведки Красной Армии Яне Берзине), а после его ареста и смерти ее спутником жизни в конце 30-х годов стал известный польский писатель Бруно Ясенский, живший в то время в СССР. Сама Анна Берзина работала в журнале «Иностранная литература».

Я в течение многих лет был близко знаком с Ритой Эммануиловной, вдовой драматурга В. В. Киршона, в гостях у которой я несколько раз видел Анну Берзину после ее возвращения из заключения в 1955 или 1956 году. В 1951-1953 гг. я проходил срочную службу в рядах Советской Армии, где познакомился с младшим сыном Киршона — Владимиром, а после демобилизации стал частым гостем у его матери — Р. Э. Корнблум.

Анна Берзина была арестована и осуждена вскоре после ареста Бруно Ясенского и провела в заключении 18 лет. От Анны Берзиной я, в частности, слышал, что рукопись незавершенной книги Бруно Ясенского «Заговор равнодушных» сохранила ее мать, спрятав рукопись в потаенном месте. По возвращении из заключения и полной реабилитации Анна Берзина передала рукопись в «Новый мир», в котором она и была впервые опубликована.

Сама Анна Берзина написала воспоминания о Сергее Есенине, с которым она, по ее словам, была близко знакома в последние годы его жизни. Опубликовать свои воспоминания ей не удалось. Незадолго до смерти она передала рукопись своих воспоминаний Рите Эммануиловне Корнблум, а та, в свою очередь, передала на хранение рукопись мне с надеждой когда-нибудь ее опубликовать. И вот теперь, спустя сорок лет после написания рукописи, я, выполняя волю двух ушедших из жизни женщин трагической судьбы, делаю попытку опубликовать рукопись Анны Берзиной, обратившись в ваш журнал.

С уважением В.И.Каганов

ЕСЕНИН, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛА

Из записок Анны БЕРЗИНОЙ

Предлагаемые читателям воспоминания о Сергее Есенине, возможно, вызовут у некоторых чувство разочарования. Зачем сегодня, на исходе второго тысячелетия, описывать в столь черных красках жизнь великого русского поэта? Кому нужны эти бесконечные сцены есенинских загулов и пьянства? Неужто только это мы можем сказать о человеке, кто и по сей день является гордостью русской поэзии? Все зависит от нашего подхода к истории и русской литературе и к жизни ее великих мастеров.

Если мы хотим представить эту историю в потоках приторного еля, в виде неких бесконфликтных розовых картин и полотен, тогда нам нужен другой Есенин — рыцарь без страха и упрека, каким во все времена пыталась представить его советская литература. Бесконечными раглагольствованиями о его служении народу соцреализм на каждом шагу требовал ненавистной поэту лжи, не имеющей, в сущности, ни малейшего отношения к живому Есенину. Но если уж мы хотим знать о поэте всю правду или почти всю правду, то обязаны показать его жизнь такой, какой она была в действительности, среди бесконечной грязи, окутавшей непмановскую Россию, среди послереволюционной разрухи, среди рожденного коммунизмом неверия, среди повсеместной горечи и пессимизма, а это значило показать его кошмарный быт, его метания и бесконечные поиски себя, его тяжкие трагические будни, и что особенно важно — его тяжкую, съедающую его болезнь, которая и подвела его к могиле. Так вот, предлагаемые воспоминания, несмотря на всю всю их неполноту и несовершенство, приближают нас к пониманию именно такого, «живого Сережи Есенина», трагического, мятущегося, тяжело больного и, несмотря на все это, поистине великого — ив своей печали и в своей светлой любви к России.

СТОЙЛО ПЕГАСА

Приходилось ли вам терять своих близких, а потом, спустя много лет, вдруг отчетливо услышать голос ушедшего. И так ясно, со всеми привычными интонациями, с упреком, усмешкой, лаской... О, как этот голос живо напомнит вам все, что вы утратили. И вот встанет перед вами и сам человек, и все, что он делал, и вспомнишь свое отношение к этому человеку, вспомнишь ту, давно ушедшую минуту.

Ты вновь увидишь воочию свою молодость, обретешь свои силы, радость, уверенность и опять, как прежде, почувствуешь себя полным сил. Тогда хочется продлить эти отошедшие в прошлое минуты, и тогда хочется вспоминать, плакать и смеяться, чтобы, насладиться минувшим на какое-то время...

Сейчас трудно рассказать о том, когда и как я поняла, что на моем пути встретился замечательный поэт. Всегда казалось, что я не очень люблю поэзию и плохо в ней разбираюсь, однако стихи Сергея Александровича запоминались сразу, без видимых усилий.

Было уже не смешно, что Сергей Есенин носит цилиндр, что он любит «выражаться», что он уже потерял нелепый свой облик, в своем пустопорожном, почти маскарадном костюме. Не замечаешь смешные, претенциозные стороны, не раздражают его причуды. Ему хочется — и пусть. Ему доставляет удовольствие такой маскарад — пусть рядится, он доволен, и это главное.

Улыбка у Есенина была светлая, притягательная, а смех — детский, заразительный. Когда Сергей Александрович смеялся, окружающим хотелось мягко и нежно улыбаться, будто глядишь на проказы милого и счастливого ребенка.

Он сам больше всех радовался всяким выдумкам и незатейливым анекдотам, которыми он широко делился с каждым. Нет, он не был надоедлив, а просто весел и в своей веселости щедрим.

Надо точно припомнить, как началась влюбленность в него, как постепенно, утрачивая нежность, радость, она переходила в другое, более сильное чувство.

В мою жизнь прочно вошла вся прозаическая и тяжелая, изнаночная сторона жизни Сергея Александровича. О ней надо подробно и просто рассказать так, чтобы стало ясно, как из женщины, увлеченной молодым поэтом, быстро минувя влюбленность, я стала его товарищем и опекуном, на долю которого досталось много нерадостных минут, особенно в последние годы его жизни. Это очень трудно, и большая ответственность ложится на мои, не очень теперь сильные плечи. Но будем надеяться, что во время работы над рукописью, хоть изредка, пусть на мгновение, прозвучат его голос и смех, и это видение воскресит ушедшее.

На Тверской, между Большим и Малым Гнездиновскими переулками, открылось кафе «Стойло Пегаса». Организаторами и владельцами являлась группа поэтов-имажинистов, во главе которой был Сергей Есенин.

Москва времен нэпа ничуть не была похожа на старую, дореволюционную Москву и не была похожа на город, который мы оставляли в 18-м году, уезжая на Восточный фронт.

Надо сказать, что Москва никогда чистотой не отличалась, а в те годы она была засыпана подсолнечной шелухой, какими-то бумажками, просто мусором, в котором преобладала чешуя и шкурки от сухой воблы. Дома выглядели неряшливо, многие подъезды были забиты досками и фанерой. По центральным улицам стадами бродили разряженные люди, в которых никто и никогда не признал бы москвичей.

Именно разряженные, потому что чувствовалось, что весь их туалет выставляется напоказ, чтобы все

видели, скажем, меховое манто и столь же дорогие туфли, даже серьги, большие и блестящие, казались вынутыми из чужих ушей и надетыми на себя, чтобы не украшать, а блеснуть и лезть в глаза. Прежде такие серьги надевали в театр, на вечер, тщательно подбирали к соответствующему платью и прическе, стильному туалету. Даже эта мелочь была в глаза, раздражала, удивляла безвкусицей, будто человек надел на себя все, что ломилось в его гардеробе. Одевание такое выглядело пестрым и разобщенным, носило случайный характер. По Москве разгуливали кричащие, гротескные фигуры. Позже мы видели очень удачное их изображение в театре В. Э. Мейерхольда.

По вечерам открывались рестораны и кафе: почти на каждой улице были свои «Чашки чая». В этих заведениях подвизались незадачливые и постаревшие актрисы и просто «актрисочки» девушки непременно из «бывших хороших семейств», будто хорошее переставало быть хорошим после революции. (Мне до сих пор не удалось постичь слово «бывшие» применительно к понятиям хороший и большой. До сих пор мы слышим: «бывший большой человек», или «бывшая хорошая семья», разве от того или иного события настоящий «большой человек» перестает им быть, или настоящая хорошая семья становится плохой?)

И было в этой толпе такое, от чего просто хотелось плакать, — эта их речь, разговор. Тогда начали коверкать наш милый московский говор. Эти дикари, играющие в культурных людей, будто только овладевали языком нашей страны, вводя в свой лексикон хлесткие и какие-то наглые, пошлые слова: «шамать», «бузить», «на большой», «чинарики»... (Отсюда, я думаю, и выросли убудки — слова, ничего не означающие, современные, излюбленные словечки нашей модной молодежи.)

Мне лично современные стилиаги чем-то напоминают оравы тогдашних нэпманов. По Тверской тяжело, постариковски, тянут ноги наглые молодые люди обоюго пола с пустыми, бесцветными глазами, с чувствами и

мыслями стариков, и потому они особенно омерзительны на широких проспектах нашей столицы.

Жили мы тогда в Б.Грездниковском переулке, в большом, самом высоком доме, на шестом этаже. В подвале этого дома помещался театр Балиева «Летучая мышь», а позже на основе этого театра зародился советский театр сатиры. Мы были частыми посетителями этого театра и дружили с некоторыми актерами, в частности, с Иваном Зениным. Непринужденность и милая внешность, простота Ивана Ивановича Зенина делали его приятным гостем и товарищем, а молодость его позволяла называть его просто «Ванечка».

В один из вечеров, после спектакля Иван Иванович предложил пойти в кафе «Стойло Пегаса». Перед глазами тотчас выросли Есенин и Мариенгоф. Оба, по неизвестной никому причине, ходили по Тверской и прилегавшим к ней переулкам в цилиндрах, Есенин даже в вечерней накидке, в лакированных туфлях. Белые шарфы подчеркивали их нелепо бальный вид. Оба молодых человека будто не понимали как неестественно и нелепо они выглядят на плохо освещенных, заваленных мусором улицах, такие одинокие в своем франтовстве, смешные в своих претензиях на светскую жизнь, явно подражая каким-то столь же нелепым литературным героям французских романов. Есенин ходил слегка опустив голову, цилиндр не шел к его кудрявым волосам, к мелким, женственным чертам его лица.

Представив себе эту пару, почему-то идти в «Стойло Пегаса» не хотелось, но Ванечка уговаривал так великолепно, так дивно, читал незнакомые стихи, что пришлось согласиться — благо «Стойло Пегаса» помещалось за углом, и через пять минут мы уже сидели за одним из его столиков. Народу было много. В левом углу, наискось от входной двери, была ложа имажинистов, просто-напросто угловой диван, перед ним красовался огромных размеров стол, кажется, круглый, а напротив возвышалась небольшая эстрада.

В ложе сидели Мариенгоф, Есенин, Шершеневич и пышноволосяя молодая женщина. Столы обходил официант с листом бумаги, на котором все присутствующие расписывались.

Официант положил список перец Зениным, Иван Иванович что-то написал на нем и вернул листок. Официант, взяв его, направился к другому столику, но Есенин, поднявшись с дивана, остановил его, взял у него листок, просмотрел его, потом вернул и подошел к нашему столику.

— Что же вы, Ванечка, не познакомили меня с вашей женой? — обратился он к Зенину.

Зенин смутился, это же он, шутки ради или просто не желая назвать мою фамилию и зная мое отрицательное отношение к устроителям «Стойла Пегаса», написал на листке «супруги Зенины». Все это выяснилось чуть позже, а тут я, естественно, вспыхнула и очень резко ответила:

— Во-первых, не супруги, во-вторых, меня удивляет ваша бесцеремонность, вы подходите к столу, куда вас вовсе не приглашали!

Есенин удивленно посмотрел на меня и, отступая к ложе, стал снова и снова извиняться.

— Простите, простите, пожалуйста.

Зенина задела моя резкость, и он стал всем своим видом доказывать, что во всем виноват он. Это его глупая шутка послужила поводом к такому неприятному инциденту, и предложил подняться и уйти из кафе. Но уж тут заупрямилась я:

— Разве это все, что показывают в этом кафе?

За соседними столиками никто не обращал на происходящее внимания. Разговаривали мы тихо, а в кафе стоял гул. Все столики были уже заняты, в дверях толпились опоздавшие.

Зенин насупился, разговор у нас с Иваном Ивановичем не клеился. Мне оставалось только рассматривать публику, очень разношерстную и как всегда крикливо одетую.

На эстраду поднялся Шершеневич и объявил, что у Есенина болит горло, и потому его стихи будет читать артист Камерного театра по фамилии, кажется, Юдин. На подмостки легко взбежал худощавый, темноволосый человек и стал читать Есенинскую «Исповедь хулигана». С первых же слов стихи понравились, мне было странно, что их написал этот бледнолицый, синеглазый человек, который покусывал довольно красивые, тонкие губы и, чуть прищурившись, искоса посматривал в нашу сторону.

Когда Юдин кончил читать, я прямо посмотрела в глаза Есенина, спрашивая взглядом:

— Неужели это написали вы?

Он улыбнулся и кивнул головой. Меня это удивило и почему-то расстроило. Было жалко, что я обидела этого большого ребенка, который пишет такие душевные и чистые стихи.

Конца вечера мы дожидаться не стали и вышли из кафе. Зенин всю дорогу молчал, и хоть путь был очень короток, молчание его было как-то непривычно.

На другой день с утра, потом на работе, а позже, возвращаясь из Госиздата и проходя мимо кафе, я очень остро ощущала недовольство собой и сожалела о своем поведении.

К вечеру решила, что непременно, вместе с Иваном Ивановичем пойду в кафе и постараюсь загладить происшедшее. Но, к удивлению, Ванечка наотрез отказался со мной идти. Куда угодно, только не туда!

И вот вечером, сидя дома, я все же решила отправиться в «Стойло Пегаса», а так как одной было неудобно, пригласила по телефону мою знакомую, которая обычно готова была пойти со мной куда угодно. Я ей не стала объяснять, почему я хочу пойти именно туда.

В кафе мы пришли раньше, чтобы занять удобный столик в углу, откуда хорошо была видна ложа, но сами как раз оказались у всех на виду. Публика валила и валила, уже заняты были все места, а

Есенин все не появлялся. Но вот и он в компании с неизменными Мариенгофом, Шершеневичем и незнакомыми молодыми людьми, которые расположились рядом с ним в ложе.

Кто и что читал в этот вечер, я совершенно не помню. Помню только, что Есенин не выступал. К концу вечера я попросила Ольгу, свою спутницу, подойти к Сергею Александровичу и сказать, что его просят к столику в углу. Ольга, несколько растерявшись от неожиданного поручения, все же храбро отправилась в сторону ложи и в сопровождении Есенина приближалась ко мне. Разобравшись, куда она ведет его, он вдруг остановился, нахмурился, что-то пробурчал и отправился назад к ложе.

Ольга с пылающими щеками села за столик и сказала:

— Он велел передать, что никогда и ни за что с вами знакомиться не станет.

Мы вышли из кафе. Накрапывал дождь. Ольга, усмехаясь, сказала:

— Так вам и надо. Очень уж вы самоуверенны. Так вот все, по первому вашему зову, с готовностью побегут знакомиться с вами!... Молодец Есенин, право слово, молодец!

У меня и без того было скверно на душе, а тут она со своими назиданиями.

— Вы ничего не знаете, Ольга, и молчите.

— Пусть не знаю, а все равно он молодчина.

— Хорошо! Идите, Ольга, ко мне домой. Вот вам ключи, и готовьте кофе. Я сейчас приду с Есениным.

Почему я в этом была уверена, до сих пор не знаю, но я повернулась от Ольги и решительно отправилась назад в кафе. Заходить туда еще раз не хотелось, ждать кого-то было не в моем характере. Я обошла дом кругом и, завернув в переулок, вошла в темный, совсем незнакомый двор. Придерживаясь правой стороны, старательно выбирая дорогу, почти ощупью пошла по двору. Задняя дверь кафе светилась тусклой лампочкой, но шум, доносившийся из открытой двери, показывал,

что я у цели. Войдя в тесный коридор, я сделала несколько шагов и столкнулась с уставшим официантом, который фанеркой обмахивал разгоряченное лицо.

— Позовите сюда Сергея Александровича, — настоятельно попросила я.

Официант, видимо, привыкший, что поклонницы вызывают поэтов таким именно образом, пошел выполнять поручение.

Сергей Александрович, вялый, щуря глаза, вошел в полутемный коридорчик и спросил:

— Кто меня спрашивает?

Я шагнула к нему. Он попятился:

— Я же сказал, что никогда с вами знакомиться не буду...

Уж не помню, какими словами выражала я свое негодование, мне казалось, что он меня смертельно обидел. Одно точно помню, как, захлебываясь от гнева, сказала, какое отвратительное впечатление он на меня произвел. Сказала, что Зенин пошутил, а я обиделась и на Зенина, и на него, Есенина, и наконец сказала, что мне понравились его стихи и захотелось исправить свое грубое, нетактичное поведение. И вдруг наталкиваюсь на встречную грубость и непонимание. Ну что же, пусть! Значит, действительно никогда не познакомимся и не подружимся.

Я резко повернулась и вышла на темный двор под усилившийся за это время дождь. У меня горели уши, такая злость и обида охватила меня, что я ничего не видела и ничего не слышала. Мне кажется, что я просто бежала по Тверской. Недоуменные взгляды встречных прохожих заставили меня идти медленнее, и тут только я услышала голос Есенина:

— Пойдите, куда же вы?

Он торопливо, почти бежал за мной без пальто и шляпы, прямо по лужам, не разбирая дороги. Поравнялся и пошел рядом, что-то говорил, но я не разбирала слов, а потому ничего не отвечала.

Но вот и наш дом. Я вошла в вестибюль, Есенин шел за мной. Дежурившая в подъезде женщина

удивленно проводила нас взглядом. Было уже поздно, лифт не работал, и мы молча поднимались на шестой этаж.

Ольга, услышав звонок, открыла дверь, посмотрела на Есенина и разочарованно проговорила:

— Все-таки пришли?

Не помню точно, как завязался разговор, как пили кофе, помню только, что мы с Ольгой сидели в одном большом кресле и слушали Сергея Александровича. Он едва слышно, легкими шагами ходил по комнате, останавливался перед нами и читал, до утра читал свои стихи, И серый рассвет, лениво входивший в огромное окно, увидел двух молодых зачарованных стихами женщин и побледневшего, вдохновенного поэта, которого смущала маленькая аудитория, распахнувшая сердца этим необыкновенно светлым, искренним, исполненным нежности стихам.

Вот так я познакомилась с Сергеем Александровичем Есениным.

ВСТРЕЧИ

В молодости люди обычно начинают дружить с первого слова, с первого взгляда, с первого знакомства, но я не могу этого сказать о наших дальнейших отношениях с Есениным. Много было таких моментов, которые мешали нам подружиться.

Встречалась я в то время, главным образом, с военной публикой, хоть фронт и перестал существовать, но спайка осталась. И все, почти все, за редким исключением, фронтовые товарищи, признавая Сергея Александровича хорошим поэтом, резко отрицательно относились к кафе «Стойло Пегаса». Дома у нас Сергей Александрович держал себя неуверенно. Его отпугивала, видимо, внешняя суровость и подтянутость некоторых товарищей из военной среды. В те месяцы мы видели его только в те дни, когда заходила я вечерами в «Стойло Пегаса». Тогда Сергей Александрович непременно шел меня провожать, независимо

от того, что приходила я в кафе не одна. Мы гуляли по московским переулкам, если была хорошая погода и, всякий раз у подъезда дома он непременно говорил:

— Мы очень редко видимся. Приходите почаще!

Но все резко изменилось, когда мои родители и дети, (которые еще по старинке жили у бабушки с бабушкой) из деревни переехали жить в Москву.

Мы перебрались на самый верхний этаж, где была большая квартира, и вот уже в эту квартиру Сергей Александрович зачастил. Он сразу стал проще, милее и интереснее. У моей матери, большой любительницы старинных русских песен, и у Есенина нашлось много общего, они могли петь часами, причем Сергей Александрович пел самозабвенно, прикрыв глаза.

В это время я из ВСНХ перешла работать редактором в Гослитиздат. Очень часто, возвращаясь с работы, слышала еще у лифта, что в нашей квартире поют. Это значило, что в гостях у нас Сергей Александрович. Он обычно устраивался на полу, на маленьком коврикe, прислонившись спиной к шкафу, а мать сидела в кресле. Мое появление их мало смущало. Правда, иногда Сергей Александрович, словно очнувшись, говорил, что уже он и так засиделся и торопился куда-то уйти.

Не помню ни одного его визита, когда бы он появился в нетрезвом виде. Мне даже казалось тогда, что слухи о его пьянстве и скандалах сильно преувеличены.

Несколько раз я ссорилась с друзьями, которые очень резко и, как мне тогда казалось, понаслышке (верили досужим сплетням больше, чем мне) утверждали, что Есенин — пьяница и дебошир.

Сергей Александрович в это время заканчивал «Пугачева» и, наконец, сдал в печать. Его рассердило, когда я заметила, что Записки пугачевского бунта А.С.Пушкина послужили ему основанием и, пожалуй, единственным материалом к написанию этой поэмы.

Сергей Александрович встал из-за стола и ушел, холодно простившись со мной. Тем не менее на другой день, днем он пришел в Госиздат и усиленно настаивал

на том, что хочет познакомить меня со всей своей компанией из «Стояла Пегаса». Зная его обидчивость, я сказала, что непременно вечером приду в их кафе, твердо решив туда не заходить. И вдруг Сергей Александрович пропал. Я не видела его неделю, затем вторую. Не помню кто-то сказал мне в Госиздате, что Есенин много пьет в компании с Айседорой Дункан. Я отмахнулась от этих слухов не придавая им значения. Но вот появился «Пугачев» отдельным изданием и, проходя по Никитской мимо магазина, в котором продавалась книга (она вышла в «Товариществе поэтов», был такой дутый кооператив), я зашла, чтобы ее купить. Около прилавка стоял Есенин, перед ним лежало несколько экземпляров «Пугачева». Он взял книжку и, снабдив очень теплой надписью, передал мне. Мы вышли из магазина вместе, он был рассеян, несобран, словно что-то забыл. Таким я его видела только тогда, один-единственный раз. Уже у нашего дома он неожиданно сказал:

— Я, кажется, уезжаю!

Что-то поразило меня в этой обычной фразе, то ли тон, каким это было сказано, то ли вид Есенина.

— Надолго?

— Не знаю. Я ничего еще не знаю.

Он как-то торопливо простился и ушел, будто совсем малознакомый человек. Я смотрела ему вслед. Он оглянулся, остановился, вдруг заулыбался и приветливо помахал рукой.

И опять как в воду канул. Я решила, что вечером непременно пойду в кафе поэтов.

Никто из друзей не хотел меня сопровождать, одной было неудобно. И тут зашел по делу к мужу брат Бориса Бреслава, и я пригласила его пойти со мной. Он охотно согласился.

В кафе было как всегда полно, но нам удалось найти пару свободных мест, и мы подсели к столику одних знакомых.

Имажинисты запаздывали, публика шумела, многие начинали хлопать, что-то кричали. Но вот открылась

дверь, мимо нашего столика прошествовал Мариенгоф, за ним Шершеневич, потом дама в меховом мантио и шляпке с вуалеткой на лице, за дамой следовал едва ли не в бобровой шапке Сергей Есенин. Он шел, не глядя по сторонам, никого и ничего не замечая, ни с кем не раскланиваясь. Особенно обидно мне показалось то, что он проследовал мимо меня, как мимо стены.

Все они уселись в углу, в своей ложе, забежали официанты и тут, видимо, кто-то сказал Сергею Александровичу, что я в кафе. Он растерянно оглядел столики и, увидев меня, улыбнулся. И тотчас подошел к нам. Первые слова, которые он произнес:

— Она здесь! Вы видели?

— Кто? — удивилась я.

— Айседора!

Я взглянула в его сияющие глаза и вдруг поняла, что он переполнен счастьем, переполнен любовью.

— Это хорошо! — машинально сказала я.

— Идемте, я познакомлю вас с ней! Она удивительная женщина, я все понимаю, что она говорит, идемте.

— Нет, Сергей Александрович, мне пора домой, в другой раз.

— Хорошо, тогда я скажу, что провожу вас и быстро вернусь!

— Сергей Александрович, я же не одна и меня совсем не надо провожать.

— Очень жаль, что я не увижу вашу маму, вы передайте ей мой привет.

Глядя на мое недоуменное лицо, он добавил:

— Я уезжаю с Айседорой за границу. Она моя жена!

ЗНАКОМСТВО С АЙСЕДОРОЙ ДУНКАН

С Айседорой Дункан я познакомилась уже после возвращения Есенина из-за границы. Был концерт в филиале Большого. Театр был плохо освещен, переполнен преимущественно молодежью. Сцена, огромная

и какая-то уж очень голая, поразила меня своим непраздничным видом.

Выступала Дункан и с ней ученики школы ее имени, которой в Москве руководила Ирма Дункан, приемная дочь танцовщицы. То ли я была плохо настроена, то ли ничего не поняла, но от выступления Дункан я ждала куда большего. Я видела ее дряблую грудь и излишне жирные, дрожавшие при каждом движении ляжки, и скованную порывистость, которая не могла быть ни легкой, ни изящной — годы брали свое. Да и публика посмеивалась, отпуская далеко не лестные шуточки, впрочем, это меня только сердило. Я привыкла уважать таланты. А что она была по-настоящему талантлива, в этом сомнения, конечно, не оставалось. И все же мне было странно, что эта пожилая женщина рискнула выйти на сцену голой, именно голой, а не обнаженной. Хотелось ее побольше укутать в этот газ, который будто невзначай падал с плеч и обнажал дряблое тело до пояса.

Мы уже собрались уйти, дождавшись антракта, как вдруг на сцену вышел Сергей вместе с рабочими сцены и стал помогать им перетаскивать рояль. Раздались голоса: «Глядите-ка, Есенин пьян, как цуцик». Сергей был действительно пьян, он излишне суетился и не помогал, а явно мешал рабочим сцены.

Кто-то заплодировал. Есенин не обращал внимания ни на выкрики, ни на аплодисменты. Я решила пойти за кулисы и увести его домой.

Милые девочки из студии Айседоры феями проносились по сцене, невесомые, легконогие создания в белых прозрачных одеждах. Очень красиво большой художник отобрал и скомпоновал движения танца, чтобы получилась такая воздушная гирлянда.

Но вот и последний заключительный номер «Интернационал». На сцене очень много красного: и свет, и флаги, и просто красные полотнища. Появляется Айседора Дункан. Перед зрителями мечется старая женщина, обнажив висящую дряблую грудь. Господи, почему это «Интернационал»? Дряблые ноги и позы

классических богинь, в которых каждое мгновение застывает танцовщица, не пленяют и не радуют.

Когда мы молоды и эгоистичны, то не верим, что когда-нибудь сами будем стары, и не прощаем никакой попытки, которая не приводит к победе. Да, Айседора не победила, и потому апофеоз награждается жидкими аплодисментами, и публика идет к выходу, обмениваясь нелестными замечаниями по адресу старой танцовщицы. Кое-кто пытается защитить ее новаторство, ее попытку воплотить в танец революционный гимн. Переговариваясь, выходим на улицу. Темно, народ расходится по домам, даже спора не вышло. Впрочем, и так все ясно. Еще один низвергнутый идол.

Никогда в жизни Сергей больше не заговаривал со мной об Айседоре.

Ходили слухи, что он от нее прятался, скрывался, но только слухи, сам он, повторяю, никогда больше ни словом, ни намёком не напоминал об этой своей любви.

... Первого февраля 1923 года, в день моего рождения, среди приглашенных должен был присутствовать и Сергей Александрович.

Все уже были в сборе, а Есенин все не появлялся. Откуда-то он позвонил, сказал, что скоро будет. Мы не сажались за стол, время шло. Наконец, отчаявшись, перестали его ждать, и вечер пошел своим чередом.

Довольно поздно меня позвал по телефону чей-то взволнованный женский голос сказал, что Сергей Александрович в больнице Склифосовского, что он упал и сильно поранил руку, что меня просят срочно поехать к нему и тогда я сама все увижу на месте. Я пообещала. Мне все же было как-то странно, что звонила незнакомая женщина и что она была явно чем-то встревожена. Я рассказала обо всем Илико Бардину и он обещал на другой день поехать со мной вместе. Так и сделали. Бардин зашел за мной на работу, и мы отправились на Сухаревскую площадь.

Есенин лежал в палате не один, очень встревоженный и напуганный. Мы старались его успокоить, говорили,

что опасности никакой нет, что он быстро поправится, тогда он зашептал:

— Вы видели в коридоре милиционера, около двери?

— Нет, не видели.

— Он там стоит и ждет, чтобы арестовать меня!

— За что?

Он начал рассказывать что-то бессвязное — о том, что он упал и рукой нечаянно разбил окно, оттого и порезался, явился милиционер и хотел арестовать, и снова о том же — как он разбил окно. Мы как могли успокоили его, пообещав, что его никто не тронет. Он настороженно, с неестественным, холодным блеском в глазах недоверчиво слушал нас. Мне казалось, что у него какое-то потрясение, а Бардин решил, что все это с перепоя.

Мы вышли из палаты и зашли в контору узнать, что произошло. Дежурный врач, к нашему удивлению, подтвердил, что милиционер действительно находился некоторое время в больнице, чтобы забрать Сергея Александровича, где-то наскандалившего, но что врачебная администрация упросила милиционера удалиться, так как это нервировало больных. Далее врач сказал, что отделение милиции обязало их, то есть администрацию, поставить в известность, когда Есенин будет выписываться. По правде говоря, мы оба, то есть я и мой спутник, растерялись, но тотчас решили, что будем добиваться, чтобы Есенина как можно скорее перевезли в кремлевскую больницу, которая тогда еще находилась в самом Кремле.

На другой день Бардин позвонил мне и сказал, чтобы я пошла к Апросову, (он, кажется, был главврачем или заведующим кремлевской больницей) и с ним договорилась о Есенине. Когда я пришла к Апросову, Сергей Александрович был уже в кремлевке, его перевезли в карете скорой помощи и он был освидетельствован несколькими врачами.

Меня удивило это: «несколькими врачами»:

— Разве у него так плохо с рукой?

Апросов улыбнулся:

— «Нет, не с рукой, а с головой. Мы хотим его поместить в очень хорошую больницу для нервно-больных. — Он мне тут же дал адрес и сказал, что сегодня лучше его не видеть, а через день-два я могу навестить Сергея Александровича в этой больнице.

В этом месте в воспоминаниях Анны Берзиной пропала страница, найти которую так и не удалось.(ред)

ЖЕНИТЬБА

В один из ненастных летних вечеров мне позвонил Сергей. Александрович и пьяным голосом просил непременно к нему придти. Он жил тогда в Брюсовском переулке вместе с Галиной Бениславской, сестрами Шурой и Катей.

Мне не хотелось идти к ним, было уже поздно, да к тому же голос Сергея... Все располагало к тому, чтобы остаться дома.

Через несколько минут опять звонок и опять Есенин просит придти и, как всегда, когда он пьян, начинает прикидываться, что его обижают и что им пренебрегают: «Я за тобой приползу. Пойми, что я женюсь и тут моя невеста...»

— Какая невеста? — спрашиваю я, удивленная и встревоженная его выдумками.

— Толстая Софья Андреевна! — говорит он торжествующе.

Я не знала тогда, что внучку Льва Николаевича Толстого звали как и бабушку, Софья Андреевна, и потому, смеясь, отвечаю:

— А Льва Николаевича там нет?

Сергей что-то бормочет, трубку берет Галя Бениславская и разъясняет, что действительно у них в гостях Софья Андреевна Толстая, потом поясняет, кто она, и просит непременно придти.

Поднимаясь в лифте к дверям квартиры, где жили Есенины и Бениславская, я слышу, как играют

баянисты. Их пригласил Сергей Александрович из театра Мейерхольда. Знаменитое трио баянистов.

В маленькой комнате и без того тесно, а тут три баяна наполняют душный, спертый воздух мощной мелодией, которую слушать вблизи трудно.

За столом сидит Галина, Вася Наседкин, Борис Андреевич Пильняк, двоюродный брат Сергея, который за ним ходил по пятам, незнакомая женщина, оказавшаяся Толстой, Шура и Катя, сестры Сергея. Сам он пьяный, беспорядочно суетливый, улыбающийся, как падший ангел. Он усаживает меня между Пильняком и Софьей Андреевной. Сам садится на диван и с торжеством смотрит на меня.

Галина встает и выходит по хозяйским делам на кухню: то принесет чистую тарелку, то закуску, хлеб. Она все время в движении.

Шура, Катя и Сергей поют под баяны. Сергей поет с перерывами, то смолкая, бессильно откидываясь на спинку дивана, то опять выпрямляется и опять поет. Лицо у него бледное, губы закусывает — очень сильная степень опьянения.

Я поворачиваюсь к Софье Андреевне и спрашиваю:

— Вы действительно собираетесь за него замуж?

Она очень спокойна, ее не шокирует шум и гам, царящие в комнате.

— Да, у нас вопрос решен — отвечает она и прямо смотрит на меня.

— Вы же видите, он совсем неменяемый. Разве ему время жениться, его в больницу надо положить. Лечить его надо.

— Я уверена, — отвечает Софья Андреевна, — что мне удастся удержать его от пьянства.

— Вы давно его знаете?

— А разве это играет какую-нибудь роль? — Глаза ее глядят несколько недоуменно. — Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его?

— Полюбить, — тяну я, — ладно, полюбить, а вот выйти замуж — это другое дело...

Она пожимает плечами, потом встает и подходит к откинувшемуся на спинку дивана Сергею. Наклоняется и нежно проводит рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстраняет ее руку и что-то бормочет. Она опять проводит рукой по его лбу.

— Блядь! — восклицает он неожиданно, и выплескивает одну за одной нецензурные фразы.

Она спокойно отходит от него и снова садится на свое место, как ни в чем не бывало.

— Вот видите, разве можно за него замуж идти, если он невесту материт?

И она опять очень спокойно говорит:

— Он сильно пьян и не понимает, что делает.

— А он редко бывает трезв... — стараюсь переубедить ее.

— Ничего, он перестанет пить, я в этом уверена.

Она действительно, кажется, в этом уверена.

Галя наливает стакан водки и подает Сергею, он привстает и шарит по столу. Катя и я киваем головой: пусть уж лучше напьется и сразу уснет, чем будет безобразничать. Сергей Александрович выпивает водку и валится, как сноп, на диван.

— Пойдемте, — говорю я вслух, повернувшись к Пильняку,

— Вы проводите Софью Андреевну, ведь уже поздно.

За очками поблескивают хитрые и насмешливые глаза. Я отвожу взгляд. Он, пригнувшись к моему уху, говорит достаточно громко, чтобы слышала Софья Андреевна:

— Я пойду провожать вас, а ее пусть кто угодно провожает. — Я чужих любовниц не провожаю...

Несколько растерянно поднимаюсь из-за стола и, взяв Бениславскую за руку, выхожу с ней в коридор.

— В чем дело, Галя? Я ничего не понимаю...

У нее жалкая улыбка.

— Что ж тут не понимать Сергей собирается жениться... Он же сказал об этом.

— Но ты же знаешь, что Сергей болен, какая же тут свадьба?

Она устало машет рукой, и в ее глазах я вижу настоящую боль.

— Пусть женится! Не отговаривай, может быть, она поможет и он перестанет пить...

— Ты в это веришь, Галя?

Она молча кивает головой.

Все выходят в коридор. Только трое баянистов продолжают раздирать квартиру своими полудикими пенями, какие были бы уместны, может, в деревне, за городом, но никак не в центре Москвы. Сергей под их музыку спит, откинув голову. Лицо его бледно, губы закусены.

Усталая Галя провожает нас до двери. С Софьей Андреевной идет, кажется, брат Сергея.

Пильняк дорогой открывает нам некую тайну, что Софья Андреевна раньше жила с ним, а теперь вот выходит за Сергея. Он говорит об этом, а за очками поблескивают его насмешливые глаза.

Мне ни о чем говорить не хочется.

Зачем это делает Сергей, понять нельзя. Явно, что он не любит Толстую и не пылает никакой страстью, иначе он прожужжал бы все уши, рассказывая о своем увлечении. Впрочем, об этом он распространяется только тогда, когда пьян, но я третьего дня видела его пьяным, он даже не упомянул о своей женитьбе.

...Утром он позвонил мне в Госиздат, сказал, что хочет придти ко мне вечером с Соней, так как вчера он, кажется, плохо держал себя. Голос его совершенно трезв. Я соглашаюсь встретиться с ним вечером.

По дороге из Госиздата я зашла в магазин, чтобы купить кое-что для предстоящего визита. На Дмитровке встретила певца Белостоцкого. Он рассказал, что собирается за границу, поэтому он поднялся со мной в квартиру. Все наши были в отъезде. Мы были в доме одни. Я стала накрывать на стол. Сергей обещал придти не позже шести часов. Белостоцкий говорил о предстоящем путешествии. Я все думала, как это все странно: Сергей собирается жениться, притом без всякой радости; пьет, какие-то баянисты, страшный шум в квартире... все неясно.

Наконец появились Есенин с Софьей Андреевной, потом Юра Либединский. Сергей уже успел где-то выпить, лицо его было белым, будто вымазано мелом, и он, как обычно, прикусывает губы. Софья Андреевна, высокая женщина, очень похожая на своего деда, только что без бороды, пришла в чужой дом, к чужой женщине, чтобы говорить о свадьбе. Сергей как только вошел, сразу заявил, что пришел именно говорить о своей женитьбе. Он без конца твердит Софье Андреевне, что я его друг, что он со мной очень считается. Она согласно кивает головой и повторяет:

— Я это знаю, Сергей Александрович, знаю!

Белостоцкий с удивлением смотрит на все происходящее. Есенин говорит отрывистыми, не очень связными фразами, хмель овладевает им все больше и больше.

Вдруг он зовет меня в другую комнату и просит, чтобы туда вошел и Либединский.

Мы втроем сидим в кабинете Берзина, и Сергей вдруг с испуганным и напряженным лицом, говорит:

— Я поднял ее подол, а у нее ноги волосатые. Я опустил подол и сказал: «Пусть Пильняк, я не хочу... Я не могу жениться!...

Все это он говорит нарочито громко, Лебединский краснеет. Ему явно было неудобно. Юра плотно закрывает дверь в комнату, где оставалась Софья Андреевна и Белостоцкий.

Сергей продолжает жаловаться:

— Я человек честный, раз дал слово, то я его сдержу. Но поймите, нельзя же так? Волосы хоть брей...

— Тише ты! — пытается остановить его Лебединский.

А Сергей вдруг заговорил о том, как будет справлять свадьбу. Он перечислял всех, кого позовет, а кого не позовет и все твердил, что «графьев» не позовет, не надо, пусть будет только пять человек, не больше.

С ним никто не спорил, он стал смеяться пьяным смехом и все повторял, что очень здорово выйдет:

— Сергей Есенин и Толстая, внучка Льва Николаевича... вот!

Мы поспешили увести его к невесте и сидели, разговаривая почти до рассвета. Москва успела выспаться и проснуться, а мы все разговаривали, ни до чего толком не договорившись. Никак не могла я убедить Софью Андреевну: сначала вылечить его, а потом идти замуж. Она стояла на своем, что Сергей перестанет пить, как только они будут жить вместе. На все его обидные, оскорбительные разговоры она тоже не обращала ни малейшего внимания.

Ушли они вместе, оставив у всех горький осадок. Белостоцкий ошарашенно смотрел на меня, не находя слов для распросов. Он, видимо, слышал все, о чем мы говорили в соседней комнате.

Сергея я не отговаривала от женитьбы, так как Галя Бениславская не возражала. Я видела, как она страдает, но все же говорила, что так будет лучше. Лучше? Для кого лучше?

Наконец Сергей снова стал говорить, что жениться надо непременно, затем заговорил о джентльменстве, но все как-то нескладно и бестолково.

На свадьбу я не пошла, да и не хотела я видеть всего этого. А вот проводить молодоженов на Кавказ, куда они отправились в свадебное путешествие, пришла.

Провожала я их тепло, мне стало казаться, что он действительно перестанет пить, если у них будет ребенок. Потом подарила им маленькую куколку и ванночку, чтобы ее купать. По этому поводу из Баку Сергей мне прислал открытку. В общем они уехали, и все понемногу стали успокаиваться.

Вернувшись из путешествия, они стали жить у Софьи Андреевны. Я стала понемногу к ней привыкать. Уже называла ее Соня и даже перешла на «ты».

Квартира у нее была большая на Пречистенке, в одном из переулков, с балконом.

Помню, что после приезда, Есенин как-то зашел за нами, чтобы взять к себе в гости. Я пошла с дочкой: Сергей сказал, что купил живую рыбу и специально выпустил ее в ванну — она будет плавать до нашего прихода.

Придя к ним в квартиру, мы сразу отправились в ванную и тотчас увидели плескавшуюся в ней большую щуку. Сергей был весел, много шутил, совсем в этот день не пил, и мы славно провели время, а после обеда отправились на Арбатскую площадь.

Шли по бульварам пешком, собираясь отвести дочку домой, она была еще слишком мала, и брать ее с собой не хотелось.

Мы шли с ней шагом впереди, и я ее спросила:

— Понравилось тебе у Сережи?

— Да, — ответила она живо, — только он сам очень похож на белую вошку...

Я пыталась остановить ее, но было уже поздно. Есенин услышал это и страшно обиделся. Я видела, как у него испортилось настроение.

Мы проводили дочку домой, он с ней попрощался, но не так сердечно, как делал это всегда.

Затем отправились в кино. Среди сеанса оно всем нам надоело, и мы вышли на улицу. Провожал он меня вместе с Соней. Мы распрощались у дверей нашего дома.

А на другой день позвонила Соня и рассказала, что Сергей запил снова и пьет безобразно, скандалит, уходит из дома. К ним на лестницу повадился какой-то пропойца-музыкант. Приходит и играет на скрипке под дверь. С ним Сергей и уходит пьянствовать.

Помнится, что именно в один из этих дней мне пришлось вытаскивать Есенина из ресторана «Ампир», где он, допившись до бесчувствия, колотил вдребезги посуду, зеркала, опрокидывал столы.

Страшное зрелище застала я в «Ампире». Среди битой посуды, ничком лежал Сергей Александрович, тесно сомкнув губы.

Я нагнулась и тихо сказала:

— Сережа, поедем домой...

Он не вставал. Мне противно было до него дотронуться.

— Сережа, — позвала я его еще раз, — если ты не пойдешь, я уйду и тебя заберут в милицию.

Он шевельнулся, потом приподнялся и открыл глаза. Я помогла ему подняться и вывела из ресторана. На нас смотрели пешеходы.

Мне не было стыдно возиться о пьяным Сергеем, я хорошо понимала, что он очень болен и знала, что ему надо было лечь в клинику и лежать там долгое время, чтобы придти в себя.

Это были последние и, может быть, самые страшные запои.

Как-то утром позвонила Софья Андреевна и попросила срочно приехать. Сергей громил квартиру.

Приехала. В столовой было перебито все, что можно было перебить, вплоть до люстры.

И опять на груде черепков и осколков валялся пьяный и грязный Сергей.

И опять пришлось долго его уговаривать, чтобы он встал, пошел в ванну, сменил белье и костюм. Наконец, он поднялся. Меня поразил цвет его лица. Катя, старшая из сестер, была тоже очень бледной, но Сергей был просто мертвенно бледен. Пока он приводил себя в порядок, нянечка Толстых убирала столовую. Собственно, вся уборка заключалась в том, что вымели черепки и осколки, переменили скатерть, а на стенах висели портреты Льва Николаевича, фотографии. Все стекла были побиты. Сергей старался чем-нибудь тяжелым угодить непременно в портрет Л.Н. и кричал:

— Надрела мне эта борода, уберите бороду!...

Он пришел из ванной чистый, молчаливый. Я пыталась с ним вступить в разговор, еще когда он был в ванне, позвонила Бардину (с которым Есенин считался) и попросила срочно приехать. Встретил он Бардина хорошо, однако сохранял молчание. Я, в его присутствии, стала рассказывать о его художествах, Бардин предложил перейти в другую комнату, а Сергей демонстративно лег в столовой на кушетку.

Пока мы долго советовались, Софья Андреевна рвалась навестить Сергея. Я не пускала ее, но она все же пошла. Бардин стал звонить, куда можно устроить Сергея на излечение, пытаюсь сговориться с санотделом Кремля.

Вдруг в столовой раздался крик. Мы вбежали туда и застали такую картину: Есенин лежал на кушетке, а Соня стояла, закрыв лицо руками, лицо ее было в крови. Сергей перебил ей переносицу.

- Что ты, разбойник, делаешь! - закричала я. Он закрыл глаза не откликнулся.

Пришлось вызывать врача теперь уже для Сони, которая, кажется, стала понимать, насколько Сергей болен.

Оказывается, еще осенью Сергей сбросил с балкона свой бюст работы Коненкова, уверяя, что «Сереже» (так он называл свой бюст) здесь слишком жарко и душно. Вынес бюст на балкон, поставил на баллюстраду и, убедившись, что внизу никого нет, столкнул скульптуру на улицу. Упав с огромной высоты, статуя, естественно, рассыпалась на множество кусков и осколков.

Когда Бардин стал его спрашивать, что все это значит, он даже не открыл глаз, притворившись, что не слышит.

Мы пробыли у Сони довольно долго, стараясь ее утешить и помочь.

На этот раз Сергея удалось устроить в поликлинику к Ганнушкину, на Девичьем поле.

Он просил мне передать, чтобы я к нему не приходила, так как только я виновата в том, что его заперли в психушке.

Чтобы его не раздражать, я даже не решила его навещать, но прошло совсем немного дней, он попросил Катю, свою старшую сестру, передать мне, что если я не приду, то он убежит из больницы.

И вот, накупив гостинцев, я пришла вечером в клинику.

В БОЛЬНИЦЕ ГАННУШКИНА

Дежурил наш старый знакомый Александр Яковлевич Аронсон, который попросил, прежде чем подняться к Сергею, зайти к нему в кабинет.

Я так и сделала. Александр Яковлевич спросил меня:

— Нет ли режущих и колющих предметов в свертке, веревок, шнурков?

— Почему вы об этом спрашиваете? — удивилась я.

— Потому что Сергей Александрович очень плох, и, если бы он не был Есенин, мы бы его держать в клинике не стали, так как его болезнь давно и подробно изучена и для нас не представляет интереса ...И Александр Яковлевич назвал по латыни эту болезнь.

— Впрочем, — сказал он, — идите, он ждет вас.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, я увидела на площадке второго этажа Сережу. Он был чисто вымыт в сером костюме, с пушистыми волосами, в белом, шелковом пуловере.

— Где же ты пропала? — встретил он меня упреком. — Я давно тебя жду.

Мы вошли в его комнату (это была первая комната направо). Я стала накрывать стол, расставлять на нем всякие вкусные вещи. Дверь в комнату была настежь раскрыта, ее придерживал чурбачок, плотно забитый в пол.

— Почему дверь не закрывается, Сережа?

— Здесь везде двери открыты. Только я никуда не хожу, я их всех боюсь. Сегодня в женском отделении одна бегала с бритвой, с лезвием от безопасной бритвы, и я испугался. — Он стал подробно рассказывать, что ему не хочется ни с кем общаться, потому что тут много больных и опасно больных. Предупреждал, чтобы я была осторожна, так как на этой же площадке находятся женские палаты, где лежит и та, которая бегала с бритвой.

Потом стал читать стихи, которые написал уже здесь, в больнице. В их числе был и «Лимонный

свет». Мы много говорили о том, чтобы уехать из Москвы, в какой-нибудь хвойный лес, и там пожить некоторое время. Сергей меня уговаривал, чтобы я тоже бросила на время Москву, что мне тоже надо отдохнуть. Я была рада его хорошему настроению. Он ни разу не упрекнул меня, что его устроили в эту больницу.

Уходя, я еще раз попросила его полежать подольше и окончательно вылечиться.

Он торжественно обещал. Проводил меня до вестибюля.

Александр Яковлевич отправил его спать, а меня опять пригласил к себе:

— Ну, как вы его находите?

— Просто прелестным, он давно таким не был. Вы напрасно меня пугаете, Александр Яковлевич.

Он грустно покачал головой:

— Зачем же мне вас пугать, я просто предупреждаю вас, чтобы вы не обольщались несбыточными надеждами.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать.

— То, что Сергей Александрович неизлечимо болен и нет никакой надежды на то, что он поправится.

— Вы с ума сошли! — вырвалось у меня невольно. — Если у вас все такие безнадежно больные, то скоро вам просто нечего будет делать.

— Вы же понимаете, что я все это говорю, вполне понимая, как это серьезно, — начал опять Александр Яковлевич. — Не надейтесь ни на что...

— То есть вы хотите сказать, что Сергей Александрович недолговечен?

— Да! — кратко ответил он.

— А если мы заставим его лечиться насильно?

— Это тоже не достигнет цели...

— Что же, он не проживет и пяти лет?

— Нет.

— И трех лет не проживет?

— Конечно — нет!

— А год?

— И года не проживет!

— Так как же это? Я не понимаю...

— Вы успокойтесь, идите домой, а завтра поговорим еще раз.

Но как можно успокоиться, когда ассистент Ганнушкина, человек, который так хорошо относился ко мне, к Сергею Александровичу, сказал, что Есенин обречен. Поздно вечером я позвонила домой Воронскому и рассказала о моей беседе с Аронсоном.

— Что же вы предлагаете? — спросил Воронский.

— Давайте возьмем его под свою опеку, скажем, вы, я и Наседкин. Никто не обвинит нас в каком-нибудь влиянии той или иной литературной группы. Мы представители трех разных течений. Заставим его насильно лечиться.

— Что ж, — согласился Воронский. — Давайте сделаем так, как вы предлагаете. Я завтра поговорю с юристом, вы мне позвоните в редакцию. Завтра я буду там целый день.

ГОСТИНИЦА «АНГЛЕТЕР»

Наутро я в Госиздат не пошла. У меня была срочная работа, которую надо было закончить.

Выяснилось, что дома нет денег. Мама об этом мне сказала часов в двенадцать. Пришлось созваниваться с бухгалтером Госиздата Быковым, который, после долгих торгов и отказов, милостиво согласился выписать аванс в сорок рублей. Я попросила отца получить эти деньги, выдав доверенность.

Среди дня позвонил А.А.Воронский и сказал, что он советовался с юристом, заявление об опеке будет составлено, и мы на днях соберемся, чтобы подписать его и передать московскому прокурору.

Уже смеркалось, а отец все не возвращался. Трудно было понять, что его так задерживало. Мама несколько раз просила позвонить в Госиздат, но я все как-то этот звонок откладывала. И вот уже часов в пять

явился отец, сильно навеселе, и сказал, что денег так и не получил, обещали дать непременно завтра, что все деньги забрал Сергей и он уезжает завтра в Ленинград.

— Кто уезжает?

— Сергей!

— Где ты его видел?

— Я с ним целый день провел. Мы все сидели в пивной. Сергей не один, с ним доктор невысокого роста, еврейчик.

— Александр Яковлевич? — удивилась я.

— Да, Александр Яковлевич, он из больницы, где лежал Сеогей.

Я сейчас же позвонила Софье Андреевне, и она подтвердила, что Сергей вышел из больницы и не велел мне об этом сообщать, что он действительно собирается вечером уезжать в Ленинград. Говорит, что будет «жить постоянно в Ленинграде». Затем сказала, что, видимо, с Сергеем они расстанутся насовсем. Он забрал свои вещи и уложил их в чемодан. Все упаковано, а сейчас Сергей где-то бродит по Москве.

От отца я тоже узнала кое-что. Он посмеивался и говорил, что Есенин непременно уедет, что в Москве ему все надоело. Рассказывал, что он очень боится, что я его остановлю, поэтому и просил отца ничего мне не говорить.

Мне хотелось сейчас же выехать в Ленинград, но был уже вечер, и трудно было достать денег на поездку, так как все редакции закрывались. К тому же это было двадцать третье декабря, а двадцать пятого все празднуют Рождество — издательство и журналы будут закрыты.

Я позвонила знакомым, у которых всегда в трудную минуту жизни могла одолжить денег. Мне сказали, что завтра, то есть двадцать четвертого декабря, в Ленинград едет мой большой друг М.Ш., и мы договорились, что поедем вместе. Он-то и взял на себя обязанность купить билеты.

Я тотчас позвонила Воронскому и сказала, какое возникло затруднение. Посоветовавшись, решили так, что в Ленинграде я постараюсь увидеть кого-нибудь из писателей, чтобы договориться о том, что с Сергеем никто не будет пить. Что за этим проследят в Ленинграде и вернут его в Москву. А если он не поедет, то мы уже тогда будем хлопотать сами. Кроме того, Воронский посоветовал мне встретиться с Есениным и постараться привезти его в Москву.

Выехала я двадцать четвертого вечером, и двадцать пятого утром была уже в Ленинграде. Остановилась в Европейской гостинице и сейчас же принялась разыскивать друзей Есенина.

Первым я решила разыскать Вольфа Эрлиха, который в последнее время с Есениным был очень дружен. Фамилии Есенина я не нашла ни в телефонной книге, ни в справочном столе, куда звонила многократно. Дозвонилась до Марии Михайловны Шкапской, но она была в страшном горе: кто-то из близких у нее покончил с собой, и она не понимала, что меня так тревожит в поведении Сергея Александровича. И прямо сказала, что она сейчас сама мертвец и помочь мне не сможет. Как на грех, никого не было дома или товарищи, которым я звонила, не подходили к трубке. Но вот, наконец, мне повезло, и к телефону подошел Николай Никитин. Он с готовностью приехал в Европейскую гостиницу, где я ему очень подробно рассказала о случившемся. Он обещал все устроить и уверил, что я могу спокойно возвращаться домой, так как он примет все меры, чтобы с Сергеем никто из ленинградских писателей не пьянствовал, одним словом, обещал сделать все так, как следует.

Двадцать шестого утром я сама решила обойти гостиницы и попробовать разыскать Сергея Александровича.

В Европейской его не было, я об этом узнала в первый же день. В Гранд отеле его не было тоже, он не заходил туда. «Астория» не представляла тогда собой гостиницы, следовательно, Есенин не мог там

остановиться. И к тому же у меня была твердая уверенность, что он находится у своих друзей.

Двадцать шестого вечером мы встретились опять с Николаем Никитиным, и он проводил нас на вокзал.

Несмотря на его твердое обещание позаботиться о Есенине, я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Мне было и жарко, и душно, и холодно, и неудобно. Все, что обычно случается, когда человек неспокоен и взвинчен.

Приехав утром, я первым делом позвонила в Госиздат и сказала, что не смогу сегодня быть на работе.

Предупредительный голос Ивана Петровича Флеровского, моего непосредственного начальника, несколько меня удивил. На работе он был тверд и взыскателен, а тут вдруг сразу соглашается, что мне надо отдохнуть и говорит со мной, как с больной.

Я хлопнулась в постель, сказав домашним, чтобы меня не будили, и к телефону попросила подходить отца.

Сквозь сон слышала частые и настойчивые звонки, сквозь дрему ответы отца, который уверял, что меня нет дома, но я все же не вставала.

Проснувшись к вечернему чаю и вышла в столовую. Отец сказал, что звонили весь день. Звонил Воронский, Л. М. Леонов и просили немедленно позвонить, как только ты будешь дома. Он добавил, что случилось, видимо, что-то серьезное, просто телефон оборвали.

Позвонила Леонову.

Был он крайне немногословен, а просто сказал, что Сергей удавился. Он именно так и сказал «удавился». Меня потрясло это сообщение.

— Когда? — только и спросила я.

— Вчера!

— Неправда, это неправда! — принялась я доказывать Леонову. Я выехала вечером с курьерским из Ленинграда, и никто там ничего не знал. Этого не может быть.

Леонов посоветовал немедленно связаться с Воронским.

Воронский сообщил, что пришла каблограмма. Сергей ночью повесился в гостинице «Англетер» и что я включена в комиссию по похоронам. Сказал также, что он и Пильняк тоже входят в эту комиссию, что он председатель, и попросил приехать на первое заседание.

ПОХОРОНЫ

От телефона я отошла ошарашенная и просто не знала, что делать, куда себя деть. Мне казалось, что во всем виновата я: не нашла Сережу... ведь была с ним рядом, стоило только завернуть за угол, от Гоголевской, где я была в Гранд-отеле. Потом стала раздумывать, что может, так и лучше, а то мне потом мерещилось бы, что Сергей, напуганный моим приездом, мог подумать, что его преследуют, что его насильно запрут в больницу, одним словом, что только не приходило в голову.

Первое решение, вынесенное комиссией: немедленно поехать за телом Сергея. Уже не за Сергеем, а за телом его. Как это страшно звучало тогда. За телом!

Товарищи, выделенные для этого, вечером отправились в Ленинград.

Утром двадцать восьмого ко мне приехали Воронский и Пильняк, чтобы принять ряд безотлагательных мер. Не помню всего, что решено было в это утро. Моей обязанностью было вызвать родителей и сестер Сергея Александровича из Константинова. Шура и Катя уехали туда на праздник. Я послала телеграмму: «Сергей опасно болен немедленно выезжайте. Анна Берзина».

Последующие дни встают, как в тумане, и только отдельные яркие и резкие эпизоды отчетливы, а все остальное тонет в слезах, горе, криках, нестерпимой боли...

Двадцать девятого утром меня разбудил резкий звонок и мама вошла, чтобы сказать, что приехали

Есенины. Я помню, с каким трудом одевалась, руки дрожали, я не знала, как начать разговор.

В столовой сидела Сережина мать, отец, Шура, Катя и двоюродный брат.

Мать сразу стала спрашивать, что с ее сыном. Я, не глядя на нее, сказала, что Сергей опасно болен. Она опять спросила: «Где Сергей?»

И тут в разговор вмешалась Катя, она сказала, что они читали газету, которую они купили на вокзале. Там было написано, что Сережа повесился. Мне пришлось подтвердить, что печальное это событие действительно произошло.

Мать в голос заплакала. Остальные сидели молча, подавленные этой вестью. Тогда мне пришлось все рассказать: что уже все необходимое предпринято и что сегодня, то есть двадцать девятого Сергея привезут в Москву.

Домашние спешили наскоро приготовить завтрак, так как надо было трогаться на вокзал к приходу Ленинградского поезда. Этим поездом и должны были привезти тело Сергея.

На вокзале собралась толпа. Подошел поезд, в конце был товарный вагон, в котором везли гроб Есенина.

Потом вынесли его на руках, меня поразило, что гроб был таким небольшим, во всяком случае тем, кто знал Сергея, казалось, что он вообще не мог в нем поместиться. Гроб был закрыт.

Под руку со мной шла мать Сергея. Я сказала, что хочу выйти из ряда и поехать на извозчике в Дом печати, куда предполагалось привезти Сергея. По ее словам, ей было трудно идти одной, и пришлось ее взять с собой.

Наняв извозчика и обогнав процессию, мы поехали прямо на Никитский бульвар, в Дом печати.

Там уже были Мейерхольд с Зинаидой Николаевной Райх.

Они подошли к нам, и Зинаида Николаевна тепло поздоровалась с матерью Сергея.

Мы все сидели молча, время от времени заглядывая в окна, чтобы посмотреть: не привезли ли Сережу.

Гроб поставили посреди того зала, в котором тогда была, а может быть, есть и сейчас, сцена. Тут стояла и Лариса Рейснер, стоял Митя Фурманов.

Сцена была задернута и, кажется, задрапирована чем-то черным.

Распоряжался же всеми делами Малышев.

Гроб Сергея открыли, Зинаида Николаевна вскрикнула. Меня поразило лицо Сергея, лицо обиженного ребенка. Он казался меньше и очень уж одиноким, как все покойники.

Кто-то крикнул

— Близкие, идите к гробу фотографироваться!

Какие странные, жестокие люди! «Идите фотографироваться!»

Зинаида Николаевна навзрыд плакала и все смотрела на Сергея...

Забота о близких Сергея несколько раз заставляла меня отходить от него, такого одинокого и маленького в этом нарядном узком гробе.

Дома хлопотала мама, чтобы вечером всех уложить, приготовить обед, дать возможность отдохнуть всем этим уставшим и осиротевшим людям.

Я легла на диван, но спать не могла и, сменив обувь, опять направилась в Дом печати. Товарищи несли почетный караул, мимо гроба Есенина непрерывной лентой шли москвичи. Окна были открыты настежь, на дворе стояла оттепель. С крыш падали капли и звонко разбивались о тротуары. Стоя у открытого окна, я слушала весеннюю капель, казалось плачет даже сам дом, в котором находился Сергей. Весна и стихи Есенина — все это неразрывно связано, и вот, словно стараясь проводить Сергея, стояла весенняя погода, хотя был уже конец декабря.

Утром тридцатого все отправились в Дом печати. Я решила про себя, что в этот день никуда от Сергея не отойду, особенно вечером и ночью, когда все, измотавшись, на ходу засыпали, кому где удавалось.

Мне же хотелось эту последнюю ночь все продумать самой, как это так вышло, что Сергея уже нет с нами, лежит холодный и обиженный мальчик. Кто же его обидел? Кто? И я в сотый раз припоминала все эти годы, которые знала Сергея, и вспоминала каждый свой шаг, каждое слово. Нет, мы не обижали его и всеми силами старались облегчить его разгульную и такую несчастную в последние годы жизнь. Сережа, тихий и спокойный, когда трезвый, деликатный и мягкий, как воск, менялся даже внешне, если начинал пить. Становился упрямый, жесткий, грубый, лез к каждому, приставал и ввязывался в ссоры, которых не избегал, а будто искал.

Неужели это был действительно разлад с реальной действительностью, как об этом и по сей день многие говорят? Я вспоминаю его поездки по Союзу, его неподдельную дружбу с грузинскими и армянскими поэтами, внимание, которое окружало Сергея в издательствах и журналах! Вспоминаю огромную аудиторию в Политехническом музее, всегда до отказа набитую благодарными и восторженными слушателями. Нет, Сергей не был одинок, но его глодала и точила страшная болезнь, которая так часто влечет за собой самоубийство.

Вот так и получилось, что Сергей покончил с собой. Такой жизнерадостный, он обожал петь, плясать. Неумоимо и неудержимо, хоть несколько часов подряд, самозабвенно и красиво, с удалью, с мягкой улыбкой и чуть прикрытыми глазами. Таким он мне более всего запомнился.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Сережа, который легко и проникновенно писал такие светлые, подчас совершенно прозрачные и чистые строки. ... — Мы даже не знали, как и когда он пишет. Он приходил и читал совершенно готовые вещи, всегда законченные, всегда стройные и отделанные.

Мы видели, как он пил, отводили его руки от стакана, спасали от милиции, хлопотали и просили за него, помещали в больницы, а вот как он работал — совершенно не знали, даже не интересовались.

Может быть, творил он в тишине, одиноко, когда никто даже глазом не мог смутить его покоя, а может, он творил всегда: сидя среди нас, разговаривая с нами, гуляя по улицам, встречаясь с друзьями.

Самая волнующая и странная была последняя ночь. Вышло так, что Соня Толстая и я остались одни возле его гроба. Все разошлись,

Дом печати заперли. Мы стояли возле него, на мне было пальто, а Соня продрогла в одном платье. Я обняла ее. Мы стояли и слушали, как за окном капала капель. Я стала тихонько читать стихи Сергея «Товарищ». Прочитав несколько строк, остановилась, Соня спросила:

— Что читаешь?

— Сережины стихи.

— Читай все, — попросила она, — я этих стихов не знаю.

И я ей прочла до конца эти стихи, и потом опять молчали.

В это время вошел в зал Наседкин и Малышев. С ними пришли поэты Миша Герасимов и Кириллов.

Но вот и рассвело. Пришла последняя ночь Сергея, хоть мертвого, но еще не погребенного.

Стали собираться родственники, друзья, товарищи. Дом печати наполнялся, и началась гражданская панихида.

Маленькая Танечка, дочка Сергея Есенина и Зинаиды Райх, стоит на табуретке и читает стихи отца «Воробушки».

Потом пришла мать Сергея и, причитая, наклонилась над сыном. Из руки она посыпала песок на Сергея: наверно, таким образом она предавала его земле.

Гроб вынесли и, не закрывая крышки, понесли по Никитскому бульвару, потом по Тверскому к памятнику

Пушкина и здесь, около памятника, обошли три раза вокруг него и двинулись дальше, к Ваганьковскому кладбищу.

На кладбище я не поехала. Поднялась к себе домой. Мы жили, как я уже писала, в Большом Гнездиновском переулке. Из квартиры пахло блинами, стряпней, бегали от стола к кухне. Накрывали поминальный обед. Уснула я, как только донесла голову до подушки.

Разбудил меня Борис Андреевич Пильняк. Он уже сменил мокрые носки и, надев ночные туфли, грел над батареей озябшие ноги.

— Вставайте, мы с кладбища все приехали к вам, — окликнул он меня.

В столовой толпилось много людей: Есенины, какие-то незнакомые пришельцы. Все сели за столы и помянули Сергея. Очень хорошо и тепло говорили о нем.

Старались вспоминать только хорошее. Сергей живой и ясный был с нами за этим последним вечерним столом.

ПАМЯТЬ

Вот так мы похоронили Сережу, и начались совсем другие дела, связанные с его именем, с изданиями, с наследством, законными и незаконными детьми, с женами — вся та неразбериха, которая сопровождает большей частью смерть большого человека, окруженного обычными людьми со всеми их достоинствами и недостатками.

У меня хранились дома две его рукописи: «Песнь о великом походе» и «Двадцать шесть». Я отдала их Софье Андреевне Толстой в музей, боясь потерять то, что принадлежало Есенину. Туда же я отдала и фотографии, на которые я была не в силах смотреть.

Все, что было потом с Галиной Бениславской, с которой я встречалась после смерти Есенина еще на протяжении целого года, вплоть до ее смерти, вернее,

самоубийства, — все это тоже непосредственно относится к Сергею и будет темой дальнейших моих воспоминаний. Пусть не таких подробных, как о Сергее Александровиче, но все же мне хочется сказать много хорошего о милом человеке, верном и заботливом друге Есенина, его жене, подруге и ангеле-хранителе, каким была для него всю свою жизнь Галина Артуровна Бениславская.

Сергей Александрович знал очень хорошо, что чтением стихов он просто обезоруживал человека, и потому всякий раз, когда были причины на него гневаться, он входил в квартиру, будто ничего не произошло и с места в карьер сообщал, что написал новые стихи. Гнев испарялся, и он считал себя амнистированным. Есенин охотно читал стихи везде: будь то поезд, улица, квартира, он читал даже в ночлежке, куда тянула нас неудержимая молодость.

Помню, как мы шатались по пивным, ели раков, пили пиво, которое было нам противно. К нам подходили какие-то люди, садились, разговаривали, выпивали заказанное нами пиво и уходили, некоторые прирастали к столу, в надежде, что мы угостим их еще кружкой, но у нас было мало денег, и они, разочарованные, уходили.

Однажды с нами пошел Кожевников (не помню, как его звали, не помню, откуда он взялся), но он очень решительно предложил отправиться в знаменитую ночлежку «Ермаковку». Сказал, что собирает там какой-то материал, и мы пошли, слепо веря, что с нами ничего страшного произойти не может. И действительно, при нас странные постояльцы ночлежки сдерживались, не ругались, старались изъясняться изысканным языком, картузом обметали нары, чтобы мы могли присесть.

Мы не знали, с чего начать разговор, а они смотрели на нас, непрощенных гостей, явно не понимая, зачем наша компания к ним пожаловала. Мы сказали, что среди нас Есенин, но они никак не реагировали. Мы перешли в комнату, где помещались женщины, и тут

Сергей вдруг начал читать стихи. Читал он очень хорошо. Надо было видеть, как замерли обитатели ночлежки... Слушая Сергея, стоящая впереди женщина, пожилая и оборванная, плакала горячими слезами. Мы прогулялись еще по нескольким комнатам, спустились этажом ниже. Бледный Сергей был явно взволнован, но больше не пытался ничего читать.

Когда мы покинули ночлежку, пришедший с нами поэт, товарищ Сергея, вдруг сказал:

А эта женщина, которая плакала, она ничего не поняла...

— Почему? — встрепнулся Сергей.

— А потому, что она совсем, совсем глухая. Я задержался и попробовал с ней разговаривать! Но мне сказали, чтобы я зря и не пытался, она все равно ничего не слышит.

Есенин насупился и всю дорогу домой не обронил ни слова. Он молча простился с нами и пошел.

А теперь мне кажется, что этот странный поэт просто все придумал, чтобы рассердить Сергея Александровича. Я все собираюсь его спросить, не помнит ли он, как было все на самом деле.



Борис НОСИК

РУССКИЕ ТАЙНЫ ПАРИЖА

1. ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ БАНКИРА, ИЛИ ТАЙНЫ САМОЙ БОГАТОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ПАРТИИ

25 января 1937 года, среди бела дня, во время своей прогулки по мирному Булонскому лесу был зарезан сорокасемилетний русский экономист Дмитрий Навашин, директор таинственного парижского Банка Северной Европы. Французская полиция не нашла (а скорее всего, зная, куда поведет след, и не искала) убийцу. Троцкий писал по этому поводу из своего мексиканского убежища:

«Дмитрий Навашин слишком много знал о московских процессах. Недавно агенты ГПУ похитили в Париже мои архивы... Вчера они убили Навашина. Теперь я опасюсь, чтобы мой сын, который считается у них врагом № 1, не стал их следующей жертвой».

Ах, мегаломан Троцкий! Типичный троцкист. Злостный троцкист, а может, еще и приспешник буржуазии. И

вдобавок по батюшке Бронштейн. Ну, что там было такого на московских процессах, чего бы не знал всякий, кто хотел знать? Какие такие тайны о процессах мог поведать невозвращенец Навашин западному миру, не желавшему ничего слышать о русских делах (во всяком случае ничего неутешительного)? То, что Сталин окончательно победил своих конкурентов в борьбе за власть и решил их добить, посеяв в стране страх и подбострастное послушание? Другое дело, что Навашин был директором банка, вся деятельность которого была окутана тайной. Но и здесь ведь всякий, кто не был туп, мог без труда догадаться, что тайны этого банка были русские тайны, русско-французские тайны, коммунистические, коминтерновские, то есть, саботажно-шпионские тайны...

Помню, в те времена, когда меня отпускали в гости к дочке в Париж на короткое время и меняли мне при этом деревянные рубли на целых триста долларов в год, то валюту по московскому чеку я мог получить только здесь, на бульваре Осман (близ легендарной, обитой пробкой комнаты Марселя Пруста) — в Коммерческом банке Северной Европы. В других местах русские чеки не меняли. Впрочем, в те далекие годы мне не приходило в голову, что этот парижский банк на самом деле советский банк, который осуществляет контроль над деятельностью здешней компартии и самого крупного французского профсоюза, что он снабжает их средствами для осуществления всех поставленных перед ними задач. Ну, а задачи перед ними, понятное дело, ставились русские: кто заказывает музыку, тот их и танцует.

Банк этот был основан вскоре после революции русскими эмигрантами, но к 1924 большевики скупили все акции банка, к чему тогдашнее левое французское правительство отнеслось вполне благосклонно, ибо в ту пору большевики намекали, что многочисленным французским держателям облигаций прежних русских займов вот-вот вернут их деньги.

ОТКУДА БРАЛИСЬ ДЕНЬГИ В ЭТОМ ТАИНСТВЕННОМ БАНКЕ КОМПАРТИИ!

Партийные взносы уже и в первые годы существования банка не составляли даже пяти процентов доходов партии и могли пригодиться лишь для «отмывания» и прикрытия денег, поступавших на содержание партии из-за границы, из полуголодной России. Однако до самого 1948 года ни одно французское правительство из боязни разозлить большевиков не решалось даже на самый скромный контроль деятельности банка. И вот в тревожном октябре 1948 года французский министр внутренних дел Жюль Мок (эта белая ворона, правый еврей в пестрых рядах разнообразных левых евреев) сделал на заседании парламента единственное в своем роде заявление, о котором грех было бы не рассказать. Министр начал его с сообщения о том, что Москва, Жданов и Коминформ дали указание французской компартии всеми средствами саботировать американский план помощи Европе — знаменитый план Маршалла. При этом, сообщил министр, согласно этому плану все должно было быть сделано для того, чтобы подорвать боеспособность Французской республики, «используя забастовки и крутое падение французской экономики, дабы создать в Париже ту же ситуацию, что была создана в Праге. Коминтерн взял на себя все расходы по забастовке шахтеров и докеров,— сообщил министр — Расширяются контакты между русским руководством Коминформа и руководителями французской компартии...»

Еще 4 мая 1947 года глава французского правительства Поль Рамадье отказался от услуг министров-коммунистов в правительстве. Компартия, получившая на выборах 28, 6 % голосов, борется в ту пору вместе с руководимым ею профсоюзом СЖТ за то, чтобы внести (согласно инструкциям Коминформа) полную разруху во французскую экономику. В середине октября 1948 года Жюль Мок сообщил прессе, что уже 120 000 000 выдано банком коммунистам на финансирование стачек и каких-то других тайных антиправительственных акций.

В те же дни министр выступил по радио с сенсационным заявлением:

«Прибегая к экономическим требованиям, руководители коммунистического профсоюза СЖТ развязали продолжительные стачки, вроде стачки шахтеров — не в интересах трудящихся, а во имя слепого повиновения приказам, исходящим от Коминформа и Восточной Европы, стремясь превратить французских трудящихся в пешки на чужой шахматной доске, чтобы бороться против плана Маршалла и американской помощи, называемых империалистическим и военным наступлением, короче, для того, чтобы помешать Соединенным Штатам помочь Европе, вызвав самые разнообразные беспорядки и стремительное падение нашей экономики». (Напомним, что после 48-го года Франция пережила свое «славное тридцатилетие», а Италия — истинное экономическое чудо, когда даже в деревнях появились теплые сортиры и ванны.)

Любопытно, что на паническое выступление министра Мока газета «Юманите» лишь заметила хладнокровно, что министр «все придумывает». На самом-то деле во Франции уже летели мирные поезда под откос, были жертвы среди ни в чем неповинных французских пассажиров...

Леон Блюм писал в те дни, что «безумцы или преступники ведут рабочий класс к опасным и бессмысленным предприятиям». На заседании парламента 16 ноября 1948 года Жюль Мок в подробностях описал адскую машину, заложенную русскими в самом центре Парижа (на бульваре Осман). Машина носила название Коммерческий Банк Северной Европы.

Министр отметил, что польские, венгерские и румынские газеты первыми узнают, что должно произойти в Париже в тот или иной день. Он поставил под сомнение утверждения коммунистов о деньгах, посланных трудящимися соцстран в знак рабочей солидарности. Даже если все 100 000 чешских шахтеров отправят сюда весь свой месячный заработок, это не покроет суммы, поступившей из Чехословакии...

Состоялось уникальное заседание французского парламента, на котором правительство и ассамблея узнали о тайне, связывающей французскую компартию и советский банк (ни до, ни после этого заседания подобной дерзости никто во Франции себе не позволял), об огромной задолженности всех коммунистических организаций русскому государственному банку. Коминформовская операция по выведению из строя французской экономики, как прежде коминтерновские, осуществлялась через этот таинственный иностранный банк. Таким образом, как сообщил уникальный еврей-антикоммунист, министр Жюль Мок, намечилось резкое расхождение между интересами коммунизма и французской республики. Для республики интересы Франции первостепенны, неизменны и не зависят от политики. Для коммунистов они подчинены исключительно политике Советской России. На вопрос о том, отчего же не распустить эту партию, не запретить ее прессу и не арестовать ее руководителей, министр внутренних дел ответил, что во-первых, существующие законы не позволяют принятия подобных мер. А во-вторых... Тут министр сказал, что он не может удержаться от чувства гордости, пусть даже детской, а все же гордости, что демократия не станет в отношениях с тоталитарными партиями прибегать к тем же средствам, к каким прибегают другие режимы.

Депутаты стоя аглодировали этой неслыханной речи, а корреспонденты уже получили тем временем в советском банке подтверждение от его президента (выходца из России), что здесь и впрямь оплачивают все расходы по стачкам, даже не ожидая поступлений от каких-то там неведомых шахтеров. В последующие дни на скамьях парламента шла гражданская война. Депутаты плевали друг в друга, старые коммунисты называли Жюля Мока гестаповцем, эсесовцем и Гитлером, председательствующий потребовал, чтоб сталинисты взяли назад свои оскорбления, мадам Торез, визжа, осыпала всех бранью, теоретик ЦК Роже Гароди пророчествовал о гибели буржуазного класса и клялся в верности СССР.

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

РОЖЕ ГАРОДИ: Наши связи с Советским Союзом более глубоки, чем вы можете себе представить...

МИНИСТР ВНУТР. ДЕЛ: Именно это я и доказывал.

Назавтра слово взял секретарь компартии Жак Дюкло. Он долго и пространно рассказывал о муках первых христиан на римских аренах, о Марксе и его великом друге Энгельсе, о протоколах сионских мудрецов, о нацистах, об урожаях вина, о загнивании аристократии, о Жоресе и еще о многом...

— Расскажите лучше о ваших счетах в этом банке! — крикнул кто-то.

Дюкло, не дав себя сбить, продолжал о Жоресе, потом небрежно сказал, что он даже не знаком с этим Банком Северной Европы. Но кончил он речь неожиданным заявлением о том, что у него вообще-то имеются квитанции из этого банка на все денежки.

Итак, первое признание: вы имеете счет в иностранном банке, — сказал въедливый Жюль Мок. — Почему же не в национализированном французском банке?... У вас три счета в этом банке: счет Дорваля, счет Освальда и счет Гозна, что позволяет, переводя деньги с одного на другой, обманывать правосудие...

ЖАК ДЮКЛО: Каналья!

ФЛОРИМОН БОНТ: Подлец!

ЖАК ДЮКЛО: Ничтожество!

МОРИС ТОРЕЗ: Убийца!

ВСТРЕЧА ТОРЕЗА С ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ

После этих бурных заседаний ничего не изменилось ни в компартии, ни в ее советском банке. Правда, Морису Торезу пришлось поехать в Москву и объяснить товарищу Сталину, что захватить власть в стране ему снова не удалось. Сталин встретил известие с пониманием и толково объяснил Торезу, почему он, Торез, не смог и на сей раз захватить власть в Париже. Да потому что союзная армия, а не советская освободила Париж: «Вот если бы

Красная Армия стояла во Франции, тогда картина была бы другая (человек с богатым воображением или нашим с вами опытом без труда представит себе, какая была бы картина — Б.Н.)... Вот если б Черчилль еще чуток бы замешкался с открытием второго фронта на севере Франции, — сказал тов. Сталин, — Красная Армия пришла бы и во Францию» (И сами понимаете, не ушла бы, как не ушла из других стран — Б.Н).

«Тов. Сталин сказал, что у нас есть идея дойти до Парижа», — восторженно сообщает запись тов. Тореза (преданная гласности в 1996 году французским журналом «Коммунизм» — Б.Н). В ответ тов. Торез заявил от лица трудящегося и даже нетрудящегося народа, что «он может заверить тов. Сталина, что французский народ примет Красную Армию с энтузиазмом. Тов. Сталин сказал, что при таких условиях картина была бы другая. И Торез сказал, что тогда де Голля не было бы в помине».

Поскольку беседа была интимная, тов. Сталин коснулся вопросов взаимодействия компартии, которой пока не удастся захватить власть, с демократическим (хотя и идейно незрелым) правительством Франции:

«Компартия недостаточно сильна, чтоб стукнуть правительство по голове. Надо накапливать силы... Если ситуация переменится к лучшему, тогда силы, сплоченные вокруг партии, послужат силам нападения».

КАК ФУНКЦИОНИРОВАЛ БАНК

Ну, а пока по голове стукнуть было нельзя, оставалось спланировать силы, да и самим выживать, на что у компартии уходило очень много денег. Целям подпитки компартии и служил этот таинственный банк на бульваре Осман. Иногда, впрочем, все устраивалось и в обход всех банков. В Париж приезжал приятный человек из КГБ с полным «дипломатом» долларов, сдавал их товарищу Гастону Плисонье в стеклянном здании на площади полковника Фабьена, а товарищ Плисонье в обмен на «дипломат» долларов писал вполне дипломатическую расписку — «Бумаги получены» (множество этих распи-

сок французский автор Лупан нашел и переснял в Москве, в архиве Коминтерна, бывшем ЦПА).

Известный французский журналист Жан Монтальдо выпустил в конце 70-х годов две солидные книги, содержащие великое множество подлинных финансовых документов. Книги посвящены упомянутому нами Банку Северной Европы («Тайны советского банка во Франции») и денежным делам компартии («Финансы КПФ»). Не надо думать, что Монтальдо пустили в архивы. Даже нашего фотографа Гесселя погнали от банка с его русским фотоаппаратом. Но предприимчивый Монтальдо заметил, что простые французские уборщицы (не завезенные из Москвы) выбрасывают по вечерам центнеры бумаг в мусорные ящики в подворотне. Трудяга-журналист стал увозить эти бумаги и обнаружил там почтенные имена коммунистических аристократов и астрономические цифры. Книжки Монтальдо доказывают документально, что самая богатая во Франции политическая партия (изначально «французская секция» ГПУ и Коминтерна) финансировалась коммунистической Россией и ею же контролировалась. Что и пропаганда свержения французского правительства, и самая «любовь французских трудящихся» к коммунизму, Сталину и СССР, и успехи коммунистов на выборах, и саботаж, и «борьба за мир», и шпионаж — все это обходилось России в копейку. Местным товарищам оставалось лишь придумывать на месте простенькие, способные обмануть простаков (а их всегда в избытке) мероприятия по «отмыванию» чужих субсидий. Ну, скажем, продажа первомайских ландышей в пользу партии. Прелестное мероприятие под лозунгом

«Ландыши, ландыши —
Светлого мая привет...»

Кое-что мероприятие это могло, конечно, принести, некий приварок для партийного буфета. Как, впрочем, и праздник «Юманите», и сбор денег среди членов партии по подписке на самые невероятные нужды и цели (скажем, на прокорм вьетнамского населения, на то, на сё, на строительство нового гигантского штаба партии — двадцатник с рыла — и еще и еще). Иногда оглашали совершенно невероятные суммы, собранные коммуниста-

ми, скажем, сорок миллионов франков — это при том, что 64% членов партии получали меньше полутора тысяч в месяц. Не ломайте себе голову надо всей этой липой. Во французской «секции Коминтерна», как и в прочих иностранных секциях этой могучей шпионской организации, конспирация всегда была главным принципом жизни.

...Члены партии еще помнят, как водили провинциальных активистов на экскурсии по новому штабу компартии на площади Колонель Фабьен. Сдадут камарады из глуши тысячи две франков в партийную кассу, а потом идут по коридору, обмирая от восторга, и слушают гида:

— Вот здесь, товарищи, заседает комиссия финансового контроля, здесь обсуждают состав нового политбюро (все это секретно, при закрытых дверях), а здесь идет работа по восстановлению исключенных членов партии. Все, кого исключили за последние семьдесят лет, могут быть безоговорочно восстановлены как несправедливо исключенные. Запрещается только напоминать, за что конкретно Вас исключили (за сочувствие оккупантам или, наоборот, за несочувствие оккупантам — разные были периоды, линия колебалась вместе с Москвой). Запрещается обсуждать прошлое. Все архивы партии закрыты...

ФИНАНСОВАЯ ИМПЕРИЯ И ЕЕ ЛИДЕРЫ

Недавно, уже в XXI веке, новый здешний секретарь сказал, что хорошо бы ввести гласность в выдвижение кандидатур или еще во что-нибудь... Сказал и понял, что опередил время: до гласности партия, созданная ГПУ, никогда не созреет. А уж ждать гласности в самой щекотливой сфере, в финансовой, было бы просто наивно. Известно, впрочем, что в отличие от «партий крупного капитала» и «партий монополий» здешняя «партия неимущих классов» очень богата и всегда была самой богатой политической партией Франции. Компартия Франции — это могучая финансовая империя, отмеченная, вдобавок к ее дисциплинированности и секретности, всеми чертами капиталистического треста: заграничные филиалы, монополии, нелегальные операции, взятки, бой-

кот враждебных фирм и предприятий, ростовщичество, технократия и бюрократия, добрых три сотни подчиненных ей предприятий...

Каким способом они все управляются, вам никто не расскажет, это тайна. Кроме называемой обычно дворцовым гидом комиссии финансового контроля, в партии есть гораздо более важный Главный отдел администрации и финансов, то есть существует параллельная и тайная иерархия, об этом обычно не говорят.

Скажем, кроме изредка позировавшего фотографам знаменитого казначея партии Жоржа Гозна, существовал в те же семидесятые годы никогда никому не позировавший, никуда не избиравшийся, хотя изредка и называемый скороговоркой с присовокуплением скромного «с признательностью», некий Жан Жером: вот, мол, спасибо, помог нашему ЦК эксперт по деньгам, высокочтимый товарищ Жан Жером. На самом деле он был никакой не Жан и не Жером, а уроженец польского местечка Михаил Файнтух, и ясно было, что он-то всем тут и занимается, но говорить об этом решались только самые отчаявшиеся (и уже исключенные из партии) диссиденты. Был он в Париже «человеком Москвы», «серым кардиналом», «советником и советчиком», и тип он был настолько скользкий, что даже в немецкой тюрьме его не убили, хоть ясно было, что он беспаспортный иностранец, и коммунист, и еврей.

В тюрьме он просидел до 1944 года, потом ему выдала компартия справку, что был он не в тюрьме, а в Сопротивлении. До испанской войны он ползал где-то в здешнем комсомоле, был человек маленький, а потом вдруг выплыл в Испании как интендант Андре Марти. В Москве с этими испанскими персонажами разделались сразу по их возвращении, еще до новой войны, а в «соцстранах» и в лимитрофах, вроде Франции, за них взялись позже. Так что Жером, быстро сориентировавшись, понес этого Андре Марти, а тот рассказал миру, что интендант его был жулик и снабжал бойцов бросовым оружием. Но жулик не жулик, а был он человек ценный. Хотя и тайный. Как, впрочем, и вся компартия.

ОТКУДА ВСЕ-ТАКИ ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ

Но перейдем к главному. Все эти «сборы средств» и даже российские чемоданы с долларами — это компартии, что слону дробина. Ведь на организацию какого-нибудь мизерного партсъезда уходит не меньше десяти миллионов. А еще жрут деньгищи пропаганда, предвыборная кампания, содержание огромного аппарата, прессы, типографии, дома, партийные дачи, партийные поезда, подкуп актива, прожорливый боевой профсоюз СЖТ с его гигантским бюджетом, а еще забастовки... Не забудьте вечно прогорающую газету «Юманите», партучебу и прочее...

Откуда же все-таки такие деньгищи?

Тут компартии не пришлось изобретать ничего нового, действует она так же, как и другие партии, только лучше.

Скажем, на конец 70-х годов прошлого века во Франции было 1309 мэров-коммунистов, а также 14 000 коммунистических муниципальных советников в 5 000 коммунах (уездах, сельсоветах что ли) Франции. При этом 77 муниципальными советами, имевшими большинство советников-коммунистов, и руководили коммунисты. Это приносит «чистый» доход. Меры и муниципальные советы решают, какой фирме заказать постройку школы, супермаркета, стадиона, многоэтажной хрущобы «для бедных» (живут там чаще всего богатые и блатные), кинотеатра. Выбор большой. Заказы разместят среди своих, надежных — из числа «своих» трехсот фирм, среди которых есть и фирмы-посредницы. Не то, чтобы свои фирмы-посредницы наймут самых лучших строителей, нет. Они возьмут самую большую взятку, причем в условиях максимальной конспиративности. Возьмут, отдадут партии и уйдут «в глухую несознанку»...

Все просто. И не то чтоб никто об этом не знал: все знают. То же самое делают социалисты и неоголлисты, но они уже отсидели за это на скамье подсудимых, а компартия пока по-прежнему (уже лет 20) под следствием. Это же конспиративная партия: бумаг здесь не пишут, в крайнем случае при аресте, небось, съедают расписки — как повествуют учебники ГПУ и Коминтер-

на. И следствие тянется, умирают свидетели, уходят на пенсию прокуроры... Совсем недавно снова генсека и казначея компартии вызвали на ковер в прокуратуру: в прессе мелькали все те же сокращенные названия липовых фирм. Скажем, ЖИФКО, опять ЖИФКО, жив ЖИФКО, все тот же посредник ЖИФКО, все тот же СИКО-ПАР... Опять все то же. Давно известно, что эта ЖИФКО продает от коммунистических мэрий госзаказы, но пойдди докажи. Следствие старается. Нашли какую-то жалкую взятку в 20 миллионов, курам на смех. Все молчат, как партизаны на допросе. Своих воров партия всегда покрывает — всего важнее престиж партии и партийная дисциплина. Расползается элегантный слух, что да, коммунисты берут взятки, но берут их только для партии. Благородно? Нет, конечно, взятка есть взятка, но говорят французы, все же это не так противно, как у наглых социалистов. Собственно, берут так же, но прячут лучше. Великий человек был Ленин, создавший здешние секции Коминтерна. Тысячу раз объяснял он соратникам, что от масс все нужно скрывать. Не нужно им знать лишнего, массам. А французская масса нисколько не просвещеннее, чем зулусская.

И еще верил Ильич в то, что всякого можно купить. Только надо, чтоб было на что покупать. У компартии есть на что. Посещая иногда своего приятеля-шофера, живущего в «красном поясе» на севере Парижа, я подолгу слушаю за ужином семейные новости: чем разжиглась нынче семья (и бабка, и дедка, и внучка, и Жучка) от коммунистической мэрии, которая активно готовится к местным выборам. Не так, конечно, впечатляюще, как рассказы о продвижении левых «интелло» в массе «чужих» работников умственного труда, попроще, но тоже, скажу вам, не слабо. Перепала непыльная работенка для не слишком грамотного папы, поездка на дорожную Кубу для деток, дотации от мэрии, высокая пенсия для бабки и дедки, бесплатные кости для Жучки, всего мне не перечесать, я не директор банка, что на бульваре Осман. Но может, оттого и гуляю пока незарезанным...

2. ОДНОРУКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ АГЕНТ, ДОБЛЕСТНЫЙ ЛЕГИОНЕР И ЛЮБОВНИК ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Поселившись во Франции в 80-е годы, я ежегодно, а то и два раза в год, улетал отсюда через родную Москву в неродной, но нежно любимый Таджикистан. Когда же душанбинские друзья сообщили мне по телефону в начале девяностых, что лучше мне не прилетать больше, потому что лететь стало некуда и незачем, мира больше нет в горах и долинах, а улететь оттуда стало невозможно, я долго маялся без ни с чем не сравнимого, ставшего милым дыханья Востока и в конце концов отправился в Марокко. С тех пор езжу туда часто. Не Таджикистан, конечно, пожиже, но все-таки Восток.

Помню, в первый свой приезд я стоял близ крошечно-го отеля в Медине сказочного Мекнеса, смотрел на яркие звезды, слушал ритмы надрывно плачущей музыки и вспоминал: «Мекнес? Мекнес? Откуда я могу знать про Мекнес? Где-то читал...Что-то читал...» Потом вспомнил — письмо Зиновия Пешкова в отличном альманахе Пархомовского: ночь в Мекнесе, звезды, музыка... Что там еще было?

Вернувшись в Париж, снял с полки публикацию доктора Пархомовского и отыскал это письмо однорукого legionера Зиновия Пешкова, отправленное им из Мекнеса своему крестному отцу-писателю М.Горькому:

«Сколько людей я близко знал, сколько стран избородил и в какие только разнообразные условия жизнь меня не ставила. И вот теперь, живя здесь в одиночестве, в военном лагере, в Африке, я выхожу ночью на холм, откуда виден, по другую сторону реки, старый город и откуда легкий, нежный ветер приносит звуки песни бедуина, тамбура, рожка и плачущей молитвы муэдзина, смотрю я на бархатное небо и яркие, яркие звезды, я проникаюсь такой любовью, такой печалью и — вместе — радостью, и так я люблю жизнь, и все, и всех, и такую ощущаю необходимость поделиться со всеми и всем своею радостью бытия и верю в Божье Провидение и в лучшую жизнь людей на земле — что

хочется уйти, раствориться в этой ночи, превратиться в ветер и нести людям благоухание животворящее любви и радости...

Скоро оставлю службу — подам в отставку... Оставив службу, я хочу поехать в Россию. Знаю, что мне будет очень трудно, продвигу все, что меня может ожидать при всяком режиме, но все-таки поеду...»

Легионер Пешков

Эти два слова и начертаны на его могильной плите на православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. На той же плите — имена героини Сопротивления княгини Вики Оболенской и ее мужа — архимандрита Николая Оболенского. Это послевоенная дружба Николая с Пешковым и соединила их имена на одном надгробье — отдельно, хотя, впрочем, не так уж далеко от могил Николаевой матушки-княгини и милых сестричек Нины и Мии, знаменитых некогда парижских манекенщиц. Но ведь он же из евреев был, этот таинственный легионер-генерал Зиновий Пешков, вспоминается мне, он же из Свердловых, урожденный Ешуа Золомон Мовшев Свердлов. Я говорю таинственный потому, что в советские годы не положено было даже упоминать его имя. Как же так — родной брат первого большевистского президента, друга Ленина и при этом не большевик, пожалуй, даже напротив, агент Антанты, милитарист, патриот старой России, а потом агент французского МИДа: на портретах пустой правый рукав лихо заткнут за пояс, а вся грудь увешана орденами, как у маршала Жукова (среди них даже русский — Владимира 4-й степени с мечами и бантами, полученный уже после французской военной медали, но еще до Ленина, конечно, при Керенском). Таинственный, потому что даже старые архивы французского МИДа не все раскрывают из того, что поручают агенту. Таинственный, потому что, похоже, был верующий христианин — впрочем, это уж и вовсе тайна из тайн, тайна души.

Рассказывали, впрочем, что после своего второго ранения, в Марокко, в 1925-м, сорока лет от роду он и вовсе хотел уйти в монастырь. Иногда он все же раскрывал душу в письмах любимому «отцу» и благодетелю

Горькому, который нежно звал его сыном, высоко ценя живость его ума, наблюдательность, грубоватую прямо́ту (которой так не хватало самому буреизвестнику революции), самостоятельность мнений, умение дружить с мужчинами и нравиться женщинам. Как ни странно (и ни печально, может, для нас, бывших советских школьников, так мучительно подробно зубривших романы и памфлеты корифея), Горький очень внимательно выслушивал советы и рассказы своего Зи́ны-Зиновия, отчасти послужившего прототипом для «положительных» героев «полезного» романа «Мать» и сумевшего вложить американское раздражение в знаменитые памфлеты Горького о «желтом дьяволе» и «музыке толстых». Да вот и в упомянутом мной выше письме из марокканского Мекнеса (1922 год) «сын» отважно полемизирует с прославленным 54-летним отцом, пришедшим у себя на вилле в унынье от «европейского безумия».

ПИСЬМО ГОРЬКОМУ

«Дорогой мой Алексей... Никак не могу разделить твой пессимизм... все дело в ощущении... Испытываю огромную радость и счастье жить... Зло может быть побеждено только добром, печаль — радостью, горе — счастьем и хаос — спокойствием... Если старые политические деятели, правые и левые одинаково, не могут справиться с новым элементом, вошедшим в жизнь за последние годы... если их поступки безумны... еще не значит, что «всё и все сходят с ума».

«Одни — правые старики — думают, что массы ничему не научились за последние десять лет... Другие — левые — стараются доказать, что спасение и счастье человечества заключается в рабочем интернационале, ставя таким образом рабочий класс в корень человеческого развития, но эти левые... идут в хвосте событий, делая всевозможные усилия, чтобы не отстать от быстрого темпа, которым идет изменение форм человеческого общежития. Думать же, что одна форма совершеннее и прогрессивнее другой и что существует какой-то прогресс, устанавливаемый, сознательно, людьми, могут только люди, надевшие шоры и скрывшие нерочито от себя ширь вокруг них или родившиеся слепыми. Есть и шарлатаны и демагоги, которым жажда власти над тем-

ными массами затемняет глаза (уж не Ильич ли? — Б.Н.), и они барахтаются в своей жалкой слепоте, бессильные подняться, выпрямиться — и страшатся взглянуть правде в глаза. Рабочий интернационал уже существует, но он — только малая часть существующих других интернационалов, гораздо более сплоченных, может быть, между собою. Интернационал финансов существует. Интернационал церкви существует, и — наконец — все мы перед Богом интернациональны, и пути Господни неведомы нам...

...кто способен... воспылать любовью ко всему живущему без различия классов и народностей, тот человек спасется от разъедающей его сердце ненависти и злобы... Безумные те, которые заглушают в себе голос сердца своего. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали», говорится в Евангелии (от Луки, гл. 11, ст. 52).

В ответ на привычную жалобу Горького о «процессе общего одичания и страшных фактах одичания» легионер Пешков отвечает, что «нужно, чтоб кристалл души нашей отражал в себе блеск и жар солнца, и тогда он пронзит самое твердое тело. А душа, пылающая любовью Божьей к человеку, и подавно пронзит самую твердую и ожесточенную душу... Только любовью может спастись мир! Миллионы людей были преданы на растерзание за эти годы, и если люди не одумаются — то мир погибнет и одичание людей дойдет до того, что они пожрут друг друга на обломках аэропланов, телеграфов, телескопов, микроскопов и реторт.»

«Но этого не будет. Надо верить. Я верю и ощущаю всем своим существом, что нарождаются и уже народились люди, которые внесут свет и успокоение в мир. Надо выйти на большую дорогу, пойти к людям всех народностей, всех цветов и всех рас и говорить о любви людей к людям и всех людей вместе — к Богу...»

Вот такую проповедь прочел капитан Иностранного легиона Пешков прославленному Горькому, зная, что Горький читает его письма, считая его «человеком умным и зорким», о чем он не раз говорил окружающим, редко, впрочем, разделявшим его восхищение (в окружении Горького всегда были в изрядной пропорции большевики и чекисты). Ибо кроме благоприобретенного папеньки, у Зиновия были сменявшие друг друга посаженные маменьки, все как есть подруги или подручные Дзержин-

ского, Ленина и их бестрепетных органов (Е.Пешкова, М.Андреева, М.Будберг). С ними однорукого тоже связывала если не любовь, то дружба.

КТО БЫЛ ЭТОТ ДОБЛЕСТНЫЙ ЛЕГИОНЕР!

Но кто же был этот однорукий капитан, со страстью неопита проповедовавший в марокканской пустыне, читавший по ночам Святое Евангелие да еще мечтавший вернуться на муки в Россию, где ничего не могло быть ему уготовано, кроме расстрела?

Судьба этого сына нижегородского кустика сложилась воистину удивительно. Где он только не бывал! «Исходил и изъездил весь свет, был на возу и под возом» — восхищенно писал о нем писатель Александр Амфитеатров.

Не берусь подробно описывать эту долгую и полную приключений жизнь, но начну все же с рождения и с семьи. Родился Зиновий в семье ремесленника-гравера Михаила Свердлова в 1884 году в Нижнем Новгороде. Евреем-ремесленником был еще его прадед. Семья была многодетная, но не бедствовала. Зиновий учился три года в приходском училище, научного рвения не проявил и уже двенадцатилетним сидел у отца в мастерской за прилавком.

Горький подружился с семьей и оказывал особое покровительство шустрому, симпатичному «Зине», который родной семье предпочитал улицу, компании революционных бунтарей и окружение Горького. Даже с братом Яковом (будущим большевистским президентом), который был всего на год моложе его, Зиновий разошелся («на идейной почве») очень рано, да так серьезно, что брат отрекался от их родства уже и в ранней юности. К тому же, когда Зиновию было 16, умерла мать, и отец женился снова, нарожал новых детей. К тому-то времени Зиновий уже постоянно пропадал у Горького: у него появилась, можно сказать, новая семья. А семнадцати лет он снял квартиру и поселился там с гимназисткой-революционеркой Лидой Соколовой. По наблюдениям полиции, они там печатали прокламации, иные из которых были написаны Горьким. Арестовывали Зиновия

неоднократно, а после третьего его ареста Горький, который тоже только вышел из тюрьмы и жил в ссылке в Арзамасе, пригласил Зиновия к себе — работать в его обширной домашней библиотеке. В этой библиотеке и в окружении знаменитого писателя продолжались «университеты» выпускника третьего класса приходского училища Зиновия Свердлова: он много читал и внимательно слушал умные разговоры.

За долгие годы дружбы с Горьким, жизни и секретарской работы у Горького способному парнишке посчастливилось общаться или даже дружить со многими знаменитыми людьми России: с Сулержицким, Шаляпиным, К.Пятницким, Буниным, Вересаевым, Станиславским, Амфитеатовым, Сашей Черным, Леонидом Андреевым, Германом Лопатиным, Скитальцем, Репиным, Сориним, Судейкиным, Новиковым-Прибоем, Коцюбинским, а больше всего с самим просвещенным самоучкой Максимом Горьким и интеллигентными женами Горького (Е.Пешковой, М.Андреевой, М.Будберг). Немало способствовали интеллектуальному росту Зиновия его собственные многочисленные романы с незаурядными женщинами эпохи, говорившими на разных европейских языках. Так что ко времени его знакомства с Андре Моруа, Клодом Фаррером, Мальро или генералом Де Голлем, его дружбы с Чан-Кай-ши или генералом Макартуром выпускник третьего класса нижегородского приходского училища был уже человеком вполне светским и неплохо образованным.

В Арзамасе в жизни Зиновия произошло событие, важность которого вряд ли могли оценить тогда он сам или окружавшие его люди. Он был крещен в православие, о чем есть запись от 30 сентября 1902 года в метрической книге арзамасской Троицкой церкви: «По чину православной ... церкви через таинство крещения и миропомазания присоединен к православию полоцкий мещанин Ешуа Золомон Мовшев Свердлов, 19 лет от рождения, с присвоением, согласно его желания, отчества и фамилии восприемника Алексея Пешкова». Дело в том, что Зиновий, который был артистичен, обладал неплохим голосом и слухом, надумал учиться в Императорской филармонии, куда ему составил протекцию сам

Шаляпин. Однако ему, еврею, жить в столице было не позволено, вот и решили его крестить. В филармонию Зиновий не попал, не сдал он и на аттестат, но работал в Художественном театре и учился в школе МХТ. Учился он, похоже, не слишком усердно. В 1902-1903 годах он, впрочем, играл «типа из толпы» в знаменитом спектакле «На дне». Настоящим артистом Зиновий так и не стал, но крещение (судя хотя бы по его марокканским письмам) для него не прошло даром...

СКИТАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Двадцати лет от роду Зиновий (уже не Свердлов, а Пешков) покинул Россию. В это последнее лето на родине он, по сообщению его биографа М.А.Пархомовского, «много отдыхал» — на Волге, в Крыму, на даче М.Ф.Андреевой. А отдохнув, уплыл в Канаду. О причинах его отъезда биографы не знают — то ли его тревожила полиция, то ли он боялся призыва в армию, то ли просто хотел побродить по свету. Так или иначе, Горький помог ему получить паспорт, подкинул денег, и вскоре Зиновий уже был в Канаде. Начались годы скитаний по Канаде и США. Зиновий работал на меховой фабрике, в типографии, на кирпичном заводе, в прачечной, на какой-то «печной фабрике». Познал «черную работу» (которая ему не понравилась), набирался жизненного опыта, который нашел отражение как в его собственных малоизвестных очерках, так и в знаменитых очерках Горького (никакого собственного опыта жизни в США не имевшего). Тамашний образ жизни, при котором и взрослые и дети стремятся побольше работать и побольше зарабатывать, юноше из вальяжного и вольномыслящего окружения Горького явно не понравилась. Обвинения против Америки и американцев, мягкие поначалу, становятся все суровее:

«Жалованья платят большие. Союзы рабочие сильны — ...повышают прибыль. Работает народ. С охотой работает. С раннего утра до поздней ночи, побольше заработать только. А думаешь живут лучше? Ничуть. Свины — и больше ничего. Все дорого безумно...»

Дальше описание публичного дома и прочие ужасы

капитализма. У самого Зиновия возлюбленная — учительница, но сходил, полюбопытствовал, описал: «...покойная яма, грязное, отвратительное болото... просыпаюсь ночью, подумаю и плачу, плачу долго уткнувшись в подушку...»

Но вот и спасение. В 1906 году Горький с новой подругой, актрисой М.Андреевой (которая была большевичкой и «финансисткой Ленина») приехали в США, и Зиновий мог худо-бедно служить переводчиком и секретарем. Отели, приемы, Марк Твен... Осенью Горький отправился в Неаполь, а Зиновий — в Новую Зеландию. Оттуда он писал Марии Федоровне Андреевой:

«Работаю в порту крючником. Таскаю ящики, тюки — ничего, не трудно... Очень грязно живут здесь. Противно прямо. Об уважении к человеческой личности здесь надо позабыть... Ну, крепко целую тебя, моя родная, хорошая, милая. Твой Зина.»

Горький писал письма Зиновию, посылал ему деньги, а в мае 1907 года блудный «сын» нагрянул к Горькому на Капри. Горький в восторге от него, но отмечает, что он хоть и славный малый («мой хороший Зинка»), но «все еще бездельник». Четыре года прожил Зиновий на вилле Горького, где, как в усадьбе былых времен, было множество домочадцев, гостей, приживальщиков. Зиновий помогал по хозяйству, занимался библиотекой, секретарствовал, читал для Горького, не знавшего иностранных языков, зарубежные газеты. Горький любил «сына», считал его почти членом семейства, часто брал его с собой в поездки по Италии и однажды написал так:

«Скоро вот стукнет мне сорок лет, людей за это время видел я несть числа, а ныне чувствую, что всего ближе мне Зиновий, сей маленький и сурово правдивый человек, за что повсюду ненавидим.»

Трудно сказать, кем был ненавидим Зиновий. Может, большевиками, с которыми так близко сошелся Горький. Впрочем, писатель и сам грешил тогда близостью к «богостроителям». Каприйскую идиллию нарушали лишь счастливые и несчастные любви Зиновия, смена его пассий и невест (приезжала, например, чикагская невеста-учительница), но окончательно разрушить ее смогла лишь его женитьба. В 1910 году маленький Зиновий увидел в Феццано дочь казачьего полковника, рослую красавицу Лидию Бураго, служившую у Амфитеатрова машинисткой. Через несколько дней молодые люди решили вступить в брак. Свадьба был шумно

отпразднована на Капри, но уже вскоре в горьковском семействе начались нелады. Причины их не слишком ясны. Мария Федоровна жаловалась, что Зиновий истратил много денег, но, может, были и какие-нибудь другие причины. Так или иначе, Горький резко переменял отношение к «сыну», и вскоре после рождения у них дочери Лизы молодые супруги уплыли в США на заработки. Зиновий пытается заняться коммерцией, но прогорает на всем. В конце концов добряк Амфитеатров забирает семейство к себе и делает Зиновия секретарем своего издательства «Энергия». Сам Амфитеатров к этому времени из социалиста становится патриотом, и потому начало Первой мировой войны в июле 1914 года его взволновало безмерно. Вот как он вспоминает об этом:

«Я напечатал в итальянских газетах весьма пылкий призыв идти волонтерами в армию — если не пускают в русскую, то во французскую. Зиновий Пешков был первым, кто принял к сердцу этот мой призыв и ему последовал. С сотнею лир в кармане выбрался из Ливанто и направился во Францию»

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОНЕР

В отличие от Ленина, Зиновий желал России не поражения, а победы над немцами. По закону он не мог вступить во французскую армию, но со временем был зачислен солдатом 2 класса в Иностранный легион, где ему пришлось тяжело: в Легионе русских приняли без восторга... Кто знал, что легион — это до гробовой доски, на которой он завещает в старости написать лишь два слова: «легионер Пешков»?

9 мая 1915 года во время атаки под Аррасом Зиновий Пешков был тяжело ранен в руку, у плеча. Эвакуация была трудной, он потерял много крови, но выжил, хотел и сумел выжить в палате умирающих. В знаменитом американском госпитале под Парижем Зиновию сказали, что правую руку ему придется отрезать до плеча. В начале июня корреспондент киевской газеты, посетивший Зиновия в госпитале, записал его слова:

«И вот теперь, как видите, без руки. Хуже всего, однако, то, что я ее прекрасно чувствую. Почти все

время у меня зуд в ладони отрезанной руки и страшная боль в сочленениях. Так хотелось бы схватить ее. Страданий она пока доставляет много.»

Корреспондента звали А.В.Луначарский.

Надо сказать, в борьбе со своим несчастьем молодой Пешков проявил огромную волю к жизни, настоящие мужество и упорство. Вот как рассказывала об этом одна из близких к нему современниц:

«У него воля — удивительное качество. Это воля такая и жизненная цепкость необыкновенные... и он говорит: «Я решил так, что я должен научиться делать левой рукой все, абсолютно все и не зависеть ни от кого. А если я не научусь, я должен покончить с собой, потому что так жить я не могу». И он абсолютно настолько все делал левой рукой, что у меня как-то в поезде вырвалось: «Слушайте, как вы мне надоели с этим чемоданом, возьмите обеими руками!» Настолько ты забываешь, что у него нету одной руки. Чудесно писал, ел, завязывал галстук, умел все одной рукой».

Горький, узнав о беде, написал Е.П.Пешковой:

«Зиновию отправил 200. Напишу ему. Но, боюсь, бесполезно писать, ибо — думаю я нецензурно. Ой, как надоела эта проклятая война...»

В конце августа в Почетном дворе Дома инвалидов грудь Зиновия Пешкова, согласно приказу маршала Жофра, была украшена первой его наградой — Военным крестом с пальмовой ветвью. Ему вручены были именное оружие и грамота с личной благодарностью маршала. В начале сентября он получил отпуск и вернулся в Италию. Здесь Амфитеатров приспособил его давать интервью, писать по-английски статьи и читать лекции о войне. «Благодаря тому, он опять сделал ряд авторитетных знакомств, — вспоминал Амфитеатров. — А надо сказать, что он человек симпатичный и привлекательный, и кто с ним знакомится, обыкновенно остается надолго к нему расположен». В этих словах разгадка многих из служебных и любовных успехов нашего героя — его неотразимое обаяние. Впрочем, в Риме обаятельного героя войны ждали неприятности. Краса-

вица жена встретила калеку без особого энтузиазма. Письмо Зиновия его старшему другу, легендарному Герману Лопатину звучит печально:

«Живу теперь на свете без правой руки, иногда нахожу, что это неудобно, но в общем привыкаю постепенно. Вот, видите, пишу левой рукой. Никогда в жизни не писал ею, теперь же привык... Одеваюсь и обуваюсь сам. Решил с первых же дней своего увечья обращаться как можно меньше к помощи. Ничего радостного.

ФРАНЦУЗСКАЯ КАРЬЕРА

Но вот тут и началась новая, французская карьера Зиновия Пешкова. Он был отправлен французами в США читать лекции, агитируя за вступление американцев в войну. Горький писал по этому поводу Е.П.Пешковой:

«А Зиновий-то произведен в лейтенанты, командирован Францией в Америку, получает 49 долларов в день. У него роман с графиней Черних, женою сараевского консула, того, который способствовал австрийскому заговору против Сербии. Когда началась война, графиня — англичанка по происхождению — потребовала у мужа развод, а теперь — Зиновий».

Может, графиня Черних была первой в длинном ряду великолепных женщин, желавших доказать увечному герою, что настоящий мужчина и без руки — настоящий мужчина.

Заработанные им во время американского турне 70 тысяч долларов Зиновий передал американскому госпиталю в Нейи, где его выходили. По возвращении в Париж он был награжден орденом Почетного легиона за — как сообщал «Журналь офисьель» — «выдающиеся заслуги перед союзными странами». Поселили его французы по возвращении в шикарных апартаментах отеля «Крийон», что на площади Согласия.

В конце июня 1917 года он был произведен в капитаны и отправлен с особой миссией в Россию, которую он впервые снова увидел после тринадцатилетнего перерыва. Он был прикомандирован сперва к военному мини-

стру Керенскому, который за участие в наступлении представил его к ордену Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантами. В Петербурге Зиновий повидался с Горьким и неоднократно фотографировался с Марией Федоровной Андреевой. Она была, хоть и большевичка, но все же актриса, а ее фотография рядом с французским офицером, появившаяся на первой странице «Театральной газеты», была очень эффектной. Но, конечно, в большевистском окружении Горького милитарист этот Пешков был не ко двору. Амфитеатров вспоминает, что Зиновий был затем прикомандирован к Деникину в качестве военного атташе:

«Зиновий русскую войну считал проигранной, но в Деникина был весьма влюблен и возлагал на него большие надежды. В последний раз мы увиделись в октябрьские дни... Жизнь Пешкова как «наемника Антанты» была в опасности, он спешил скрыться и вырваться за границу. Я был изумлен его смелостью, что прощаться он приехал не переодетым, а в офицерской форме...»

Зиновий был отозван в Париж. Там он был принят президентом Пуанкаре, которому доложил свое мнение о положении в России: «После этого он побывал в Греции, США и отправился на Дальний Восток, полтора года был в Китае и Японии, затем прикомандирован был к ставке генерала Жаннена, где сотрудничал с Колчаком. «Акт признания Францией Колчака верховным правителем был доставлен в Омск Зиновием Пешковым», — пишет Амфитеатров. До сентября 1920 года Зиновий находился с миссией на Кавказе, а в октябре прибыл с графом де Мартеlem в Крым к Врангелю.

В воспоминаниях князя В.А.Оболенского рассказано о том, как однорукий французский офицер, встреченный им в трудную минуту на пристани в Севастополе, помог эвакуироваться всему семейству князя. Этот офицер был Зиновий Пешков. Впрочем, Оболенский оказался не единственным, кому Зиновий Пешков помог бежать из тогдашней России. Он помог уехать художникам Сорину и Судейкину и вывез из Тифлиса в Европу знаменитую

петербургскую красавицу Саломею Андроникову, ту, чьи портреты писали лучшие тогдашние художники (и Петров-Водкин, и Серебрякова, и Шухаев, и А.Яковлев, и Сомов), ту самую божественную «Соломинку», которой Манделштам посвятил целый цикл стихов, ту, о которой подруга ее Анна Ахматова писала:

Как спорили тогда — ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет...

Саломея так вспоминала в старости о своем бегстве с Зиновием:

«Когда после революции Грузия сделалась самостоятельной, туда приехали представители всех стран. И приехал в Грузию большой дипломат Кув де Мартель. Его помощником был Зиновий Пешков, хорошо выглядевший, к тому же говоривший по-русски и дипломат. Зиновий имел у меня успех. И в один прекрасный день он мне говорит: «Слушайте, нас отзывают. Мы завтра должны уехать в Париж, спешно. Поедемте со мной». — «Завтра? Едем.» Я уехала без паспорта, без всего, как была, с маленьким чемоданом...»

Саломея Николаевна рассказывает, что ее не пропустили без виз через границы, и на болгарской границе, беседуя с таможенниками, Зиновий увидел какой-то бесхозный почтовый штамп, шлепнул им по бумажкам Саломеи и воскликнул: «Слушайте, так вот же у меня болгарская виза!» Удалось обмануть не только болгар, но и прочих таможенников... Так он привез первую красавицу петербургского Серебряного века в Париж и жил с ней счастливо, по ее утверждению, по меньшей мере два года. И произвел на удивительную женщину столь же сильное впечатление, как ее первый муж (всего их было, если верить ей, только четыре, а историю эту Саломея рассказала в старости сыну Алексея Толстого Никите; верный же поклонник З.Пешкова доктор М.А. Пархомовский разыскал ее в архиве и предал гласности в восторженном жизнеописании своего героя).

Узнав о новом романе Зиновия, его очередная «маленька», не менее таинственная, чем «сын», Мура Будберг-Бенкендорф-Закревская написала Горькому:

«А я, оказывается, устроила себе профессию знать всех жен З.Пешкова. Я и эту знаю немного, если она сестра Яссе Андроникова. Действительно, страшный род Пешковых!»

Это уже позднее, живя в Лондоне и похоронив Уэллса, Мура Будберг подружилась с Саломеей, которая стала, кстати, в старости отчаянной сталинисткой.

РОМАНЫ

Впрочем, еще до встречи с Саломеей у Зиновия было в разных странах Старого и Нового Света несколько романов с головокружительными женщинами. Наряду с графиней Черних люди осведомленные называют некую графиню Гернин, безродную, но богатую дочь миллионера Моргана, какую-то Сесиль Беккет, а также, поверите, чуть ли не саму итальянскую королеву и, конечно, принцессу Жак де Бройль, которой посвящена книга об Иностранном легионе, и еще, и еще...

После развода с казачкой Лидой Зиновий женился на графине Комбетт де Комон, дочери известного автоконструктора и автомобильного короля Делоне-Бельвиля. Из прочных и долгих его романов известна также его связь с участницей французского Сопротивления и писательницей Эдмондой Шарль-Ру (она была его лет на сорок моложе), получившей в 1966 году Гонкуровскую премию и ставшей супругою знаменитого политика, мэра Марселя Гастон-Дефера. Писательница эта рассказывает, что в 50-е годы она познакомила Зиновия с сестрой Лили Брик небезызвестной супругой Арагона Эльзой Триоле и что знаменитые «глаза Эльзы» он называл «глазами России». Впрочем, может, опытный разведчик З.Пешков просто хотел сказать, что знаменитая Эльза была всевидящим «оком Москвы»...

Мало что понимающая в мужских страстях Н.Берберова отзывается об этой важной стороне жизни З.Пешкова иронически:

«По слухам у него в каждой европейской столице была обожающая его подруга, испанская графиня, французская принцесса, итальянская герцогиня, которая мечтала за него выйти замуж. Все это было немного смешно...»

Нам, мужчинам, все это не представляется смешным (во всяком случае, менее смешным, чем заявление Берберовой, что она выбивалась в люди без мужской

помощи, но об этом мы еще потолкуем). Ну разве только «немного смешно», но при этом и немного завидно, что сквозит, к примеру, в подтрунивании благожелательного Амфитеатрова:

«В этом отношении жизнь Зиновия Пешкова превосходно укладывается в знаменитый диалог из «Каменного гостя»:

— Что ж? Вслед за ней другие были?

— Правда.

— А живы будем, будут и другие.

— И то.

— Теперь которую в Марокко отыскивать мы будем?

Враг социально-политического третьего Интернационала, по части романтических увлечений и походов — ах, какой интернационал!»

СЕМЬЯ СВЕРДЛОВЫХ

Кстати, об интернационале... Конечно, всех биографов волновало, повидался ли Пешков-Свердлов, попав после столь долгого отсутствия в Россию и в Петербург, с другим знаменитым Свердловым, с родным братом-начальником? Николай Васильевич Вырубов передал мне легенду о том, что Зиновий разговаривал с братом по телефону и плакал. Сам Николай Васильевич в эту легенду не верит. Он вообще не очень-то себе может представить плачущего З.Пешкова. Рассказывают, что Зиновий и Яков встречались у Горького на Кронверкском, просидели наедине три часа и вышли оба белые (от ярости? от горя?). Передают еще, что младший (Яков) требовал, чтоб старший немедленно покинул Россию. Что ж, Свердлов-ленинец знал наверняка, что сделают большевики с Зиновием, придя к власти, да и для карьеры всех прочих Свердловых наличие брата-агента (не агента Ленина и Дзержинского, каких полно было на дачах Горького, а агента Антанты) было бы губительным. Впрочем, произнеся это страшное слово, мы должны забежать вперед и сказать несколько слов о злощастной судьбе этого семейства. Отец семейства, ремесленник М.И.Свердлов, был сразу разорен новой властью, во главе которой встал его сын Яков, соратник Ленина. Яков был председателем ВЦИК, кем-то вроде первого президента Советской России, вторым человеком в стране, впрочем, был очень недолго. В марте 1919 его прибрал грипп, и сам Ленин сказал речь в годовщину его смерти, назвав его полезным работником. Впро-

чем, Ленин в речах не тратил зря усилий на буржуазные сантименты. Повод для публичного выступления пригодился ему, чтобы развить, наконец, близкую его нежному сердцу мысль о необходимости его личной диктатуры, о выдвигании «принципа личного авторитета, морального авторитета отдельного человека, решениям которого все подчиняются без долгих обсуждений».

А что же сам Яков Михалыч Свердлов, чей новенький с иголки памяти на площади Свердлова в Москве был, вероятно, первым разломан в начале нашей скоротечной перестройки (еще до «меча»-Дзержинского)? Чем знаменит этот «младший брат»? Несмотря на краткий срок начальствования, он успел оставить по себе в России недобрую память. Скажем, призывами расколоть русскую деревню, создать в ней два враждующих лагеря. «Только если мы сможем расколоть деревню на два лагеря, возбудить в ней такую же классовую борьбу, как в городе, — говорил Свердлов, — только тогда мы достигнем в деревне того, чего достигли в городе». Видимо, «полоцкий мещанин», истинный ленинец Свердлов имел в виду городские погромы, убийства, грабежи и другие подобные достижения... Поговаривают, что и истребление царской семьи, и геноцид казачества не обошлись без инициатив этого ленинца. Позднее его сын Андрей работал в ленинско-сталинских органах, дослужился там до высокого чина полковника, был адъютантом самого Берии и прославился своей жестокостью. Младший брат Зиновия и Якова Вениамин вернулся после революции из-за границы, проявил «американскую складку» ума, добрался до поста наркома, а после 1937 года сгинул в Гулаге. Тяжко пришлось и старшей сестре Зиновия («очень красивой, полноватой девушке», упомянутой в мемуарах одного земляка-нижегородца). Она выучилась на врача-педиатра, вышла замуж, произвела на свет литературно-«пролетарского» вождя Леопольда Авербаха (расстрелянного в свой срок) и дочку Иду, которая вышла замуж за провинциального фармацевта, о печальных глазах и мягких манерах которого так убедительно писал французский гуманист Ромен Роллан, — за Ягоду. К тому времени, когда Роллан познакомился с Идиным мужем Генрихом Ягодой, бывший аптекарь уже возглавлял НКВД, дружил с Горьким и Алексеем Толстым, ухлестывал за невесткой Горького «Тимошей», а уж что он тогда творил на Лубянке, о том лучше не думать. Конечно, и сам Ягода и его жена были чуть позже расстреляны, да и вся семья (и вось-

милетный сын Иды, и обе ее сестры, и ее мать Софья Михайловна) арестована, о чем писала позднее в своих мемуарах вдова Бухарина А.М.Ларина. В беседах с Ролланом и Сталин и Ягода доказывали хилому французцу, что большевистский гуманизм (и забота о собственном здоровье) требует от них уголовного преследования детей (вплоть до расстрела). Именно это воспоминание побуждает меня привести тот душераздирающий пассаж из мемуаров А.М.Лариной (Бухариной), где она говорит о старшей сестре З.Пешкова и ее внуке (восьмилетнем сынишке Иды):

«Оказавшись в Томском лагере в одно время со мной, Софья Михайловна беспокоилась о своем маленьком, оставшемся без родных внуке. Ей в виде исключения разрешили послать запрос о ребенке, сообщили его адрес и позволили написать ему. Она успела дважды получить ответы от внука: «Дорогая бабушка, миленькая бабушка! Опять я не умер! Ты у меня остелесь одна на свете, и я у тебя один. Если я не умру, когда вырасту большой, а ты станешь совсем старенькая, я буду работать и тебя кормить. Твой Гарик». Второе письмо было еще короче: «Дорогая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе писал. Я умираю много раз. Твой внук».

Из всех революционно настроенных отпрысков свердловской семьи больше всех, кажется, повезло Льву: он умер от чахотки еще до Великой войны, 23 лет от роду... в общем, не зря я назвал семейство нижегородского кустика Свердлова злосчастливым, хотя многие, по справедливости, могли бы его назвать и злокозненным... Впрочем, даже в этом злосчастном семействе был свой счастливец — однорукий легионер, красавец, покоритель сердец Зиновий Пешков, умерший в довольстве и покое 82 лет от роду в прекрасном городе Париже и похороненный друзьями-легионерами, отдавшими ему последние почести.

ЗИНОВИЙ ПЕШКОВ И БОЛЬШЕВИКИ

Однако мы с вами рано поспешили на похороны, едва добравшись до начала 20-х годов, когда наш герой вернулся с Кавказа (откуда умыкнул прославленную красавицу, тревожившую воображение поэтов). Несмотря на его деятельное участие, его французским покровителям не удалось сколько-нибудь существенно помочь ни Колчаку, ни

Врангелю. Однако изгнавшая их Россия нейдет из головы у беженца З.Пешкова. Страшный голод грозит стране, и Зиновий берется спасти голодных россиян, которых большевики успели довести до ручки. Он избран секретарем комиссии помощи голодающим России, о чем Горький пишет из Германии своему влиятельному другу Ленину:

«На днях вызвал сюда из Парижа Зиновия Пешкова, так называемого приемного сына моего, он выбран секретарем международной комиссии помощи и довольно влиятелен в этом деле... городские и сельские коммуны Франции дают деньги весьма щедро и охотно... Рабочие портов Гавра и Марселя грузят целый пароход... Я убеждал Зиновия высылать деньги возможно скорее, хотя бы Красину...»

Ленин знает, кто такой Зиновий Пешков. Но тов. Ленин прагматик: раз большевикам не удалось повесить этого Зиновия, пусть хоть деньги шлет, с паршивой овцы...

Вскоре Зиновий Пешков получил французское гражданство и вернулся на службу в Иностраннный легион, где и служил с перерывами до самого 1940 года. В перерывах он выполнял какие-то задания МИДа и генштаба, ездил то в США, то на Восток. Вот как писал об этом А.Н.Рубакин в своем не напечатанном, но хранящемся в архиве очерке:

«Время от времени Зиновий появлялся в Париже, где я всегда его видел мельком. Он то приезжал, то уезжал, исчезая куда-то на долгие месяцы, как-то таинственно, не говоря о том, куда он едет. Все это время он работал во 2-м Бюро Генштаба. По словам более осведомленных, чем я, лиц, он был своего рода французским Лоуренсом, которого направляли с тайными и дипломатическими поручениями в разные страны».

В архивах французской полиции (с которой более высокие разведведомства не обязаны делиться своими тайнами) сохранилось такое донесение за 1922 год:

«Бывший офицер Иностранного легиона Пешков (Зиновий), родной сын большевика Свердлова, одного из убийц императорской семьи в Тобольске, приемный сын Максима Горького, находится в сношениях с большевиками, которые, как он утверждает, пригово-

рили его, как и многих других, к смерти. Люди, знающие его хорошо, не отрицают его сношений с Советами, но утверждают, что он это делал якобы для нужд 2-го бюро, и этим они объясняют его влиятельное положение в министерстве иностранных дел и дружеское покровительственное отношение к нему М.Нуленса... было бы интересно выяснить истинную роль, которую Пешков играет в Доме Прессы... а также характер его связей...»

В первую неделю того же 1922 года, после новогодних праздников, проведенных им у Горького в Санкт-Блазиене (в Шварцвальде), Зиновий представил министру иностранных дел де Перетти доклад с изложением взглядов Горького на положение в тогдашней России (там царят анархия, коррупция и т.д.), на позицию Ленина (Ленин, дескать, провел жизнь за границей, не знает свою страну, да она и нужна ему лишь как факел, чтобы поджечь мир буржуазии). Резюме этого доклада было полвека спустя предано гласности профессором Н.Струве в русских газетах, и содержание его могло бы успокоить французскую полицию. С другой стороны, ее наблюдение о «большевистских» контактах Зиновия не было столь уж ошибочным. Ведь и впредь, гостя в Италии у Горького, общаясь с «маменькой» Будберг и другими, Зиновий попадал в настоящее гнездо питомцев «железного Феликса», но похоже, что это не портило ему настроения. Эта терпимость может нас удивить (как и поздняя дружба его со сталинистами Арагоном и Триоле), но оттого лишь, вероятно, что мы люди не светские, а он был светский человек, и это точно отметила светская женщина Саломея Андроникова:

«Он — абсолютно светский человек. Интересы у него чисто авантурные. Понимаешь, ему надо было все знать, знать, смотреть, видеть, куда-то мчаться, сражаться. Это был настоящий авантюрист в хорошем смысле слова: войны, путешествия, знакомства и никаких препятствий!»

ГЕРОЙ И АВАНТЮРИСТ

Обратите внимание — слово произнесено. То, что оно произнесено красавицей авантюрного Серебряного века, ничего не меняет. Она видела в Зиновии авантюриста (да, может, он именно этим ей и нравился). С большей сдержанностью, с меньшим восхищением называет Пешкова авантюристом его биограф А.Н.Рубакин. К этой характеристике присоединяется мой парижский знакомый, герой минувшей войны князь Н.В.Вырубов, знавший Зиновия Пешкова. Он тоже говорит о Пешкове:

Авантюрист.

И добавляет при этом, что знаменитый этот герой любил играть роли не только на любительской сцене, но и в жизни, любил примерять маски, и трудно было отличить эти маски от настоящего лица. Но это было со многими героями того времени. Разве не таков был героический Гумилев?

И все-таки попробуем выяснить, что значит это для нас — авантюрист? В большинстве русских словарей слово это имеет явно отрицательную окраску («беспринципный человек» у Ожегова, ибо «авантюра» — сомнительное предприятие). «Авантюрист в хорошем смысле слова», упомянутый Саломеей Андрониковой в наших словарях даже не числится. Но ведь и большинство знаменитых героев — авантюристы. Они искатели приключений. Они делают ставку на сомнительные предприятия, считая их или выгодными для себя или спасительными для человечества. И анархисты, и эсеры, и большевики, и мореплаватели (в «лучшем» смысле), и бизнесмены-спекулянты, и террористы всех мастей (от эсеровских или сионистских до арафатовских) — конечно же, авантюристы. Самый безобидный, казалось бы, вид авантюриста — странствующий рыцарь, который ищет на свою ... шею приключений. И д'Артаньян был авантюрист, и Бакунин был авантюрист, и Савинков, но и Азеф тоже. Кончаются авантюры чаще всего плохо. Но иногда и благополучно. Для авантюриста. Таких «счастливчиков» можно назвать множество и кроме З.Пешкова — Мура Будберг, генерал Судоплатов...

Иностранный легион, в котором долго и успешно служил Зиновий Пешков, считают прибежищем международных авантюристов. Как ни парадоксально, именно легион становится для авантюриста Зиновия местом серьезных трудов и благих раздумий (впрочем, те, кто питают пиетет к разведовательным «миссиям» и секретным «докладам», вроде приведенного выше донесения из дома Горького в Шварцвальде, могут со мной не соглашаться).

РУССКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ

Легендарный однорукий командир З.Пешков оказался хорошим воспитателем, любящим своих подопечных, — слуга Франции, отец солдатам. И при этом вполне нижегородцем. Н.В.Вырубов передает легенду о том, что престарелый З.Пешков слушал у себя на рю Пористой записи Ансамбля Советской Армии («Калинка, калинка, калинка моя...») — и... плакал. Н.В. не верит этой легенде. Я тоже. Но вот письмо ротного Зиновия Пешкова Горькому из Марокко:

«В моей роте около сорока человек русских. Когда я принял командование, то было не больше двадцати, но потом многие стали проситься ко мне. Есть у меня пять капралов русских и четыре сержанта. Среди капралов один с очень хорошим именем Кареев... очень воспитанный и умный молодой человек. Он недавно в роте, но пользуется уважением всеобщим. Большинство русских легионеров вступило на службу в 20-м и 21-м году, т.е. после эвакуации Деникина из Новороссийска и после эвакуации Врангеля из Крыма... не захотев вести нищенскую, попрошайническую жизнь в Константинополе, или на островах Принцевых, или на о. Мудрость и Галлиполи, они вступили в ряды Французского Иностранного легиона... Есть также русские в Тунисе, в Индокитае и в Сирии. Всего, я думаю, можно насчитать около трех тысяч на французской службе... Русские солдаты на хорошем счету, а инженерами и топографами маршал Лиоте не нахвалится. Возьмем мою роту. Дисциплина у нас строгая, жизнь суровая, и нужно много выдержки и характера, чтобы изо дня в день нести службу. Чтобы поддерживать необходимую дисциплину, конечно, приходится людей наказывать. И вот, у русских, у большинства, но у огромного большинства, никогда никаких проступков. Немец, когда он напьется — а ему немного надо, красное

французское вино быстро охмеляет его, — он становится груб и нахален. Русский, во-первых, трудно пьянеет, а если и во хмелю, то становится грустным и почтительным — он поёт. У меня, между прочим, замечательный русский хор. Когда мы в походе и останавливаемся на отдых и ночлег, русские собираются на одну сторону образуемого войсками квадрата, немцы уходят в другую сторону. И начинается пение. У немцев пение несложное и мотив однообразен и скучен, напоминает он всегда протестантскую кирку; у русских пение сложное и в сложности своей высоко гармоническое. Здесь у меня есть вятичи и сибиряки, а также и кубанские и донские казаки, украинцы тоже. Они друг перед другом входят в соревнование, стараются свою песню лучше спеть и выказать. Есть и солисты. Два у меня тут солдата совсем не могут вклиниться в эту обстановку, один — барон Т... нежный блондин, мягкотелый, никак даже до капральского чина достучаться не может, поет цыганские песни, а другой, длинный и худой молодой господин в очках, сын помещика Орловской губернии, поет песенки Вертинского: «Твои пальцы пахнут ладаном»; ты видишь эту картину... в горах Среднего Атласа, одетый в шинель легионера, закрыв глаза и раскачиваясь, кто-то поет с надрывом о пальцах, пахнущих ладаном...

Русские также считаются самыми честными людьми. Воровство, особенно мелкое, очень развито. Когда приходим в какое-нибудь поселение, жители — берегись, а также тащат на продажу казенные вещи. За русскими этого не водится. Почти все сторожа при казначеях, полковых и ротных магазинах — русские. У меня прошлым летом, когда моя рота шла отдельно от полка, бывало иногда до ста тысяч франков. Ни разу, ни одного сантиметра не пропало... Хотя у меня имеется больше двадцати всадников-туземцев, с которыми я произвожу разъезды, но всегда беру с собой казака. Во-первых, приятно говорить по-русски среди такой чуждой России обстановки, а затем он великолепно обращается с арабами...

Русский человек, легионер Пешков не испытывает никакой враждебности к «диким» марокканским племенам, время от времени режущим друг друга. Он верит в цивилизаторскую миссию Иностранного легиона (как, скажем, верили в подобную же миссию русские офицеры, стоявшие некогда на Кавказе или

на Памире). В 1925 году, валяясь в рабатском госпитале после нового (уже марокканского) боевого ранения, Зиновий Пешков написал книжку «Иностраннный легион в Марокко», предисловие к которой написал сам Андре Моруа, так представлявший автора и предмет книги:

«Автор — один из тех командиров, которые умеют поднимать униженных и оскорбленных, приобщая их к той задаче, которую Иностраннный легион унаследовал от легионов Римской империи — к задаче служения цивилизации. Всюду, где проходят легионеры, возводятся дома и строятся дороги, европейцы внедряют современную технику и ей обучают...

Иностраннный легион... это институт. Беседы с Зиновием Пешковым дают идею почти религиозного характера этого института. Когда Зиновий Пешков говорит о Легионе, глаза у него горят. Он апостол этой религии...»

Сам Пешков пишет в предисловии к книге, что его легионеры могли бы повторить фразу римских легионеров: «Мы маршируем, и дороги следуют за нами».

Легионеры открывают аборигенам их собственную страну. Они пионеры, их труд и жертвы дают людям мирную и счастливую жизнь, цивилизуют страну.

Зиновий писал об этом и в письмах Горькому, и бывший революционер не возражал колонизатору из легиона. Но конечно особенно охотно писал Зиновий Горькому о своей двенадцатилетней дочке Лизе, с которой он только недавно начал переписываться. Он переводит для Горького ее письма с итальянского:

«Знаешь, обожаемый папочка, я печальна и мне очень хочется плакать, не знаю, что со мною... И когда ложится на меня эта печаль и когда является желание плакать, я ухожу в свою комнату, открываю сундук, в котором храню все твои письма, выбираю те, которые мне больше всего нравятся, и читаю их до тех пор, пока не успокаиваюсь. Ты говоришь так хорошо о природе и о человеческих чувствах и ты даешь мне хорошие советы... уверяю тебя, я становлюсь лучше, когда читаю твои дорогие письма».

Растроганный отец добавляет: «Быть нужным кому-нибудь так приятно, а особенно ребенку, — добавляет Зиновий. — Очень я скучаю по ней!..»

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Девочка Лиза выросла большой и красивой. Зиновий возил ее в Сорренто к Горькому... Потом она стала совсем взрослой и вышла в Италии замуж за приезжего русского специалиста — Ивана Маркова. В последний раз Лиза видела отца весной 1937 года в римском ночном кафе, куда она пошла с мужем и его друзьями:

«Войдя в зал, я увидела отца. Он еле заметно улыбнулся. Я села к нему спиной. Ни разу не повернулась, но и уйти не могла. Так я просидела до 4 часов утра, зная, что отец тоже не уходит. Домой пришла в истерике. Ведь я могла сделать вид, что мне нужно выйти, как-то увидеться с ним не в общем зале...»

Предосторожности не спасли ни Лизу, ни ее мужа. Они вернулись в Москву, где она родила сына. Чуть позже забрали Ивана, а потом и ее с ребенком... Ивана, вероятно, расстреляли сразу. Она же, вернувшись из ссылки, преподавала языки в институте, потом поселилась в Сочи, в каком-то дощатом бараке. Когда в Сочи приезжал президент Франции Помпиду, Елизавета сумела передать ему письмо через знакомых шоферов, и в 1974 году ее по приглашению французов отпустили в Париж — на могилу отца.

Николай Васильевич Вырубов рассказывал, что ему в один прекрасный день позвонили из МИДа и сказали, что на Северном вокзале сидит дочь покойного генерала Пешкова... Он поехал на вокзал. Позднее его адвокат пытался выцарапать хоть что-нибудь для дочери и внука З.Пешкова — из богатой семьи автомобильного короля, оказавшейся законной наследницей генерала через бывшую законную жену. Выяснилось, что не так-то просто...

Н.В.Вырубов, который в Англии еще молоденьким студентом одним из первых записался в «Свободную Францию» де Голля, высоко оценивает решительность Зиновия Пешкова в те дни 1940 года. После капитуляции Франции полковник Пешков отказывается при-

нять позорное перемирие и подает в отставку. Потом 56-летний Пешков одним из немногих старших офицеров добирается в Лондон — под знамена генерала де Голля. Де Голль делает Пешкова «странствующим дипломатом» и доверяет ему серьезные дипломатические миссии. Первый его пост был в Претории, где он должен был по мере возможности перетягивать Южную Африку на сторону союзников. Чуть позднее генерал де Голль «скоростным методом» произвел своего посланника в бригадные генералы. Это был редкостный случай стремительного возвышения и большой служебной удачи (легко догадаться, что в армии у Пешкова было немало завистников).

С 1943 года Зиновий Пешков возглавлял французскую миссию в Китае, а потом и военную миссию в Токио. Затем получил ранг Посла Франции. Это была вершина его карьеры. В 1947 году он ко всем своим орденам получил еще и Большой крест Почетного легиона, а в 1950 году ушел в отставку и поселился на левом берегу Сены, на улице Лористон — невдалеке от площади Звезды, к названию которой присоединили со временем имя его покровителя генерала де Голля. Невдалеке от Елисейских полей и Сены, но так далеко от Волги и Нижнего Новгорода, носившего тогда имя его восприемника Горького...

В архивах французского МИДа немало материалов, отражающих его деятельность агента (понятное дело, тайную), но это все французские, китайские, японские или американские, а не русские тайны. Что же до русских тайн... Я думаю, может, он и впрямь плакал в старости у себя на рю Лористон, слушая диск с хоровым пением Ансамбля Советской Армии. «Калинка, малинка, малинка моя...», «Есть на Волге утёс, диким мохом оброс...». Шаляпин... Горький... И эта девочка, как же ее звали? Лида... Наташа... Клава...

3. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ОБМАНА, ИЛИ СУДЬБА СЕМЬИ КРИВОШЕИНЫХ

Прошлой осенью мне позвонил мой сосед по 13-му округу Парижа Никита Кривошеин и сказал, что я должен непременно посмотреть новый французский фильм «Восток—Запад». Не то чтоб французская кинематография вдруг воспарила к былым высотам, а просто фильм этот про то самое, о чем мы так часто толкуем с Никитой и его милой женой Ксенией у них на авеню Италии, — о первой эмиграции и одолевавших ее просоветских соблазнах, о великом обмане репатриации и неизбывной эмигрантской ностальгии. О послевоенной эмигрантской эйфории и о доме на улице Гальера. И, конечно, в первую очередь о героической, о трагической судьбе Никитино отца Игоря Кривошеина, которого я, поселившись в начале 80-х близ площади Италии, еще застал здесь, у нас, в 13-м округе.

Голос Никиты по телефону звучал так настойчиво, что я, преодолев скептицизм и лень, отправился в ближайший кинотеатр. Фильм взволновал меня тоже. Хотя он касался Никитиной судьбы, а не моей, из темного зала я вышел на авеню Гоблен совершенно больным. А вскоре после этого я попал с московской киногруппой на роскошную улицу Гальера, что в 16-м округе Парижа. Был чудный весенний день. Пышно цвели фруктовые деревья в саду близ дворца герцогини Гальера, где нынче Музей моды. Мы вошли в подворотню дома № 4, увидели тихие, безлюдные лестницы, мертвый дворик — и мне все вспомнилось, что я про это читал и видел. Не только этот недавний фильм, в котором все начинается с прощального вечера репатриантов — скорее всего здесь, в этом доме, но и вообще все... А главное — вспомнилась трагическая судьба моего соседа Игоря Кривошеина, Царствие ему Небесное.

В годы оккупации нацисты разместили в этом доме №4 управление по делам русских эмигрантов. Возглавлял его (под неусыпным надзором гестапо) специально выписанный из Германии молодой танцор по

фамилии Жеребков. В этом бюро русские эмигранты должны были пройти регистрацию. При этом некоторым из них ставили в паспорте жирный штамп — «еврей». Никто не понимал тогда, что сомнительное это обозначение (иные ведь из них были православными и считали себя русскими) равносильно смертному приговору.

После освобождения в том же помещении разместились эмигрантская просоветская (также под неусыпным надзором органов) организация, часто менявшая название и в конце концов названная «Союзом советских патриотов», а потом и «Союзом советских граждан». Организацию эту возглавлял мой будущий парижский сосед, герой Сопrotивления Игорь Кривошеин, отец Никиты и сын знаменитого министра Александра Кривошеина.

Как при немецких, так и при советских организациях дом № 4 на улице Гальера был местилищем многих тайн. И посетив этот притихший дом после просмотра жуткого фильма «Восток—Запад», я впервые задумался о том, что мог знать обо всех этих тайнах трагический эмигрантский герой, мой сосед Игорь Кривошеин, заплативший за эти чужие тайны такой дорожной ценой... Но здесь без рассказа о судьбе Игоря Александровича Кривошеина, его жены Нины Алексеевны и их сына Никиты Игоревича, моего нынешнего парижского соседа и друга, мне не обойтись.

Игорь Александрович был третьим из пяти сыновей Александра Васильевича Кривошеина, известного государственного деятеля, министра-реформатора и соратника Столыпина до революции, а после нее — премьер-министра правительства Врангеля в незабываемую, поистине историческую эпоху полуострова Крым. Как до революции, так и в эмиграции современники высоко ценили природный ум А.В. Кривошеина — об этом найдешь строки и у Бунина, и у В.О. Боленского, и у Врангеля. Как и другие сыновья А.В. Кривошеина, Игорь Александрович получил хорошее образование, был выпускником Пажеского корпуса, знал европейские языки. Он успел повоювать против немцев в Первую войну, а потом и против большеви-

ков — в Гражданскую, на которой он сражался в денкинской армии и под Перекопом у Врангеля. Кончил Игорь Кривошеин войну в чине штабс-капитана лейб-гвардии Конной артиллерии, из Крыма эвакуировался вместе с отцом. В Париже Игорь Кривошеин закончил образование, получил диплом инженера-электротехника, нашел хорошую работу, женился на Нине Алексеевне Мещерской. Как и его молодая, энергичная жена, как и многие «эмигрантские дети» из «хороших семей», Игорь Александрович пережил кризис переоценки твердой антибольшевистской позиции отцов, испытывал ностальгическое чувство «вины перед родиной», сблизился с движением «младороссов», искавших нового пути в красных и коричневых идеологиях (и нередко попадавших в объятия красно-коричневых идеологов и разведок).

Собственно, первой пришла к «младороссам» красивая, яркая, энергичная, ищущая жена Кривошеина Нина Алексеевна, и грех было бы не рассказать о ней подробнее.

Отец Нины Алексеевны Алексей Павлович Мещерский (из той ветви Мещерских, что не имела княжеского титула) был инженер, энергичный предприниматель, богач, банкир, директор Сормовского, а потом Коломенского заводов. Была у Нининой семьи большая квартира в Петербурге, появились уже у красивой, образованной девушки первые поклонники — будущий знаменитый экономист и богослов Кирилл Зайцев, композитор Сергей Прокофьев... После Октября последовали арест отца (и угроза расстрела), ночной побег Нины за границу по льду Финского залива, а за рубежом — первый брак, через год — развод и второй брак; вторым браком Нина Алексеевна вышла за Игоря Кривошеина. С замужеством эмигрантское странствие: Белград, Константинополь, Ницца — временно завершилось в Париже, и последовало двадцать семь лет эмигрантской жизни, жизни вполне терпимой и даже веселой. Игорь Александрович выучился на инженера и нашел работу, Нина Алексеевна стояла одно время за стойкой своего ресторанчика «Самарканд» близ русского собора, у нее там пела

Лиза Муравьева, а подпевал за столиком младший сын Льва Толстого Михаил Львович. Были встречи, концерты, путешествия по Европе в своем автомобиле. Позднее появился сын Никита (и, конечно, взяли ему няню).

МЛАДОРОССЫ И КАЗЕМ-БЕК

Но вот однажды, году в 1931, родственник графа Адама Бенигсена Миша Чавчавадзе привел молодую, любопытную энергичную Нину в кафе «Ле Вожирар» в 15-м районе Парижа, где проживало много русских. «Так я попала к младороссам и так... там и осталась», эта веселая фраза, написанная Ниной Алексеевной на девятом десятке лет, неплохо передает легкость тогдашних решений молодой женщины. Впрочем, Нина Алексеевна дает и некоторые объяснения тогдашнего успеха младоросской партии в аристократических и интеллигентских верхах эмиграции, сообщая, что «глава» партии, ее «вождь» (ее фюрер) Александр Казем-Бек был «человек примечательный, обладавший блестящей памятью, умением тонко и ловко полемизировать и парировать атаки. А сколько их было! В ранней юности был скаутом, в шестнадцать лет участником гражданской войны, потом участником первых православных и монархических съездов в Европе. Человек честлюбивый, солидно изучивший социальные науки и теории того времени, с громадным ораторским талантом, он имел все данные стать «лидером», а так как все русские политические организации — кадеты, эсдеки, эсеры — рухнули под натиском марксистского нашествия, то и надо было найти нечто иное, создать что-то новое. Таким образом, младоросская партия оказалась единственной новой, то есть не дореволюционной партией, партией, родившейся в эмиграции, и нравилась она или нет — она и до сих пор остается единственным политическим ответом в зарубежье на большевистскую революцию. Был ли это просто ответ на новый социальный фактор тридцатых годов XX века. ФАШИЗМ? Да, конечно,

это отчасти так и было, и в 1935-36 гг. как белый, так и красный фашизм довольно-таки ярко и четко выявили свои гадкие мордочки среди младороссов.

Проще говоря, младоросские теории примыкали и к нацизму и к национал-большевизму, причем «вождь» вел тайные переговоры с русскими фашистами из Германии, и с Дальнего Востока, и с немецкими нацистами, и с итальянскими фашистами, и с агентами советской разведки. Уточним насчет «гадких мордочек» и близости младоросского вождя к нацизму. На самом деле Казем-Бек и задолго до указанного Ниной Алексеевной 1935-36 гг. флиртовал с гитлеровцами, жил в Мюнхене в их среде (еще и в 1922), но конечно, это нисколько не отпугивало эмигрантскую «молодую Россию». Отпугнуть ее мог бы любой намек на демократию, а правая и левая диктатура (хотя бы и советская) обладала в глазах молодых русских политиков огромной притягательностью. Испуганное так и не созревшей российской демократией, униженное своим положением на Западе поколение «эмигрантских детей» пришло вслед за певцом «нового средневековья» Бердяевым к отчаянному отрицанию западной демократии и цивилизации. Альтернативой этой «гнилой демократии» были фашизм или большевизм. И то и другое оказались приемлемыми для младороссов. Нина Кривошеина так и объясняет это в своей мемуарной книге (недавно переизданной в России):

«Главное, что меня привлекло к ним, — был их лозунг «Лицом к России!» ... Конечно... иногда они впадали в нелепое и почти смехотворное преклонение, в восторг перед «достижениями»... мне пришлось быть на докладе о промышленных и технических достижениях в Советском Союзе, где повторялись вследствие данные советской прессы...»

Даже когда вождь младороссов был скомпрометирован тайными переговорами с советским агентом А. Игнатьевым и многие ушли из партии, Нина Алексеевна продолжала поддерживать младороссов, утешаясь фразой из монархиста (будущего коллаборациониста)

Морраса. «Знали ли все мы тогда, — пишет Н.А.Кривошеина, — о том, что творилось в России — на Соловках, на пресловутых стройках, при коллективизации деревни, при разорении приходов и взрыве церквей? Казалось, должны были не только знать, но и громко кричать про это. Но мы шли своим путем.»

Добавим, что за это ленинское упорство и почти ленинскую фразу бедная женщина позднее расплатилась сполна.

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИГОРЬ КРИВОШЕИН

Что до Игоря Кривошеина, то он к тому времени нашел близкие для себя идеи в масонской ложе. Может показаться, что его сочувствие младороссам, искавшим спасения в идеях тоталитарного экстремизма и расизма, должно было бы придти в противоречие с гуманистическими и демократическими идеями масонства. Собственно, так оно и было. И один из видных масонов (П.Бурышкин) отмечал это неизбежное противоречие у масонов-монархистов...

А потом грянула вторая мировая война. Вместе с другими русскими эмигрантами (по большей части масонами) Игорь Александрович попал в лагерь Компьень. Впрочем, всех, кроме евреев, оттуда довольно скоро выпустили. Тем не менее лагерь завершил антифашистское воспитание Игоря Кривошеина. Он начинает сотрудничать с «Православным делом» матери Марии, которое спасало в ту пору жизнь обреченным здешним евреям, и вскоре становится активным участником Сопротивления. Игорь Кривошеин был не из тех многочисленных французских «резистантов последнего часа», что обзавелись перед уходом немцев справками об «участии в Сопротивлении», он был настоящим героем, рисковавшим жизнью ежечасно. Игорь Александрович устанавливает в оккупированной Франции связь с английской разведкой и сотрудничает со «Свободной Францией» де Голля... Связ-

ным его становится младший брат Кирилл.

И вот однажды...

Помню, как потрясла меня в его передаче эта история, рассказанная мне на мирных тропинках парижского парка Шуази, что был на полдороге между его и моим домом... Стоял жаркий полдень. Моя годовалая дочка перебирала у газона грязный парковый песок, голос Игоря Александровича звучал тихо, ровно, но мне слышалась в нем неизжитая боль... Однажды в оккупированном Париже он встретил на улице друга студенческих лет, немца. На немце была ненавистная нацистская форма, он был уже майор, и когда Игорь сказал ему, как все это страшно, как горько, немец с жаром признался, что он тоже ненавидит тирана Гитлера, что он тоже хотел бы бороться против него... При следующей встрече Игорь Александрович передал майору Вильгельму Бланку список вопросов, присланный из Лондона. Ну, а потом провокатор выдал их обоим, и майора Бланка сразу поставили к стенке. Может, это воспоминание о погибшем немце и дребезжало болью в голосе моего собеседника. Татьяна Осоргина-Бакунина говорила мне, что ее старый друг И.А. Кривошеин до смерти не мог забыть этого немца, винил себя в его гибели.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ

Самого Игоря снова отправили в Компьенский лагерь, оттуда в Бухенвальд, а оттуда в лагерь смерти Дахау. Он выжил, но вернулся домой чуть живой. А Париж кипел в те месяцы: русская эмиграция переживала патриотический подъем — подъем слепого патриотизма, вызванного счастливой русской победой. Что там молодой Кривошеин — столпы эмиграции, заслуженные борцы с большевизмом пошли с повинной в советское посольство! Герой Сопротивления Игорь Кривошеин становится вскоре во главе движения русских, а потом и «советских патриотов». Может, ему казалось, что, как бывало в лагере, они продолжают борьбу против общего врага. Его не смущает, что борьба в мирной Франции идет зачастую теми же подпольными методами, что и в лагере: это же борьба за правое дело. Только сегодня некоторым из историков приходит в голову, что, возмож-

но, уже и в немецких лагерях были советские профессионалы-подпольщики из органов (как, скажем, во французской компартии всем верховодили профессионалы-подпольщики из органов и Коминтерна). Многие тысячи русских берут в ту пору во Франции русские паспорта. Однако, пригласив брать паспорта, советские власти не спешат пустить их на родину. Эти «советофилы» могут пригодиться и здесь. Им объясняют, что возвращение еще надо «заслужить», надо «послужить», «поработать», «оправдать доверие». Новые советские граждане посещают дом на улице Гальера. Там они слушают лекции о счастливой жизни в сталинской России, там поют советские песни, готовятся к отъезду на родину. Всем верховодит Союз советских патриотов, во главе которого стоит сын врангелевского премьер-министра, бывший белогвардеец, герой Сопrotивления и советский патриот Игорь Кривошеин.

Впрочем, возможно, Союз советских патриотов занимался не только делами новых советских граждан (более десяти тысяч эмигрантов взяла тогда советские паспорта, и половина из них успела уехать). Париж кишел в ту пору самыми разнообразными посланцами Москвы, военными и агентами в штатском. Одной из их важных задач была репатриация как можно большего числа «советских граждан» (даже если эти граждане никогда не бывали в Советском Союзе). Франция покрылась сетью лагерей репатриации, самым знаменитым из которых был лагерь Борегар под Парижем. В документах французской полиции, имеющих отношение к этому лагерю, то и дело мелькает название Союза советских патриотов с улицы Гальера. Невольно возникает вопрос, чем еще занимались профессионалы разведки и добровольцы-эмигранты с улицы Гальера, кроме воспроизведения «атмосферы социализма» в своем клубе, кроме организации дешевого ресторана, устройства танцев и лекций о процветании колхозов? Работы у них, вероятно, было много. По большей части работы секретной, следы которой отыскиваются лишь в секретных донесениях французской полиции и военной разведки. Вот, скажем, донесения французского подполковника Мореля, который допытывался у русского старосты в лагере репатриантов Борегар, как они попали сюда, в лагерь, и услышал в ответ:

«Два человека русского происхождения представились нам как члены Союза русских патриотов (адрес их ул. Гальера, дом 4, телефон 9420) и сделали нам соблазнительные предложения насчет облегчения нашего положения и скорого перевода в предместье Парижа, где мы будем наняты в патриотическую русскую милицию для продолжения войны на французской территории».

Сообщение любопытное. Что знали об этом руководители Союза русских патриотов? Верили ли они, как и множество коминтерновских агентов во Франции, что война еще не кончена? Что Западную Европу Сталин еще не считает потерянной для себя? И что у Франции еще есть все шансы стать союзной или автономной республикой СССР, «субъектом федерации»?

Подполковник Морель добавляет в своем донесении (оно было обнаружено историком Жоржем Кудри в архивах департамента Сены-и-Уазы, хранящихся в Версале — досье 300 W 84), что его внимание уже и раньше привлекли «двое неизвестных, которые пришли общаться с обитателями вверенного ему лагеря» и намерения которых показались ему «совершенно недвусмысленно происками коммунистической пропаганды и попыткой завербовать этих людей, по всей видимости, в какие-то вооруженные банды с целью сеять беспорядки в парижском пригороде и создавать атмосферу, способствующую беспорядкам. Необходимо провести расследование по поводу этого «Союза русских патриотов», который прикрывается помощью лагерникам, но истинный смысл существования которого нетрудно предвидеть».

Надо отдать должное подполковнику из военной разведки: он обладал даром предвидения, да и заметил, наверное, что различные, близкие к компартии организации и так называемые «дипслужбы» СССР принимают участие в размещении и организации этих лагерей, а также в неистовом розыске «русских» (а таковыми бесспорно считались и грузины, и прибалты, и западные украинцы из Галиции, и поляки, и даже чехи) для того, чтобы заполнять ими лагерные бараки — сперва по всей Франции, а потом и по всей России. Бывших русских (хоть когда-нибудь бывших русскими) советские разведчики искали и вылавливали в Сопrotивлении, во французских частях, даже в рядах Иностранно-

го легиона (в Марокко и Тунисе), ловили их на парижских улицах, в городах Эльзаса. Отлавливали и русских жен французских граждан (им тоже предстояло заполнять женские лагеря Гулага)... То, что насчет лагерей, это не моя дилетантская выдумка, подтверждает в своей книге высокий профессионал разведки генерал КГБ Павел Судоплатов, который обвиняет (и вполне справедливо) западных союзников в том, что согласно подписанным ими вместе с СССР в Ялте секретным протоколам на союзников, по существу, «возлагались обязательства по наполнению мест заключения в Советском Союзе: лагеря сразу после войны ожидали сотни тысяч «политических противников» и других «подозрительных» лиц, оказавшихся на территории Западной Европы... Причем насильственная репатриация распространялась не только на бывших советских граждан, но и на тех эмигрантов, которые никогда не состояли в советском гражданстве!»

Дом на улице Гальера принимал во всех этих операциях активное участие. В донесении инспектора Сержа К. от 26 сентября 1947 года, переданном разведке, а затем префекту, было описано появление близ Борегара армейского комиссара и неизменных товарищей с улицы Гальера:

«С начала сентября трое русских из Союза русских патриотов, комитета помощи советским заключенным, с парижской улицы Гальера, №4, часто посещали лагерь, побуждая мужчин перебираться в казармы Рейи».

Что уж там затевали питомцы Дзержинского и Берии в этих казармах Рейи? Французский инспектор отважился на неглупое предположение, что готовится какое-то восстание, и высказал мнение, что «советским представителям во Франции следовало бы привести деятельность Союза патриотов в соответствие со своей политикой в отношении Франции». Предположить, что именно эти самые «дипломаты» и затевали тогдашнюю авантюру, казалось некорректным даже инспектору разведки.

БОРЕГАРСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

...В тот момент в латере Борегар было 910 русских, из которых треть составляли женщины. Лагерь продолжали заполнять день за днем. Этим усердно занималась сотня агентов под командованием 25 офицеров генерала Драгуна (Миссия по репатриации). У миссии были особняк на авеню Бюжо и множество квартир по всему городу — от Елисейских полей до улиц Фэзандри и Колонель-Боне.

Тем временем московский коллега генерала Драгуна французский генерал Пети, отправленный в Москву для репатриации французских офицеров, не мог получить визы для прибытия туда и полдюжины своих офицеров, а занимавшийся тем же в Москве полковник Маркье и вовсе был отозван Парижем за его выступления против ... Франции. Похоже, что французам, застрявшим в плену, ничего не светило. Чуть позднее, на парижском процессе Кравченко, и Маркье и Пети (который очень любил фотографироваться в советской форме) выступали в защиту коммунистического еженедельника, оклеветавшего Кравченко. Так что оба, скорей всего, были коммунистами или их «попутчиками».

Видимо, французская разведка усилила в конце 1947 года наблюдение за странными маневрами в экстерриториальном советском лагере Борегар близ Парижа. Отмечена была также активность советского генерального консула (разместившегося на рю Гальера, рядом с Союзом патриотов) в отношении перегруппировки русских пленных (часто к тому же вооруженных)... Время было непростое. Коммунистическое объединение профсоюзов, похоже, готовилось к превращению всеобщей стачки в гражданскую войну...

В конце концов, воспользовавшись первым удобным предлогом (спором из-за похищенных детей), французская полиция с танками окружила и обыскала лагерь Борегар. Без сомнения, и администрация лагеря и прочие советские органы были предупреждены о готовящейся полицейской операции, так что оружия на территории лагеря нашли совсем немного (но все

же нашли), и левая пресса учинила по этому поводу большой скандал. Тем не менее, лагерь перешел в ведение французов, и последний экстерриториальный опорный пункт советской разведки под Парижем был ею потерян. Все же 110 тысяч «выходцев» с территории расширенного после сговора с Гитлером Советского Союза были, добровольно или насильственно, отправлены из французских лагерей и еще столько же из французской зоны оккупации Германии за границу, в СССР (по большей части в лагеря Гулага, которые были, понятное дело, не чета санаторным заграничным). В этой славной операции Союз патриотов, похоже, показал себя истинным патриотом богомолловской выучки и не положил на руку охулки. Так что об аресте и высылке его руководителей было объявлено почти одновременно с закрытием лагеря, Борегар.

ТРАГЕДИЯ ИГОРЯ КРИВОШЕИНА

Среди 24 высланных из Франции лидеров просоветского движения во Франции был герой Сопротивления, многострадальный Игорь Александрович Кривошеин. Это положило конец его политической деятельности, но не положило конца его бедам. Настоящие беды были еще впереди, и прежде, чем рассказать о них, надо затронуть еще одну сферу деятельности нашего трагического героя И.А.Кривошеина (сферу, которой и сам он придавал большое значение). Его послевоенная активность в этой области отражала то ли глубину его тогдашних заблуждений, то ли степень его заангажированности в надвигавшейся на Францию катастрофе. Так или иначе, она внесла смятение в расстроенные и без того ряды эмигрантов.

Как сообщает в своей новой книге «История русского масонства после Второй мировой войны» историк масонства А.И.Серков в конце 1945 года, когда мастерские русских высших степеней масонства возглавлял бывший русский военный атташе в США Н.Голеевский, он возвел Игоря Кривошеина в 33-ю (очень высокую) степень ма-

сонства. И вот вместе с Голеевским Кривошеин вносит в ложи идею переноса всей масонской работы на территорию Советского Союза. Как могла такая идея придти в голову Кривошеину? Думаю, что в той ситуации, в которой он оказался к тому времени, он получал идеи готовыми.

Великий командор Русского особого совета 33-й степени Голеевский уже в апреле 1945 года вел на эту самую тему переговоры с советским послом генералом разведки А.Е.Богомолловым. Думается, многоопытный разведчик Богомоллов и подкинул эту идею Голеевскому. В масонских ложах просоветские масоны, защищая это свое фантастическое предложение, приводили в пример «успехи» православной церкви в Советском Союзе: смотрите, церковь разрешена, она поддерживает коммунистическую диктатуру, и все ее акции, а за это ей разрешено окормливать российские массы. Аргумент был смехотворный, но вряд ли его придумал Кривошеин или даже Голеевский. Идея водворения «тайных» лож в стране «охоты на ведьм» была типичной провокацией, наподобие «Треста», к тому же не новой.

Уже в 1933 году агент ГПУ масон Бренстед рассказывал «братьям»-масонам о «тайном орденом движении» в СССР. А.Серков сообщает в своей книге, что тогда «большинство членов ложи восприняли» утку «как провокацию советских спецслужб». Тем не менее, в 1936 году бедного Ю.Терапиано чуть не отправили «на связь» с тайными масонами (и уж наверняка на смерть). После войны ситуация изменилась, так что наступление «группы Кривошеина», отстаивавшей ту же идею, было более настойчивым. Кстати, во время войны Бернстед был в Сопротивлении, тесно был связан с коммунистами, и, если верить масону П.Бурышкину, именно из группы Бернстеда возник после войны Союз русских патриотов. Союз и входившие в него масоны распространяли, по сообщению Бурышкина, «иллюзии о советской власти» среди масонов и немасонов и вообще не гнушались никакой даже самой смехотворной просоветской пропагандой.

П.Бурышкин отмечает, что масоны эти были известны как люди правых убеждений, как монархисты, что они «задолго до войны симпатизировали «авторитарным» режимам Гитлера и Муссолини и, во всяком случае, пытались проповедовать «объективное отношение» к оным. Демократические принципы для этих людей значения не имели, что и позволяло им с большой легкостью отказаться и от масонской сущности».

Позднее разговоры о перенесении деятельности масонства в Россию заглохли, но в ноябре 1947 года разразился скандал с лагерем Борегар. «Что-то с этим лагерем было не то...» — пишет Н.А. Кривошеина. Было ли что-то «не то» также с Союзом советских патриотов или Союзом советских граждан? Творилось ли вообще что-то «не то» в тогдашней Франции? На эти вопросы Нина Александровна Кривошеина не может дать ответа. «Конечно, «Союз советских граждан», его собрания, его пресса, — пишет она, — носили уже характер чисто политический и могли казаться центром коммунистической пропаганды. Вопрос: были ли они таковыми на самом деле?» Вопрос, как вы догадываетесь, риторический.

ВЫСЫЛКА ИЗ ФРАНЦИИ

Если Нина Алексеевна лишь отмечает в своих мемуарах «ничтожный» результат полицейского налета на Борегар, то секретарь Союза советских граждан (ранее Союза патриотов) А.П. Марков сообщал о вторжении полиции в лагерь Борегар, как о «крайне нелепом событии»: «Кому-то надо было пустить слух... что там подготавливается какое-то антиправительственное выступление».

Что ж, у осведомленного секретаря были основания посмеиваться, но были и свои резоны темнить.

Ну а что думал об этом сам бедный Игорь Александрович Кривошеин? Спросить нам об этом не у кого. В первых кадрах фильма «Восток—Запад» появляется темный человек с улицы Гальера. Он обнимает

уезжающих репатриантов за плечи, растроганно поет с ними русский романс, а по прибытии их группы в Одессу предстает в своем менее сентиментальном обличье и ведет допрос «с применением недозволенных методов» (бьет по лицу наотмашь прекрасную женщину). Обсуждая эту сцену фильма с Никитой Кривошеиным, я высказал предположение, что может, Игорь Кривошеин, в отличие от его сына, не умел заранее узнавать «этих людей» по виду. Но не исключено, ему нравились в то время именно такие люди... Впрочем, в 1948 году, после ликвидации лагеря Борегар, события стали вдруг развиваться не вполне предсказуемо. Вот как описывает это в своей книге А.Серков:

«Французское правительство, недовольное тем, что СССР создает своего рода «пятую колонну» внутри страны (в пользу такого предположения говорила активная пропагандистская деятельность Союза советских патриотов, которая не была сопряжена с выездом новых граждан СССР на родину), перешло к решительным действиям.

События развивались стремительно. 15 августа 1947 г. состоялся учредительный съезд Союза советских граждан под председательством И.А.Кривошеина, затем последовали полуконспиративные собрания «советских патриотов», а 25 ноября 1947 г. — высылка из страны 24 советских граждан. В числе последних был и И.А.Кривошеин...»

После фильтрационного лагеря в Бранденбурге И.А.Кривошеин впущен был в СССР и определен на жительство в Ульяновск. Через несколько месяцев к нему поплыли жена с сыном. Уже на борту теплохода Нина Алексеевна почувствовала, как воспринимают ее советские пассажиры и члены экипажа:

«...Тут были и жалость, и насмешка, и злобное отталкивание, и, главным образом, полное несоответствие мироощущения, это было очень страшно, иногда на меня находила настоящая паника».

В Ульяновске Нина Кривошеина смогла, наконец, повернуться «лицом» к настоящей, а не придуманной пропагандистами «советской действительности». На долю семьи Кривошеиных выпали все трудности и беды послевоенного провинциального быта в «страшном городе» Ульяновске, на родине Ильича, испохабленной усилиями вождя в его неукротимом стремлении к завоеванию власти:

«Страшный город был Ульяновск в те годы — дома не ремонтировались больше тридцати лет, заборы и частоколы месяцами лежали поваленные на тротуарах...»

Кривошеины познали все виды нищеты, унижений, поднадзорности, повсеместного стукачества и насилия. Познали недоброжелательность и подозрительность соотечественников, не понимавших их возвращения на родину из благополучной Франции, ибо наряду с добрыми и милыми русскими людьми им попадались и люди «злобные, полные ненависти к нам, преступные (так как каждым своим словом и делом поддерживали преступную власть и, конечно, себе в выгоду)».

А потом арестовали Игоря Александровича и свезли в Москву на Лубянку. Кривошеин был арестован, как английский шпион, как французский шпион, как монархист и злейший враг советской власти, интересам которой ему довелось так пылко служить. Восемнадцать месяцев жестокого следствия на Лубянке, после которого постановлением Особого совещания, был вынесен приговор: десять лет лагеря по статье 58-4 Уголовного кодекса («сотрудничество с международной буржуазией»). Для Кривошеина начинаются лагерные муки: сперва описанная у Солженицына марфинская «шарашка», но потом уж и настоящие лагеря, описанные тем же Солженицыным, а еще страшнее — Шаламовым... Озерлаг в Тайшете...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Игорь Александрович вышел на свободу лишь после смерти Сталина. Его сын Никита окончил к тому времени институт, но потом... Я помню, как бывший приятель по Инязу испуганно шепнул мне в Москве, что арестован наш бывший студент Никита Кривошеин. Три года исправительно-трудовых лагерей (по статье 58-10 часть 1) за «шпионаж в пользу Франции», точнее, за интервью корреспонденту вполне «левой» газеты «Монд»: три года в Дубровлаге и четыре года в Малоярославце, за сотым километром. Я впервые увидел моего нынешнего парижского соседа, переводчика ЮНЕСКО Никиту Кривошеина в 60-е годы, в московском Доме кино, где мы оба работали на синхронном переводе фильмов. Помню, юные киноведки балдели тогда от его странного, «ненашего» русского, от его сказочного французского, от изысканной мужской красоты последнего и единственного потомка семьи Кривошеиных.

В 1974 году Кривошеины, вслед за вынужденным уехать Никитой, вернулись во Францию.

С Игорем Александровичем мы стали видаться в начале 80-х годов, когда я поселился в 13-м округе Парижа, близ его дома. Только что умерла его жена Нина Алексеевна. Игорь Александрович был грустен, потерян. Новости из брежневской России не вселяли оптимизма, а судьба России волновала его по-прежнему. Помню, он спросил меня однажды, можно ли возлагать надежду на новых националистов-«почвенников», вдохновляемых тогдашним ЦК ВЛКСМ... Мы стояли близ его дома. На другой стороне улицы маляры замазывали ругательные ночные надписи на стенах белого домика.

— Это штаб молодых здешних националистов,— объяснил мне Игорь Александрович, — Каждую ночь его стены покрывают ругательствами. Но они ведь и правда расисты, эти правые.

Игорь Александрович улыбнулся грустно, и я понял, что мне не стоит ему рассказывать про шустрых московских расистов-карьеристов из ЦК ВЛКСМ и «Молодой гвардии». К тому же мне вспомнилось, что до войны

здешние эмигрантские евразийцы и младороссы тоже питали надежды на комсомол и расистский национал-большевизм, на молодые кадры Красной Армии, на счастливое перерождение большевиков, на что-то еще столь же странное и безнадежное. Наша бедная родина...

Кстати, престижный орган националистов-«почвенников» журнал «Наш современник» не обошел вниманием трагическую судьбу героя Сопротивления и русского патриота Игоря Кривошеина. Через много лет после его смерти (в августовском номере за 1996 год) журнал сообщил, что Кривошеин вовсе не был выслан в СССР французским правительством, а совсем напротив: как и другие «сионисты-масоны», он ринулся туда «не без особых заданий масонских организаций по налаживанию братских связей»:

«Именно с такой миссией в СССР выехал вместе с семьей высокопоставленный масон, член масонского правительства И.А.Кривошеин. Однако чекисты сразу поняли характер его миссии. Он был арестован.»

Сын покойного И.А.Кривошеина Никита Игоревич Кривошеин не стал спорить с этой безграмотной журнальной ахинеей, но как человек, имеющий солидный советский опыт, указал в письме в редакцию, что «автора всей этой липы надо искать на Лубянке...» Ну да, в том самом здании, где Игоря Кривошеина мучили, но не добились за полтора года следствия.

Что же до самой принадлежности Игоря Александровича к масонской ложе, то его сын пишет:

«Незадолго до смерти, в 1987 году, отец с радостью говорил мне о десятилетиях, проведенных в ложах шотландского обряда, о том духовно-мистическом богатстве, что он там получил, и о том, что его православная вера приобрела благодаря всему этому еще большую крепость».



— ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО — Я ВСЮ ЖИЗНЬ РИСУЮ

В детстве я рисовал мелом на панели Сталина в мундире с орденами и карикатуры на Гитлера. Потрясенные моим искусством дворники никогда не гоняли меня. Потом я закончил Ленинградскую литературную школу, институт им. Репина Академии художеств и стал профессиональным художником-графиком.

Я делал рисунки для газет и журналов, изъездил весь Союз, был на Камчатке, на Командорских островах, на Чукотке (оттуда впервые увидел Америку через Берингов пролив), рисовал карикатуры, плакаты, проиллюстрировал 259 книг, в основном детских.

Мои работы находятся в Русском музее, я был членом Союза художников и Союза журналистов.

Мне ужасно повезло — я всю жизнь рисовал. Больше я ничего делать не люблю и не умею.

Я думал об этом, когда в 1989 году решил с семьей эмигрировать в Америку — профессия художника здесь не самая дефицитная.

Для того, чтобы отвлечься от тревожных мыслей о том, что с нами будет, я все время рисовал то, что с нами происходило. Как в таможне тетка в ватнике уве-

ренно выводит на нашем багаже ISRAEL — слово, еще недавно звучащее как ругательство, как мы живем в Вене и Риме, как получаем (или не получаем) визы в американском консульстве, как «русские» торгуют на римской толкучке «Американо». Эти рисунки были напечатаны в «Новом русском слове», а потом ХИАС издал их отдельной книгой — «Ура! Мы едем в Америку». Это самая любимая из моих книжек.

Однажды, когда я рисовал знаменитую лестницу на площади Испании в Риме, я услышал вопрос: «Quanto costa?» («Сколько стоит?»). Не торгуясь я отдал свой рисунок бородатому студенту из Мюнхена за десять тысяч лир и на радостях купил детям мороженое. Оставшуюся бумажку в пять тысяч лир я сохранил на память о моем первом заработке на Западе, — на счастье, чтоб повезло.

Мне «повезло»: через неделю, после приезда в Нью-Йорк, я сделал обложку книги воспоминаний Надежды Храмовой «Пока нас помнят» для издательства «Эрмитаж».

А через пару месяцев я стал работать в «Новом русском слове», в старейшей русскоязычной газете, которую мы прочитывали всю, до последней страницы с первого дня приезда сюда.

И опять я занимался любимым делом — рисовал иллюстрации, заставки, дизайн рекламы, карикатуры, шаржи.

Дружеские шаржи — мое любимое рисование.

В Союзе я нарисовал всех. Всех знакомых артистов, писателей, художников; и заграничных, которые приезжали к нам на гастроли. Эта серия называлась «Наши гости». А сейчас все перепуталось, и в серию «Наши гости» попали многие артисты, писатели, художники, которых я рисовал еще там.

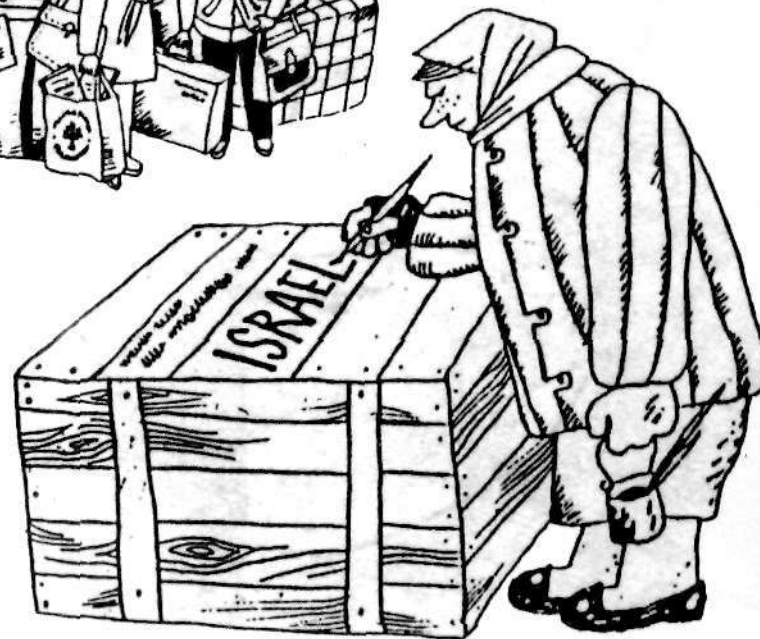
Несколько моих шаржей на художников-авангардистов приобрел для своей прекрасной коллекции американский коллекционер Нортон Додж.

Сейчас хочу собрать 100 лучших своих шаржей в книжку, все они будут сопровождаться историями, анекдотами, рассказами о людях, которых я рисовал. Может быть, получится интересная книжка

М. Беломлинский



"Hurray!
We're Going
to America!"
by
Mikhail
Belomlinsky



«Ура! Мы едем в Америку».
Это наша семья в момент отъезда в США

А в этот ящик поместилось все, что мы увозили отсюда: мои и дочкины рисунки и рукописи жены



Я сделал много зарисовок с Иосифа Бродского. Он все забраковал, а на одном расписался: «Мишель, здесь похож!..» Похвала ценная, он ведь сам очень хорошо рисовал





Вуди Аллен



Михаил Жванецкий



Эрнст Неизвестный



Илья Кабаков



Жерар Депардьє



Михаил Казаков



Стивен Спилберг



Алексей Герман



Майкл Джексон



Джеймс Камерун
Режиссер фильма "Титаник"



Ван Клиберн



Клинт Иствуд



Сергей Довлатов в журнале "Костер",
Ленинград, 1972 г.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Инна ЛЕСОВАЯ. Родилась в 1947 г. в Киеве. Окончила факультет графики Московского полиграфического института. В 1975 г. вступила в Союз художников. Занимается живописью, графикой, разрабатывает модели кукол для детей.

В последние годы написала несколько повестей («Вверх по Фроловскому спуску», «Верочка», «Четыре воспоминания о детстве», «Следствие») и роман («Бессарабский романс»). Периодически публикуется в журнале «Время и мы».

Михаил АЙЗЕНБЕРГ. Родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский архитектурный институт. С 1974 года печатается в русских журналах за рубежом, с 1989 года — в российской периодике. Автор четырех книг стихов: «Указатель имен», «Пунктуация местности», «За Красными воротами», «Другие прежние вещи»; сборника критических статей и эссе «Взгляд на свободного художника»

Евгений БАЧУРИН. Родился в 1934 году в Ленинграде. Потом жил и учился в средней школе г. Сочи. Закончил Московский полиграфический институт. Работал художником-иллюстратором журналов «Юность», «Смена», «Наука и жизнь», в газете «Неделя» и др. Холсты и графика Е.Бачурина выставлялись в Германии, Швейцарии, Швеции, Франции и др. Член Союза художников СССР и России, член российского Пенцентра, живет в Москве.

Евгений ЛЕСИН. Родился в 1965 г. в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов. Служил в армии. Работал химиком в котельной, инженером-технологом. В 1995 г. окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Член творческого содружества «Алчность». Занимается журналистикой.

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ. Родился в 1930 году в Москве. Автор книг «Час Выбора», «Монолог с вариациями», «По следам Гоголя» (в серии ЖЗЛ) и других. Живет в Москве.

Леонид ГОМБЕРГ родился в 1948 г. в Москве. Закончил филфак МГУ. Журналистикой начал заниматься в начале 90-х годов, в израильских русскоязычных газетах «Время» и «Новости Израиля». Автор трех книг прозы. Главный редактор российско-израильского альманаха «Перекресток-Цомет». Живет в Москве, работает ответственным секретарем «Международной еврейской газеты».

Виктор ПЕРЕЛЬМАН. Издатель и главный редактор журнала «Время и мы». Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 год был обозревателем израильской газеты «Аль Гашишмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы». В 1981 году вместе с редакцией переезжает в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинутая Россия» (удостоенной второй премии Иерусалимского университета), «Театр абсурда» и романа «Грехопадение Цезаря».

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. Прозаик, драматург, публицист. Автор тридцати книг, пятнадцати пьес. Переводился на сорок иностранных языков. Лауреат ряда литературных премий. Секретарь Союза писателей Москвы. Член комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации.

Ефим МАНЕВИЧ родился в 1937 г. По профессии инженер-электронщик. Окончил Московский энергетический институт. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 г. репатрировал в Израиль. В настоящее время живет в США.

Борис НОСИК. Родился в 1931 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и институт иностранных языков. Член Союза писателей. Борис Носик известен как писатель-документалист. Среди его очерковых и публицистических книг наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на иностранные языки. С начала перестройки широко публикуется в России, где сегодня напечатаны практически все произведения Бориса Носика, многие из которых долгие годы ходили в Самиздате. В журнале «Время и мы» опубликованы его повести «Большие птицы», «В турпоходе», «Анна и Амадео», а также многие рассказы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

Ежемесячный журнал Союза русских писателей
в Германии

Postfach 800833

65929 Frankfurt am Main, Germany

Выходит с апреля 1998

ПРОЗА*ПОЭЗИЯ*ПУБЛИЦИСТИКА*ИСТОРИЯ
МЫ И ЛИТЕРАТУРА*ВОСПОМИНАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГУЛКИ*АРХИВ*ЮМОР
ИСКУССТВО ПЕРЕВОДЫ*РЕЦЕНЗИИ
СТРАНИЦА РЕДАКТОРА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФОТО*РИСУНКИ

Издатель — Союз русских писателей в Германии

Редактор — *Владимир Батшев*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

единственный ежемесячный

литературный журнал в Европе

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

журнал не только русских писателей в Германии
и Европе, но и русских читателей в мире

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

единственное независимое ни от кого издание,
которое издается сугубо на деньги подписчиков

**ПОДПИСКА на 12 номеров с любого месяца
(с доставкой)**

В США - 72 \$

Konto-Frankfurter Sparkasse: Verband russische
Schriftsteller 652482 BLZ 500 502 01

МОИСЕЙ

НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН Виктора Шермана

Почему Моисей? Может быть, потому что он
зачинатель нашей современной цивилизации, и поэтому
фундаментальные вопросы автор адресует к нему...

Моисей учится во дворцовой школе, присутствует на
Крите при землетрясении, изучает записи до-атлантической
цивилизации, психологию, медицину, сражается за принцессу,
которую любит, становится армейским офицером. В одной из
битв он спасает пленника-купца, и они плывут через Красное
Море вокруг Аравии, затем в Индию, останавливаясь в
главных портах древнего мира

В Вавилоне Моисей заводит семью и становится
одним из богатейших купцов. После внезапной смерти жены
он возвращается в Египет, чтобы помочь своему народу.

В Египте Моисей узнает о смерти фараона и получает
предложение стать во главе заговора с целью захвата трона.
Он отказывается. Став свидетелем избиения раба египетским
надсмотрщиком, он убивает последнего и бежит от
угрожающей ему казни. В изгнании он становится пастухом,
снова женится и пишет первую книгу Торы

Встретившись с Богом у горящего куста и выведя свой
народ из Египта, он получает скрижали Завета на горе Синай.
В стремлении понять Божий Замысел, Моисей путешествует
во времени. Он встречается с библейскими пророками, спорит
с Дьяволом, беседует с Иисусом Христом и Магометом, с
физиками Планком и Эйнштейном

Дойдя до третьего тысячелетия и поняв Великий
Замысел Бога, Моисей возвращается в свое время и
завершив пророчество своей последней книги, навеки
остается в людской памяти.

Справки по телефону: (631) 281-2499

Заказы можно направлять по адресу: Victor Sherman,
67 Woodcut Drive, Mastic Beach NY 11951 USA

Цена \$9.90 включая пересылку.

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

Ирины Машинской

**ПОСЛЕ
ЭПИГРАФА**

«...Музыка «после музыки» — после звука и после тишины. Не «лучшие ноты на лучших местах», не «лучшие слова на лучших нотах» — музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголосок у читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием...»

«...Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а ух как интересно!..»

Наталья Горбаневская

**Заказы можно направлять по адресу:
«Слово—Word» 139 E. 33 rd Street #9M
New York, NY 10016
tel. (212)684-2356
тел. в Москве 705-38-06
в С.Петербурге 235-47-98
цена \$10**

**РУСИСТИКА
RUSSISTIK**

Научный журнал актуальных проблем преподавания
русского языка

ISBN 0935 - 8072 10-й год издания

Выходит раз в год

Годовая подписка: DM 65,-

Цена отдельного номера: DM 75,-

Главный редактор:

Dr. phil. Sola Koester-Thoma, Berlin

Зав. редакцией:

Dipl.phil. Elena Rom-Mirakian, Wien

Научный совет:

Prof. Dr. Ralner Eckert, Berlin

Prof. Dr. Erika Gunther, Berlin

Prof. Dr. Renate Rathmayr, Wien

Журнал публикует статьи по теме
Русский язык в советский и постсоветский периоды:
Кодифицированный литературный язык
Разговорный язык Просторечие Жаргон

Заказы на журнал и статьи (на русск. яз., предвар.
согласовав тему и техн. оформление) посылать по
адресу:

Dieter Lenz Verlag, Elbestr. 18, D-15827
Blankenfelde. **Germany. Fax: Герм. / 33 79 / 37 93 05;**
e-mail: thoma@berlin.snafu.de
Высылаем пробный номер

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16.

Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 2001

Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки - 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции - 69 долларов; для библиотек - 98 доллара.

Цена в розничной продаже - 19 долларов.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в адрес корпорации "Время и мы" по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA

Тел.: (201) 592-61-55

В Росф1 стоимость подписки устанавливается по соглашению сторон

Подписной талон

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" нагод.

Выслать с номера Журнал высылается обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись

Редакция оставляет за собой право давать в отдельных случаях скидки в размере до 50 % от стоимости подписки.

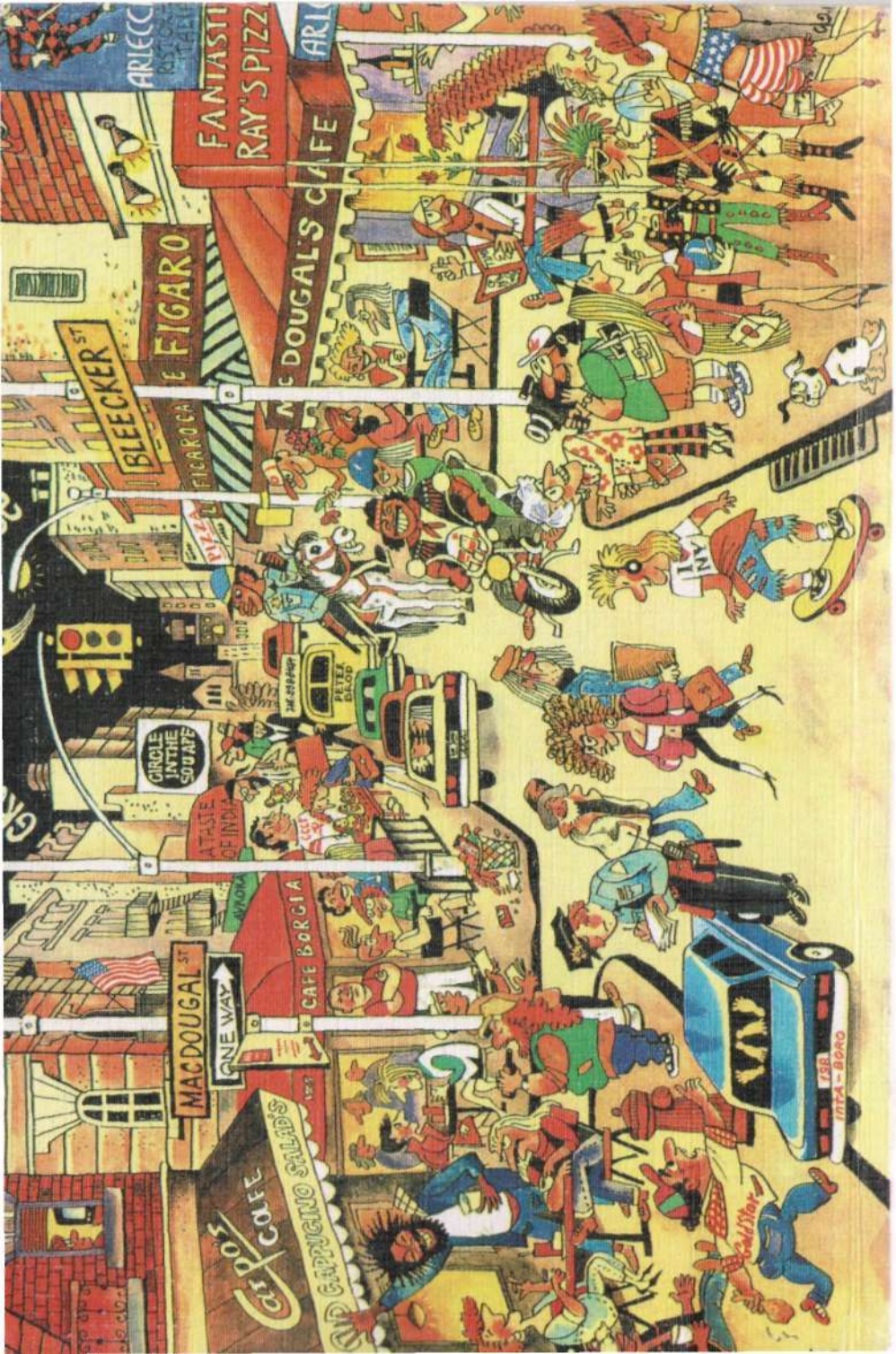
Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.
Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE
409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605
USA (201) 592-61-55

**На первой странице обложки:
коллаж Вагрича Бахчаняна**

**На четвертой странице обложки:
М. Беломлинский «Гринвич-виладж»**

Набор и верстка «ГЕОПРИНТ», тел. 446-9727
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Заказ № 1079



ARIECC

FANTASTIC
RAY'S SPIZZ

ARIECC

BLECKER ST

FIGARO & FIGARO

DOUGAL'S CAFE

CIRCLE IN THE
SQUARE

ATLASE OF INDIA

THE STRAP

PULZE

LIVE

MAC DOUGAL ST

ONE WAY

CAFE BORGIA

COFFEE
CAPPICINO SALADS

LASS-BONO

Cold Star